КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 12

ДЕКАБРЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1928 ЛЕНИНГРАД

СОДЕРЖАНИЕ

От редакции: Роман Ильи Эренбурга „Заговор равных“ напечатан в № 11 и № 12 „Красной Нови“ не полностью, а с некоторыми сокращениями.

---

*

ОТПЕЧАТАНО
В 1-й ОБРАЗЦОВОЙ
ТИПОГР. ГОСИЗДАТА.
МОСКВА, Пятницкая, 71.
Главл. А-27053. П.13 Гиз 29422.
Заказ 3528. • Тираж 12.500

МИШКИНА СУДЬБА.

(Повесть).

Павел Кофанов.

I

Когда Мишка вошел с отцом в громадный двор университетских клиник, он мгновенно забыл про стреляющую боль в правом ухе. Двор тянулся без конца, как большое село, то-и-дело попадались палисадники и тенистые аллеи, густо усаженные каштанами, кленами и пушистыми кустами сирени; по квадратам двора, от одной клиники к другой, бегали люди в белых халатах, а на ступеньках зданий испуганными толпами жались согнутые и кашляющие больные.

— Строго тут, тятя, а? — дернул он за рукав плюгавенького, жидкобородого, подслеповатого отца; и тот как-то сразу согласился:

— Строго, Мишка!.. Ты уж мотри...

А потом их провели в двухэтажное здание, заставив подниматься по мраморной лестнице; и сколько они ни шли, все видели на стенах надписи: как надо лечить людей, чтобы у них не было оспы, тифа и малярии; снова бегали белоснежные люди — мужчины и женщины — и вызывали по фамилиям ожидающих приема больных. Все это несло в себе столько нового и неожиданного, что Мишке трудно было помнить, зачем он с отцом приехал сюда. Его тянуло читать крупные красные и синие строки, рассматривать картинки, пить из сверкающих металлических бачков воду и слушать перешептывания смиренных фигур. Но вот в коридоре выкрикнули:

— Двужильный, Михаил!

Тогда отец сгреб в свою корявую лапу его рученку, тоже грязнющую, но молодую и крепкую, и потащил мальчика в светлую крупнооконную комнату.

— Что с ним? — кивнул сердито старший доктор, которого более молодые называли почтительным словом — профессор.

И отец, кланяясь и путаясь в зарослях непослушных слов, начал объяснять, как мальчик кричит по ночам и как не помогли у них дома ни знахари, ни молитвы священника.

— Гм... Подойди, мальчик, как тебя зовут?

Профессор, громадина, широкоплечий, был в таком же белоснежном халате, как и остальные, и обращался как будто ласково. Но Мишка по его роговым очкам и лопатообразной седеющей бороде, а главное — по его приказывающим ноткам, сразу понял, что тот раздражен и является здесь главным. Профессору подавали новенькие заманчивые игрушки: щипчики, ножички, стеклышки, а он вертел их, швырком возвращал в подхватывающие на лету руки и требовал новые. Потом надел на лоб круглое светящееся зеркальце и долго засматривал в Мишкино ухо. Что он там мог увидеть? В бессонные ночи Мишка уже повытаскивал оттуда все, что мог — шпильками, спичками, гвоздиками... Наконец, профессор поковырял одной какой-то трубчатой игрушкой.

Если бы потом, когда с мальчуганом случилось так много необыкновенного, его попросили рассказать подробно про клинику, он не все бы вспомнил: впечатления дня превышали норму его обычных впечатлений и не укладывались в памяти; но одно он запомнил надолго, что крик его после прикосновения палочки профессора был неожиданным и диким, и что отец часто при этом закрестился и произнес бормотком:

— Свят, свят, свят...

— На операцию... Вот что, милый!..

Отцу объяснили, что мальчик нуждается в операции; операцию сделают в этой же клинике, бесплатно. Операция состоится через три дня; тогда же мальчика надо будет взять из клиники.

— Через три дня? — переспросил напуганный отец, — значит через три дня я и приеду за ним...

— Иди, мальчик, — сказал профессор.

Когда они вышли в коридор, отец с полминуты потоптался на месте, кажется, хотел сыну что-то сказать, может, вздумалось приласкать его и не хотелось уезжать назад в деревню без Мишки; но сиделка сразу повела нового больного по коридору налево, а он, недоумевающий, темный, голодный крестьянин, только крякнул, надел шапченку и вышел, пробормотав оробело всем и никому:

— Прощенья просим... До свиданьица...

Зато Мишка, направляясь купаться, осмелел необыкновенно; по натуре живой и любознательный, он засыпал сиделку вопросами; вообще ему казалось, что, раз его положили в такую чудесную больницу, он уже здесь свой и никогда отсюда не уйдет.

— Язык-то, паренек, у тебя совсем не деревенский, — улыбнулась няня.

— А что ж, в деревне плохие люди, что ли?

— Я не про то, дурень. Языкастый ты, говорю...

— Купать, значит, меня будете?

— Обязательно. Всех поступающих вновь полагается купать.

— А если кто не хочет?

— Порядок такой, мало ли что? И выкупают, и остригут — вон у тебя волосища, ровно как у пьяного дьякона. Халат чистый получишь.

Занятый всеми новыми мыслями, забыл он совсем об отце и семье. Дом он оставил всего позавчера. Отца с месяц тому назад сократили из соседнего с деревней совхоза. Мать давно болела, не вставая с нар, после того, как упала с сеновала и «села на ноги». Работать в дому было некому, а в семье пятеро ртов, сестренка и братишка — совсем маленькие.

— Ну, раздевайся, сорванец, купайся хорошенько.

Мишкиному удивлению не было границ. Корыто для купанья оказалось гладким и белым, словно каменным; возле стояли столик и стул, над столиком висело большое зеркало.

— Тебя, брат, видно целый год не купали, — ворчала няня, — грязи-то, да красноты сколько; всего, чай, вши да блохи искусали.

— Зачем год? — обиделся мальчик.— Нас и к рождеству, и к пасхе купают.

Вытирая его серой простыней, горячего, чистенького, мокрого, не позабыла удивиться она:

— И откуда такая сыпь у тебя? Волдырь в волдырь? Сказано, деревня. Ну, прямо по всему телу. О, господи!

Но Мишка ей понравился. Он был рослый паренек; у него были такие бойкие, зеленоватые, с огоньком глаза; и этот огонек перебегал по всем предметам и, казалось, воспламенял их щупая. Да и волосы, желтой соломой свисающие с головы, и лицо, густо усеянное веснушками, располагали к себе детской непосредственностью...

— Идем теперь, красавчик мой конопатенький...

...Положили Мишку в палату № 4, написав на дощечке, подвешенной к спинке кровати:

«Двужильный Михаил, крестьянин, 12 лет».

* * *

Так он пролежал до чая, до вечернего обхода дежурным врачом, до ужина.

— Что у него? — спросил у сестры торопящийся на свидание толстенький, быстрый дежурный врач.

— Ухо будут резать, — выпалил Мишка, надеясь огорошить доктора и заставить себя уважать. Но тот отмахнулся, выслушал сестру, пробормотал что-то неопределенное на слова сиделки о сыпи по всему телу — и побежал дальше.

Так Мишка закончил в клинике свой первый день, чтобы уже со следующего начать переживать самые непредвиденные злоключения.

Впрочем, события случились и ночью. Началось с того, что ему приснилось васильковое простенькое поле; их деревня, больная мать и Наташка, девятилетняя сестра, да Настенька, дочь управляющего совхозом, — втроем они играли в прятки. И Настенька была такая нарядная, да веселая, все смеялась и звала его:

— Поймай меня, Миша, поймай...

А проснулся, сперва не понял, где он. Потом вспомнил: в большом городе, в больнице; кстати, появилась небольшая нужда, с которой дома выбегал просто за порог. Но как быть здесь?

Он бесшумно вышел в коридор и пошел по нем сперва прямо, затем налево и мимо лестницы, по которой днем входил с отцом.

И вот тут-то и пришлось столкнуться с историей, что надолго врезалась ему в память. Забегали люди, не замечая его, маленького, в сером халатике, заметались, заторопились:

— Сюда!.. ставьте пока сюда...

— Навылет, не выживет...

— Да ну вас, сороки!.. Делайте свое дело.

Затем на носилках внесли тело, что еще шевелилось, дышало и хотело жить. А когда откинули с лица угол простыни, увидел Мишка девушку, будто спящую. Она была бледна восковой, предсмертной бледностью; синеватые жилки ясно выступали на висках и, кажется, шевелились; тонкие руки судорожно цеплялись за края носилок и простыню. Наконец, на секунду открылись глубоко запавшие, мученические глаза и резнули Мишку по сердцу своей бесконечной тоской.

Девушка вообще лежала неудобно; голова почти свисала с носилок, светлые пряди спутанных волос наползали ей в рот, уши, прикрывали лоб. Но не было с ней матери, близкого человека, а служители и няни толкались растерянно и больше сплетничали:

— Комсомолка...

— Из револьвера прямо в грудь...

— Вот она ихняя... свободная любовь...

Нагнулся Мишка и ужаснулся: так много набежало на пол крови и столько ее проступало на простыне; а нагнувшись почти испугался, когда услышал шопот:

— Воды... капельку воды мне...

— Воды! — заревел он, рыдая. — Чего же вы стоите, лешие!..

Кажется, девушка посмотрела прямо на него, и он опять схватил и запомнил ее больной взгляд и все ее хорошее женское лицо. Но на него уже прикрикнули и, узнав, как он сюда попал, сейчас же отвели снова в его отделение, наказав няне не распускать «своих кузнечиков».

Утром, как только он вскочил, вся палата уже говорила о комсомолке Ипатовой. Она — уже знали всю ее подноготную — сошлась с секретарем своей ячейки, с каким-то Васильчиковым, где-то в губторге; жили свободно, как товарищи и супруги; но когда она почувствовала, что будет матерью — он послал ее сделать аборт. Она не хотела; операция вышла неудачной, пришлось пролежать в больнице лишних две недели. А когда вернулась домой, то на ее месте уже оказалась другая. Тогда она застрелилась...

Узнав, что девушка еще жива, Мишка вздохнул свободно: хоть бы поправилась; чего зря итти в землю и гнить такой раскрасавице?

Однако с ним самим тоже не все обстояло благополучно. О сыпи узнала сестра, измерила температуру,— у него оказался жар; правда, дежурный врач был влюблен; поэтому он снова отмахнулся: «После! После!». Но профессор во время обхода внимательно выслушал сестру, заставил Мишку раздеться, провел роговой палочкой крест-на-крест по животу и, насупившись, изрек:

— Краснуха с осложнением. Выписать немедленно!

— Он из деревни. 300 верст отсюда.

— Какое наше дело? Направьте в областную больницу.

Мальчик еще не понимал трагизма своего положения и все недоумевал, разглядывая профессора: при такой хорошей спокойной фигуре такие сердитые глаза; не мог он знать, что стареющий профессор Ерницкий был раздражен тем, что его командировка за границу откладывалась на полгода, и тем, что его экономка уехала к себе домой на две недели, а он вынужден ходить в столовую и наживать катарр желудка. Наконец, он был человеком науки и в то же время слепо верил в бога; а молодежь посмеивалась над этим; и из губздравотдела сегодня приходила комиссия и сделала ему ряд указаний, хотя и верных, но с которыми он никак не мог согласиться уже потому, что делали их совсем молодые врачи.

Забеспокоился впервые Мишка только во время обеда. Няня прямо заявила ему:

— Улетаешь, соколик.

— Куда улетаю?

— Ну, известно, куда. На улицу. Профессор приказал тебя выписать.

— Нет, — смело заупрямился он, хотя в груди у него захолодело, и аппетит сразу пропал: — мне определена операция.

— Чего? Ты-то еще разговаривать будешь, сопля деревенская; опе-ра-ция определена. Раз сказано — выписать, значит выпишут!

Но забывчивость влюбленного дежурного врача на сутки выручила Мишку. Он спокойно обедал, пил чай, ужинал; спокойно лег спать, решив ночью пробраться к Ипатовой. Однако забыл встать и проснулся только утром — солнечным и веселым.

А после главного обхода профессор натолкнулся на него и затопал ногами:

— Никто не выполняет моих распоряжений!.. Сейчас же удалить!.. Немедленно напишите в амбулаторию отношение.

Мишку выписали и как-то уж очень поспешно, причем дежурный все перепутал: снарядили опять в тряпье и провели за ворота в каких-нибудь пять минут. Иди куда хочешь...

* * *

Город ошеломил Мишку грохотом, сутолокой, множеством куда-то спешащих людей. Город был областным центром; и если бы Мишка мог его увидеть весь, из конца в конец, заметил бы множество фабрик и заводов, а над берегом реки обилие паровых мельниц и в порту — складов.

Все это: и порт, и мельницы, и особенно фабрично-заводские корпуса — пели свою громкую многоголосую песню, протягивали сильные и громадные руки, чтобы хватать металл и делать из него паровозы, делать из него сельскохозяйственные машины; хватать уголь и нефть для отопления; перебрасывать от фабрик к поездам нарядные кипы мануфактуры.

Но и того, что он увидел, хватило, чтобы напугать до смерти деревенского паренька. Сердито фыркающие краснобокие автобусы, треньканье зеленых вагонов трамвая, автомобили, извозчики, мотоциклы, драгили — все это налетало на него, кричало и грозило; о чем-то предостерегало...

А главное — как чудесно было в больнице; ветки врывались в раскрытые окна; солнце ласково пригревало; да и кормили хорошо.

«Пойти разве опять хорошенько попроситься?»

Прилип к решетчатым воротам:

— Дяденька, пусти до главного...

Но сторож оказался неумолимым. Не тронуло его и Мишкино обещание помогать по хозяйству, колоть дрова, носить воду.

— Нам этого, малец, не требуется. Не в деревне живем. У нас на все электричество. А ты, между прочим, проходи, не проедайся.

Тогда опустился прямо на камень и заплакал. В другое время презирал бы себя, но теперь было не до того; плакал долго и надрывисто; жалея себя и еще больше от этого плача, приговаривал где-то слышанные слова: «Несчастный я, разнесчастный; горькая моя судьбинка, пропащий я человек!».

В это время и проходил мимо щеголеватый человек с узенькой модной бородкой, в пенснэ, белой панаме и белом костюме, с портфелем.

Щеголеватый человек не просто шел, но шагал по пятам хорошенькой полнотелой блондинки. Вдруг блондинка остановилась у необычного рыдающего мальчика, что сидел прямо на тротуаре; тогда человек тоже остановился, заискивающе улыбаясь.

— Чего ты плачешь, а? — протянула блондинка бронзовый пятак.

— О чем ты, несчастный, одинокий мальчик? — с пафосом воскликнул нарядный человек, изящно поправив пенснэ и перекинув портфель из правой луки в левую.

— Выписали вот, — вяло отозвался сторож, — а батька за ним приедет только послезавтра; да и то хорошо, если приедет, небось, рад, что сдыхал с плеч:

Щеголеватый человек, вообще склонный к романтическим историям, перехватив на себе ласковый взор блондинки, догадливо щелкнул себя по лбу:

— О, брошенный на улице крупного города деревенский мальчик — это тема! Мне ли, литератору, упустить такой случай! Ты откуда?

— Из села Черного.

— Как фамилия?

— Двужильный Михаил.

— А... Ну, батьку своего ты не дождешься,— он достал из портфеля газету и протянул ее даме: — Простите, что, не будучи знаком... Но такой случай... разрешите представиться — работник печати — Олег Зодчий. Видите, какая судьба у этого отрока: очередная драма жизни и тема для хорошего рассказа.

— Какой ужас! — вздохнула женщина,— неужели для него ничего нельзя сделать? — Тут же, раскрыв сумку, она стала кокетливо пудриться перед зеркальцем.

— Сделаем! Олег Зодчий сделает все...

Блондинка вскоре пошла, причем изящный литератор договорился с ней насчет свидания и скользнул в ворота клиники:

— Подожди, брат, я пойду возьму беседу у профессора Ерницкого.

А вернувшись сунул блокнот в портфель и безапелляционно изрек:

— Идем, Михаил Двужильный, делать твою судьбу. Не унывай, брат: ноленс-воленс ты сын города. Раз уж ты попал в его лапы, он тебя все равно не отпустит. А болезнь дело двух недель; вот записка профессора в амбулаторию.

— А где же я буду ночевать и харчиться? — затронул Мишка самый больной и страшный вопрос.

— У меня. Пристроим как-нибудь, вылечимся; а там и работа найдется. Все пустяки!

Так вот и остался Мишка в чужом городе, в чужой семье, где кроме веселого, шумного Олега Зодчего — газетчика и забулдыги — жил еще его брат, молчаливый, замкнутый инженер Николай Степанович, и мать двух братьев — седовласая, хлопотливая Нина Васильевна.

Устроили Мишку спать в темном углу коридора, на старом сундуке, и он стал ежедневно посещать амбулаторию.

II.

В конце третьей недели сделали Мишке операцию. Тот же Ерницкий. А потом болезнь просто забылась.

Стал жить,— и чем дальше, тем больше тускнела родная хата на селе с протекающей крышей и непролазной грязью. Словно все это приснилось ему, а теперь вот, как бывает только в книжках, проснулся он и зажил по-настоящему. Поражало и восхищало его в городских то, что делали они все быстро и умело, животов не почесывали, на небо часами не поглядывали в ожидании дождя или солнца, но торопливо работали день-деньской, чтобы вечером принарядиться и отправиться в сад, театр или на собрание.

«Город-от, — думал он часто, — почитай, он верстов пять или десять будет в округе. Каждый квартал — целая деревня, а сколько таких кварталов всего? И городов всего? Чудеса!»

Мудрствуя, он пытался спрашивать обо всем ласкового Олега Степановича, но тот только замахал руками:

— Уволь, брат, уволь! Мне на службе эти политэкономии осточертели!

Зодчему вечно было некогда: он писал статьи — торопился, обедал, то-и-дело обжигаясь, смотрел на часы; всегда он не успевал и на пять минут опаздывал, кляня за это себя, судьбу и всякие обстоятельства.

И только, когда в его комнате, имевшей отдельный ход, собирались гости, или раскатисто смеялись женщины, — торопливость сползала с его лица; он выходил в коридор и, смешливо ущипнув Мишку, посылал в гастрономический магазин или в кондитерскую за покупками, но в комнату к себе не впускал, принимая посуду и отдавая распоряжения в коридоре.

Вообще на мальчугана эта семья производила странное, несколько беспокоящее впечатление: здесь не было того, что принято называть семьей. Каждый из троих жил отдельно, в одиночку думал, чувствовал, переживал. Даже когда братья сходились за чаем или у обеденного стола, они редко говорили между собой; молчаливый инженер ел и читал какую-нибудь книгу, причем на кушанья совершенно не обращал внимания. Спросит мать у него что-нибудь, он ответит и снова уткнется в страницу. Олег Степанович, наоборот, проявлял резкое нетерпение, мог есть сперва второе, потом первое, всем был недоволен, поругивал кооперацию и распоряжения власти. Затем, не доев, вдруг схватывался и летел по неотложному делу. На лице грузной, седовласой Нины Васильевны стояло постоянное грустное спокойствие. Она, казалось, давно смирилась с такими отношениями в семье. Впрочем, ее симпатии больше склонялись на сторону беспечного литератора.

— Ты помогай во всем Олегу Степановичу, — часто говаривала она Мишке, — почисть обувь, смети пыль с книг, ничего не трогай на столе, когда прибираешь его комнату. Вообще старайся услужить.

— А Николаю Степановичу?

— Ему тоже. Только он аккуратный и все сам любит делать.

Квартира состояла из трех комнат, кухоньки и коридора. Самая большая и светлая комната, выходившая на главную улицу, занималась Зодчим. Средняя, полутемная, служила столовой; здесь же в уголку стояла кровать старушки. Самая дальняя у кухни с одним окном во двор, длинная и неуютная, комната принадлежала инженеру.

* * *

Так бежало время. Уже три месяца прожил Мишка в новой семье, а ему все еще не удавалось ни поговорить с инженером, ни разузнать о нем. Зато Олег Степанович, хоть и урывками, часто вел с ним разговор. Он вообще больше нравился мальчику своей красотой, смехом, щедростью и даже тем, что его любили женщины, и к нему ходили важные гости.

— Живем, парень? — неизменно спрашивал этот бородатый и волосатый человек по утрам, умываясь в коридоре шумно, с брызгами и смешным отфыркиванием. — Ну-ка, налей из кувшина мне на шею, так,

так! Чуть ниже... подожди, за штаны не надо... Теперь на плечо плесни, вот так, хорошо, брат, вода эта самая... Кто воду любит, никогда сумасшедшим не будет. Верно говорю, друг Горацио!

А то заводил такой разговор:

— Хочешь, репортером тебя сделаю? В печать определю... Ты смышленный и быстро раскумекаешь, где собака зарыта.

— А что такое печать?

— О, брат, печать — это сила. Это шестая держава! В свое время поймешь все...

Прибирая в комнате, видел Мишка, как Олег Степанович в одних трусах пытался заниматься с гирями гимнастикой. Раз, два, три, четыре... раз, два, три... 10 номеров вверх и вниз, пять в стороны, и с приседаниями, потом выпить стакан воды и полчаса лежать; хо-ро-шо! Только трудно до конца довести.

Он вечно терял пенснэ, у него со стола пропадали исписанные листки и даже целые тетради; тогда весь дом поднимался на ноги, и особенно волновалась Нина Васильевна:

— Сейчас, Аля, вот несчастье, господи!.. Михаил, да ты случайно не смахнул под стол?

Искали за корзинами, под креслами, на шкапу и даже в коридоре за Мишкиным сундуком, а потом оказывалось, что рукопись преспокойно лежит на столе под книгой.

— Ишь, проклятая, спрячется и лежит, а ты ищи ее...

Поражала мальчика его манера одеваться. Шел в редакцию — надевал темно-синий рабочий костюм, серую рубашку, скромный галстух; любил при этом вслух сообщать, что работает он из-за «проклятого» куска хлеба в двух хозяйственных журналах, местной газете и корреспондирует в ленинградскую газету; поэтому не остается времени для пьесы «Человек»... Но освобождался вечером, снова шумно и с жалобами переодевался в серый костюм, надевал шелковые носки, желтые туфли все в тон; брился и пудрился; шел в театр, на очередную вечеринку, или на свидание.

Вообще переодевания занимали у него много времени; и вечно у него не ладилось: то рубашку прачка плохо выгладила, то на воротничке пятно, то пуговицы отскакивали...

— Мама! — вопил он, как маленький, на всю квартиру; и Нина Васильевна в перевалочку торопилась с иголкой и катушкой ниток, вся светясь от материнской любви к своему ненаглядному Алиньке...

— Дай, я тебя веничком обмахну. Платок-то чистый взял? Мишка, открой парадное, сейчас Олег Степанович пойдет.

А когда напивался Олег Степанович у себя в комнате или возвращался пьяным из гостей, во сколько бы часов ночи это ни случалось, обязательно вызывал к себе Мишку и вступал с ним в бесконечный разговор.

— Учился в школе, говоришь?

— Три года учился.

— А вот ничего не знаешь! Впрочем, все мы ничего не знаем. Слушай, вертится солнце, а?

— Вертится, и земля вертится...

— Земля... Что земля? Ерунда на постном масле. Сдать в архив. Вот остынет солнце, делайте тогда ваш коммунизм. Все равно все подохнете. Так-то вот. Задушили человека, а все это ни к чему.

Мог рассвирепеть ужасно:

— Говори! Бог есть или ты тоже анти... безбожник! В комсомол нос держишь?

— Я молюсь богу каждый день, Олег Степанович...

— То-то же. А все их комсомолы я бы в бараний рог согнул. Мальчишня...

Каждый раз тихо кивал в сторону братниной комнаты, с хохотком спрашивая:

— А не замечал, к нашему таинственному принцу не заходят бабешки?

— Какому принцу?

— А брату Николаю?

— Нет, что вы... А разве он принц?

— Это я так... Для образности...

И опять начинал ходить, покачиваясь и икая, затем декламировал:

— Не люблю; не люблю! Не люблю!..

Потом топал ногой:

— Дак как вы смеете? Может, я второй Ницше или Толстой? Кто имеет право трогать мою душу, мои убеждения? Я вам продаю талант? Продаю. Пишу в вашу дрянную газетину статьи на... вся-а-кие темы? Так в чем же дело? Зачем вы влезаете ко мне в душу? Погодите ужо...

В один из таких «пьяных» вечеров особенно отчетливо почувствовал Мишка, что между братьями лежит непроходимая пропасть. Он вел по коридору Олега Степановича, и вдруг навстречу попался Николай Степанович, который ни слова не сказал, но так посмотрел на брата, что того даже пьяного передернуло.

— Идем, Михаил Двужильный, отсюда... идем. Презирают нас здесь, презирают...

* * *

...Подошла осень. На деревне она горела по лесам оранжевыми кострами, золотилась паутиной, хмурилась свисавшими до хат туманами. А в городе ее приход почувствовался через заботы о продуктах и одежде. Хмурые люди бегали с утра до вечера по магазинам и складам, проклинали судьбу и дороговизну, закупали топливо, одежду и обувь.

И вот, когда вздумали Мишку определять в школу, подал, наконец, голос и Николай Степанович. За обедом он против обыкновения не свер-

лил глазами книг и иностранных технических журналов, но, взглянув просто и почти ласково на мальчика, сказал:

— Садись же обедать, чего ты стоишь всегда у окна?

— Я после пообедаю, — неизвестно отчего смутился и покраснел до корней волос Мишка.

— Он, Коля, обедает на кухне, там же и посуду моет, так и для нас и для него удобнее.

Это разъяснила с какими-то холодноватыми нотками Нина Васильевна. Недовольно покосился в сторону брата и Олег Степанович. Но тот, не обращая внимания на замечания матери, снова повторил:

— Вот ты в школу пойдешь, тебе уже тринадцатый год, от нас ты уходить не собираешься, — чего же ты держишься, как чужой или нанятый? Садись вот здесь и начинай обедать.

Потом, словно вспомнив слова матери, отрезал:

— И потом, мама, освободи ты его от кухонных обязанностей; мы все трое как будто согласились, чтобы он остался у нас навсегда, раз уж у него случилось такое несчастье. Пусть же и воспитывается, как наш. А домашнюю работницу, раз мы сами заняты, надо нанять особо.

— Да вот, Коля, я и сама думала, — переменила голос мать. — Стася на две недели отпросилась на родину (тут она понимающе взглянула на другого сына), а вот два месяца уже, как ее нет. Трудно мне без помощницы.

— Хочешь учиться? — переспросил Николай Степанович и первый раз тепло улыбнулся Мишке и потрепал его по плечу. Тот прямо вздрогнул от неожиданности и чуть не уронил ложку. Улыбка совершенно изменила лицо инженера; обычно его черные глаза под густыми черными бровями смотрели холодно и отчужденно, на лбу шевелились, перебегая, морщины, у губ бритого лица лежали скептические складки. Мысль далекая и почти враждебная окружающему покоилась на лице. Теперь это был ребенок, товарищ, родной человек и мечтатель. А в голосе его мальчик уловил волну доверчивости и сердечного призыва, на которые отозвался всем своим беспокойным и в сущности одиноким сердцем.

Так началась для Мишка новая жизнь, в школу он поступил без труда, да еще в 4-ю группу. С жаром принялся за учебу. А возвращаясь обычно из школы, заходил к Николаю Степановичу, садился за маленький сто. ик в уголку и читал, читал запоем, или разговаривал с инженером о тысяче разных вещей.

Комнатка отличалась от комнаты Олега Зодчего не только размерами и освещением; здесь все было строже, скромнее, деловитей. На стенах, в простеньких рамах, смотрели сквозь стекла Маркс, Ленин, Чернышевский, Тимирязев; письменный стол у окна и большой чертежный у стены поражали порядком и чистотой. Чертежи, флаконы с тушью, готовальни и линейки — выстроились в ряд как на параде. И даже стоящая у двери кровать поражала скромностью и каким-то целомудрием.

А у Олега Степановича! Мишка только теперь начал понимать этого безалаберного человека. Там все било на эффект, поражало пышностью

и никчемностью, рояль, заваленный фотографиями, ракушками и разными безделушками, золоченые рамы с картинами на весьма скользкие темы, подушечки на кушетках, креслах и просто на ковре; подчеркнутая небрежность на столе, даже запах духов и следы пудры и занавески на окнах и шторы на дверях были в тон с общим легкомыслием хозяина.

Особенно нравились мальчику разговоры с инженером. У Николая Степановича было уменье не только говорить, но и слушать. Когда он говорил, Мишка ни на минуту не предполагал, что тот подчеркивает свои знания, или учит его; самотеком лились знания в Мишкину голову и первое время прямо опьяняли его. А когда Мишка начинал сам делиться впечатлениями от школы, товарищей и учителей, то Николай Степанович во-время поддакивал, вставлял вопросы, кивал головой.

III.

Наконец, приехала и Стася, белокурая, с веснушками на носу, стриженая; и сразу заполнила кухню пением и шумом кастрюль; в красненьком с белыми крапинками платьице мелькала она всюду. И стал Мишка ходить в школу и думать только об уроках. Однако первые месяцы Нина Васильевна нет-нет, да и прорывалась:

— Михаил, наколол бы дров, а?

— Вон Стася с посудой не управляется... Взял бы, да и помог ей, неблагодарный... — Шопотком добавляла: — Должен бы, кажись, понимать, что из грязи вытащили. Кабы-не мы, валялся бы сейчас с беспризорными, в тряпье каком-нибудь, под забором.

Стася тоже не прочь была приучить Мишку к черной работе и часто подтрунивала:

— Кавалер растет, чего вы хотите, уж больно Николай Степанович балуют его...

А в лице ее — кошачье, немного хищное выражение; а сама глазками так и шпыняет, так возле мальчика и вертится. Но раз и другой отрубил инженер:

— Пусть учится, не готовьте из него кухонного мужика, — и мальчика оставили в покое для зарождающихся шумных дум, школьных сомнений, книг и товарищей.

Слушая Нину Васильевну, которая, не видя сыновей по целым дням, любила разговаривать с ним и Стасей, узнавал он, как старушка жила раньше.

— Тебе о чем жалеть? — стукала она пальцем в наперстке в Мишкин лоб, — ты из деревни, тебе сейчас, что ни подай — благодать. А мы — люди благородные, мой вон покойный Степан Андреич инспектором гимназии служил, имел Анну 2-й степени и Владимира; обоих сыновей в университетах учили, общество бывало у нас, и мы хаживали в лучшие дома. Каково теперь-то на хлебе и картошке сидеть?

Маленькая, вечно грустная, в коричневой вязаной кофточке, вот-вот, кажется, заплачет она.

Но хлеб и картошка упоминались для красного словца, на самом деле семья жила отлично и ни в чем не нуждалась; но Нине Васильевне, не привыкшей к длинным разговорам с детьми, нужно было хоть кому-нибудь излить горечь своего наболевшего сердца.

— Развалили все, и народ, и общество, плодят безбожников и хулиганов, и это — социализм! Мати божия!..

Часто приказывала Мишке:

— Ты не слушай никого; отец-то твой и мать уж, наверно, верят в бога; в деревнях все умеют молиться, возьми по вечерам и молись потихоньку. Вон Олег Степанович, на что барин и в газете безбожной служит,— а нет-нет, да и перекрестится, да и пойдет ко всенощной или к обедне.

— А Николай Степанович? — неожиданно сорвалось у Мишки.

— Ну, этот горд и неприкаян, господь уж ему судья!.. Будто не мой сын. Прямо боюсь, трясусь вся, когда заговаривает со мной...

И в самом деле, Мишка замечал, что посмотрит она на Олега — и во взгляде прощающем вся тревога материнской любви. Словно заранее знает она, что наделает он много ошибок, но ему можно простить. Чистый ведь ребенок. Так и называла его, как маленького кудрявого десятилетнего карапуза: — Аля!

Зато инженера обходит глазами, боится; а взглянет, извиняется взгляд; словно хочет сказать: ты уж нас прости, что по старинке живем, не понимаем тебя, коммуниста. Знаем, что не нуждаешься в нас.

Однажды пришла девушка и спросила инженера Николая Степановича. Стася ответила, что его нет дома, и просила войти и подождать; уж очень ей было любопытно, что это за девушка и зачем она пришла к инженеру? Но девушка поблагодарила и обещала зайти через два дня.

Олег Степанович, узнав об этом, многозначительно засвистал и произнес:

— Ну и ну. Видела ты ее, чертенок? (он так называл Стасю).

А сам Николай Степанович, оповещенный многословной Стасей, коротко обрезал:

— Придет еще, пусть подождет; в столовой или в моей комнате.

Мишке не удалось рассмотреть гостью и при втором посещении; она сидела в столовой минут пять и отвернувшись к окну; а вскоре пришел со службы Николай Степанович и провел ее в свою комнату; но Мишка подметил белый скромный шарф, охватывающий голову девушки, и всю ее фигурку, робкую и нерешительную; и ему стало ее жаль.

Зато не понравилось ему, как разговаривал с посетительницей до прихода брата Олег Степанович. Мишка мельком схватил несколько фраз, но они укололи его в самое сердце.

— Безработная вы, значит? Насчет работы хотите?

— Да. Я хотела бы служить...

— Ну, брат вряд ли вам поможет. Не по-коммунистически ведь это, знакомых устраивать. Не пойдет он на это...

— Да я не знакома с ним...

— Вот как... Почему же вы к нему решили обратиться? А может я вас могу устроить? И даже очень, барышня, могу, кхе-кхе...

Он как-то щегольски прошелся по комнате, покрутил у трюмо усики и, играя масляными глазками (в комнате ни матери, ни Стаси не было), продолжал:

— Вы познакомьтесь со мной поближе, я человек добрый и оче-ень хороший, милая барышня...

В это время вошел в столовую Николай Степанович, уже оповещенный Стасей о посетительнице; он одну секунду постоял, посмотрел не мигая на брата, отчего тот закашлялся и стал протирать пенснэ; инженер сказал девушке:

— Пожалуйста, пройдемте ко мне и поговорим о вашем деле. Я о нем знаю.

Спокойный тон и спокойные глаза его Мишке понравились; понравилось и то, что, прощаясь с посетительницей, он крепко пожал ей руку:

— До свиданья! Живите веселей...

Но зато Стасины сплетни, двусмысленные взгляды Олега Степановича, шумные вздохи Нины Васильевны — были неприятны... Где Мишка мог встречать эту девушку? Почему ее лицо как будто знакомо ему?

Но шли недели, месяцы, и новые впечатления стирали предыдущие. Город менял августовские многокрасочные уборы на сентябрьские паутинно-печальные и октябрьские туманные и дождливые... Небо все чаще клубилось в туманах, ветер засыпал последней листвой решетки садов и скользкие тротуары.

Мишка пристрастился к газете, хотя всех тонкостей событий он не понимал. Правда, разъяснения инженера и учителей, к которым он приставал с вопросами, кое-что раскрывали, но порой казалось, что он маленький и неумный и никогда не доберется до смысла всех вещей. Ему же непременно нужно было добраться до смысла.

— Можно у вас еще спросить? — обращался он к Николаю Степановичу.

— Спрашивай, — отрывался тот от чертежей и бесчисленных цифр.

— Вы изобретатель ведь?

— Пожалуй... А что?

— Нельзя ли изобрести, чтобы все люди стали хорошими?

Мишка принимался путано объяснять, что ему кажется, будто все несчастья, преступления и нехватки у людей от того, что они завистливы.

— Ты, пожалуй, прав, — задумчиво отвечал тот, — но ломать голову над этим тебе еще рано. Как в отряде, хорошо?

И Мишка легко и свободно переходил с вопросов перевоспитания человечества к жизни их пионерского отряда.

Они наладили стенгазету «Будь готов», он в редколлегии; у них дружно заработала ячейка изобретателей. Вот только с техникой не знакомы. А в школе все хорошо, вот только учебы мало.

Он не договаривал многого, что еще и для него самого оставалось неясным. Но выходило так, что любознательному, подросшему мальчику больше нравилось в отряде, чем в школе:

— Товарищи-то у тебя в классе есть?

— Есть. Но они не любят меня за то, что я больше знаю. Завидуют и попрекают деревней.

— Ничего. Я летом с тобой подзаймусь, и мы сразу в 6-ю группу прыгнем. Ты способный.

О школе же, но уже подробней, рассказывал Мишка и своим приятелям во дворе: бледненькому Паньке, сыну дворника, и рыжему Гришке. Оба были пионерами и дружили с ним, хотя тоже отставали от него в развитии. Он как-то втянулся в чтение; необычное положение в чужой семье заставило его много думать о людях и своем к ним отношении. Это делало его не по летам наблюдательным и взрослым.

— А если бы тебя отец не привез и не забыл в нашем городе, что бы ты сейчас на деревне делал? — спросил его как-то Панька и прищурил подслеповатые глазки в ожидании необыкновенного ответа.

— Ну, он не забыл меня, а так вышло, судьба моя такая, а на деревне я уже помогал бы отцу пахать и боронить, молотить опять же. Хорошо у нас, ребята, летом. Речка, поле, как ситцевое, от цветов: штаны снимешь и ходишь по воде, раков ловишь, а то в ловитки играем...

— Ты назад не поедешь?

— Когда вырасту — поеду. Заберу их в город, или куплю им корову и матери на платье.

— А что в городе станешь делать?

— На завод поступлю. Буду строить счастливую машину.

— Какую это счастливую?

— Чтобы все она за человека делала и слушалась его. Тогда и мануфактуры, и хлеба, и всего вдоволь будет.

Впрочем, в этих частых беседах никто из них не мог бы сказать, о чем точно они говорили. Увлекались оружием и мечтами, когда в отряде будет винтовка; давали клятву: если один попадет в беду или на него нападут бандиты, другие бросятся его выручать. Говорили о прочитанных вразброд книгах: «Майской ночи, или утопленнице» Гоголя, «Янки при дворе короля Артура» Марка Твэна, занимательных романах Майн-Рида. Так незаметно подкралась зима с метелями, заносами, оттепелями, коньками и салазками. А там и рождество с новым годом прошли (пирушки у Олега Степановича и беседы с Николаем Степановичем), подкатили мясоед, масленица, великий пост... А с последним и робкая, грязноватая весна.

Мишка похудел, еще больше вытянулся и стал грубоватым. От шаловливой Саси он уже не убегал, когда она щекотала его и щипала, но смеривал с головы до ног взглядом и грозил:

— Баловница, все о тебе Николаю Степановичу расскажу...

Это действовало. За ней таки водились грешки, о которых знал Мишка.

Охладел он и к Олегу Степановичу, хотя наружно оставался почтительным. Ему претили его шуточки, разговорчики о женщинах в нехорошем тоне, попойки и поругивания советских порядков.

Однажды в классе случилось нечто совсем неожиданное. Мишку, как самого внимательного и скромного, только что посадили за одну парту с беловолосой девочкой Настей. Ребята, из недругов его, сразу же ухватились за это и окрестили его девчатником.

А потом стали писать на доске, что он на уроках щиплет девочку, поэтому на их парте скоро может родиться ребенок.

Услышав об этом, девочка разрыдалась и убежала домой, Мишка здорово поколотил двух своих обидчиков, а придя домой не сел обедать, нетерпеливо дожидаясь инженера. Потом, пройдя к нему в комнату, спросил:

— Можно говорить с вами?

— Говори. Да чего ты бледный такой? Случилось что-нибудь?

— Случилось, Николай Степанович; можно вам все искренно, все честно говорить? Я давно хотел просить об этом.

— Эк тебя, Миша, напугали наши своей ложью. Конечно, всегда говори все.

Тогда, запинаясь, и то краснея, то бледнея, Мишка рассказал школьный случай, потом повинился в том, что он здорово отколотил ребят и кончил вопросом:

— Николай Степанович, скажите мне точно и понятно, откуда родятся дети? А то такое кругом говорят...

И Николай Степанович, впервые погладив его ершастые волосы, успокаивающим голосом рассказал ему о тайне зачатия.

IV.

— Понимаешь, — осторожно ступал на каждом слове взрослый человек, то-и-дело для смягчения и пояснения своих фраз касаясь руки, или гладя голову маленького человека. — Мир живет вечно, тысячи лет, и еще будет жить тысячи, а может и сотни тысяч годов... Человек же, как и всякая тварь, всякое растение — через известный срок умирает. Значит и надо, чтобы он, умирая, оставлял потомство...

— Ага! — кивнул догадливо Мишка.

— Ты пока думай о цветах и деревьях. Как тебе известно, цветут деревья, травы, плоды — картофель, арбузы; а уж потом появляются завязи плодов, — то же с птицами, рыбами, животными, людьми.

Прямо любовался Мишка и гордился своим наставником. Так хорошо и понятно умел он объяснить столь большой вопрос. Смуглый, черноволосый, почти бронзовый, с густыми черными бровями, весь бри-

тый, — зачаровывал он мягким голосом, мягкими глазами. Трудно было о глазах сказать что-нибудь определенное; пожалуй, карие с красными лучинками; но когда сердился — могли показаться и вовсе красными; высокий, костистый, худощавый, ходил он сейчас и говорил; не следил за манерами, походкой — никогда! И однако они были уверенными и соответствовали тому, что он делал.

А главное, приходя с работы, обычно (так казалось всегда Мишке) приносил с собой как бы кусок завода: мысли и чувства и даже запахи станков и рабочих.

К нему почтальон ежедневно носит не узенькие розоватые конвертики, как Зодчему, но толстые пакеты, бандероли, связки толстых книг и иностранных журналов.

Запомнил мальчик и поговорки инженера:

— Не те родня, что в одной семье живут; а те, что одинаково думают.

— Не важно, как ты говоришь; важно, чтобы думал правильно...

— Живи и к людям лучше присматривайся... Чтобы лишнего за своего не принять.

Все это сейчас наблюдал, вспоминал Мишка и одновременно слушал.

— Чтобы ты правильно все понял, вспомни свою мать и представь, как она тебя самого рожала в муках, истекая кровью, с криками ужасными. Плод свой, т. е. тебя, она носила в животе 9 месяцев, потом, когда подошел указанный природой срок, ты появился на свет, т. е. окровавленный и кричащий выпал у нее между ног и сразу же заорал, зачихал с непривычки, потребовал себе молока, и оно уже к этому времени было в материнской груди.

Мишка слушал не перебивая, молча. Скулы его выступили, лоб покрылся потом, кисти рук зажали острые колени. Как это было страшно, необычно и просто...

— Вот и все...

— А что такое аборт, Николай Степанович?

— Ты и это слышал?

— Часто слышу. Стася себе делала летом аборт; она часто шепчется об этом с Олегом Степановичем.

— Так, так, — согласился устало инженер.

— Затем, когда я в клинике лежал, там тоже привезли застрелившуюся комсомолку. Аборт сделала себе... А муж ее больше не принял.

— Это очередное хамство мужчин. Многим из них нравится любить женщин. А когда женщина станет матерью, вдруг опомнятся: дети — обуза, корми и воспитывай их — не хочется; птицы тоже такие есть, что не вьют своих гнезд, паразиты... Ну, и заставляют такие мужчины женщину сделать аборт — убить плод и выбросить его... Словом, мерзость. Да ты не думай об этом. Тебе это еще не надо.

— Вы на меня не сердитесь, Николай Степанович?

— Чудак, — конечно, нет; обо всем спрашивай меня. И поменьше мальчишек уличных слушай, Ну, иди...

С этого дня мальчик несколько успокоился, тревога его прошла. К Сгасе же появилось жалеющее отношение. Она попрежнему то-и-дело пудрилась, кривлялась и вертелась перед зеркалом, проскальзывала по ночам в комнату Олега Степановича, но Мишка стал жалеть ее, обвиняя во всем только журналиста. Так ей раз и выпалил:

— Ты не сердись, Сгасенька!.. Я теперь буду дружить с тобой.

— С чего это ты подобрел, Миша, вдруг? Кавалером становишься, ха-ха?

Крепко-сбитая, в коротком платье без чулок, тоненькая — смущала она его.

— Нет, ты про это не говори. А так... жалею тебя.

Мишка не знал еще, что своими словами дал ей повод перейти от мелких приставаний к настойчивым и определенным. Впрочем, это пришло после и раскрылось случайно. А пока Мишка то-и-дело зубрил уроки, читал книги и думал об учителях. Школа несла много нового. Знания удивляли и делали сильным, радовали. Казалось, он накапливает деньги, и с каждым днем серебряных и золотых монет все больше.

Активно работая в школьной стенгазете и форпосте, он стал понемногу разбираться и в политических вопросах. Главное, всегда схватывал направление мыслей говорящего. Один преподаватель, например, любил говорить: «Ну, возьмем, скажем, модный сейчас цвет — красный»...

Или: «Власть, которая именует себя советской, мало чем отличается от старой власти. Всякие там Интернационалы»...

Он же, как-то заканчивая урок, добавил:

— Мы, слава тебе господи, беспартийные, не нашего это ума дело.

Речь же шла о том, почему надо защищать Советский Союз.

Мишка встал и прямо заявил:

— Во-первых, очень дурно, что вы в господа бога веруете...

— Я, слава богу, в компартии не состою-с!

— А, во-вторых, вы неправильно нам объясняете про власть и партию.

Малышам безразлично было, что и как говорил педагог; но Мишкин пыл заинтересовал весь класс; пионеры и три-четыре более взрослых мальчика зааплодировали. Тогда педагог вскочил и, брызгая слюной, стал грозить:

— Крамольник! Школу в митинг превращать. Выкину!..

— Руки коротки! — побледнел вдруг Мишка. — А вот я сообщу о вас все в губОНО.

Тот сразу обмяк и посерел. Раздался звонок на перемену, а еще через три минуты Мишка уже стоял в учительской и слушал завшколой.

— Отчего ты мне ничего не говорил? Это хорошо, что ты, как пионер, вступился за правду; я сам кандидат партии и понимаю тебя. Но плохо, что теперь об этом станет говорить весь город.

Педагога убрали; приходила комиссия из губОНО; еще два-три раза Мишку опрашивали, но отношение многих учителей изменилось к нему вкорне.

— Пусть, — одобрил его Николай Степанович. — Ничего они тебе не сделают, если ты учишься хорошо и образцово себя ведешь.

Одобрил Мишкин поступок и совет отряда, и райком комсомола. Но дело раздували. Нашлись у уволенного педагога защитники. В результате — материал попал в газету и под опытной рукой фельетониста Олега Зодчего, которого в редакции ценили, как специалиста, превратился в подвальную статью, озаглавленную: «Нравы нашей школы».

Мишка, прочитав номер газеты, долго не мог притти в себя от стыда за Олега Степановича; в статье педагог, как «честный народный учитель, 15 лет прослуживший бескорыстно стране», брался под защиту, а он, Мишка, — «темные силы и интриганы, натравливающие общественность на спецов» — выставлялся, как «разложившийся элемент, бывший беспризорный, подобранный на улице, с испорченной психикой, не отсеянными плевелами нравственности»...

Дома воцарилось жуткое молчание. Все чувствовали, что это борьба братьев, вызов Николаю Степановичу. Он как раз в этот день уезжал в командировку. Но за столом все-таки сказал Олегу:

— Паршивые и вредные статьи стали писать в твоей газете.

— Это ты про что?

— Про школу... Только наш враг мог написать эти строки.

— Но... ты знаешь, что это я, именно я — писал!

— Я про тебя и говорю; но я дам опровержение. Идем, Михаил!..

Олегу Степановичу, видно, хотелось встать, затопать ногами, сказать уничтожающую речь, но инженер с мальчиком уже вышли. И только Нина Васильевна, умоляюще складывавшая руки при объяснении братьев, сидела напротив и просила:

— Успокойся. Он сгоряча. Пройдет.

— Что пройдет? — бросил на пол салфетку Олег Степанович. — Ничего не пройдет. И это в день именин. Я так этого не оставлю.

* * *

И вот настал вечер. И с ним два испытания для Мишки, оба настолько кошмарные, что его несложившаяся психика подростка не выдержала.

Началось с того, что в 6 часов вечера Николай Степанович уехал.. На неделю в Москву. А в половине седьмого вошла Стася:

— Идем, красавчик, на расправу!

— Куда? Не пойду и все.

— Пойдешь. Олег Степанович зовут. Да ты не бойся. Повинись и баста, он веселый сейчас... У нас ведь гости нынче, сорок лет ему исполнилось.

Мишка, глядя исподлобья, пошел за быстрой и ловкой девушкой.

Олег Степанович ходил по своей комнате, заложив руки за спину.

— Садись, Михаил. Поговорим.

Тот сел.

— Иди, Стася. Так вот... ты помнишь, мой дорогой, как два с лишним года тому назад я тебя подобрал на улице — брошенного всеми, голодного, плачущего?

Мишка потупил глаза. Зачем ему все это говорят?

— Мог ведь я пройти мимо тогда, не обратить на тебя внимания, потому что, согласись сам, беспризорных ведь тысячи на улицах! Разве всех подберешь?

И снова у Мишки было такое ощущение, словно его били сзади по голове и говорили: «Винись! Винись!». «Пусть зарежут, или выгонят на улицу, — а не повинюсь», пронеслось в его голове. От этого стало легче. И он поднял голову и прямо посмотрел на фельетониста. И тот смотрел на него с мягкой ласковостью, продолжая декламировать:

— И ты сейчас бы валялся под забором! или пропадал в ночлежке, в больнице, на соломе, в тюрьме, а то катил бы под вагоном, на буферах к югу, чтобы ночью свалиться спросонок на рельсы и быть в куски искромсанным... Уф...

— Что вам от меня надо? — спросил мальчик, гневно вставая. Он уже давно перестал любить этого сытого, самодовольного человека.

— Садись, садись, я сейчас кончу. Я очень рад, что ты привязался к Николаю Степановичу; но вот он уехал, как ты думаешь быть? Потом он уедет на год за границу (Олег Степанович врал), я определенно об этом слышал; можешь ли ты оставаться у нас, находясь со всеми во враждебных отношениях? Конечно, нет. Поэтому я предлагаю мировую. Тебе итти от нас некуда и нет смысла.

— В деревню уеду, — глухо отозвался мальчик.

— К отцу?

— А хотя бы и к нему.

Тонким хохотом отозвался на это Олег Степанович. Сразу оборвал. Молча прошел к столу, порылся в ящиках и достал пожелтевший номер газеты. Подал.

В газете была напечатана, наряду с другими, мелкая заметка, набранная петитом и заверстанная в отдел происшествий:

«...Смерть под паровозом. Вчера при посадке в поезд был задавлен на путях встречным паровозом неизвестный, мужского пола, на вид 40 лет; не приходя в себя, несчастная жертва собственной оплошности скончалась. По документам пострадавший значится крестьянином села Черного, Двужильным Сергеем...»

Мишка покорно прочитал эту мелкую заметку, обведенную синим густым карандашем. Потом молча встал и пошел шатаясь из комнаты.

— Погоди, дружок, — нагнал его Олег Степанович, взяв за плечи и повернув к себе лицом. — Ты хороший мальчик, и я тебя люблю, будь умницей и пойми меня: сегодня в моей жизни такой великий день: у меня соберутся гости, я праздную день своего рождения. Сознайся при всех, что ты поступил неправильно. Согласен?

— Согласен, — кивнул головой Мишка, чтобы только скорей уйти отсюда; он плохо сознавал, что говорит и делает. Ему просто хотелось остаться одному.

В комнате инженера его охватило успокоение, и вместе с тем вязкая усталость сковала все его члены. Николай Степанович, прощаясь, дал ему на всякий случай пять рублей денег и адрес знакомой девушки. И уговаривал ничего не предпринимать без него. Но уже сейчас Мишке было трудно.

В забытьи он опустился на жесткий диван, где иногда спал в последнее время. Лежал долго-долго, ни о чем не думая, ничего не сознавая... Значит, нет отца? Значит, в тот же день погиб отец?

Кажется, там, за двумя стенами, уже возбужденно говорили десятки голосов и звенели тарелки; кажется, его звали несколько раз. Но он оставался лежать неподвижно. Он разучился приказывать самому себе, приказывать телу, мыслям, чувствам...

В комнату вошли:

— Ты спишь?

Что за странный шопот, может, к Николаю Степановичу пришла его таинственная гостья?

— Ты спишь, Мишок?

— Ах, нет, это Стася.

— Хочешь есть?

— Нет. Я спать хочу. Голова болит.

— Бедная моя головка. Она болит. Ах ты, мой маленький!.. Он скучает здесь один... Скучает...

Она села на диван и, склонясь к нему, стала гладить его волосы.

— Ты очень несчастлив?

— У меня отца зарезала машина... поезд...

— А-а... — беззвучно протянула она. — Это давно было уже. Знаешь, Миша ты мне очень нравишься... ты милый мальчик.

— И ты мне, — вяло отозвался на ее срывающуюся ласку Мишка.

Она поцеловала его в лоб и глаза.

— Ты меня не прогоняй, Мишенька, я хочу тебя приласкать, такого обиженного, несчастненького...

Ее позвали, и она ушла. Потом пришла снова. Мишка уже нетерпеливо ждал, пока она прильнет к нему. Тело его горело, лицо пылало в огне.

Рассказы Николая Степановича о мужчине и женщине, цветы и рыбы с их оплодотворением, картины и альбомы Олега Степановича — все это смешалось и поплыло, прыгая в малиновом тумане.

Вдруг Мишка вскочил, с силой оттолкнул Стасю и задыхаясь выскочил в коридор.

В это самое время и вышел из шумной, залитой светом комнаты Олег Степанович.

— А, молодой советский гражданин! Идем! Я тебя представлю.

От него пахло водкой, луком и духами. Но Мишка странным образом обрадовался живому человеку и свету, он пошел за журналистом и стал обходить вместе с ним сидящие на диванчиках, креслах и кровати пары.

— Знакомьтесь... мой воспитанник. Герой нашумевшего фельетона «Нравы нашей школы»...

Выпито было изрядно, в комнате стоял дым, и висела терпкая кисловатая мерзость; но Мишку заметили, и Олегу Степановичу зааплодировали.

Здесь Мишка узнал одного из пожилых педагогов старших групп; доктора; было два инженера, поэты, артисты, собравшиеся чествовать прекраснейшего и талантливого Алю, Олега Зодчего, «гордость и украшение нашей литературы»...

О мальчике, видно, знали. Может, даже были предуведомлены, во всяком случае он на время стал в центре внимания, к нему потянулись с фруктами, стаканами вина, цветами и пирожными:

— Милый мальчик, на!

— За смычку с черноземным народом.

— Мы честно приветствуем тебя, представителя трудящихся.

И тогда Олег Зодчий произнес речь:

— Милостивые государи и милостивые государыни! Или как мы в обиходе говорим — товарищи! В сегодняшний торжественный день моего сорокалетия, когдя я счастлив был принять вас в этой ла... лачуге и выслушать дружеские пожелания, — в мою жизнь вошло еще одно радостное звено, еще один кусочек счастья. Сия молодая поросль, эта поднимающаяся новь, наша смена порадовала меня. Необыкновенно порадовала: есть еще истина и правда на земле. Священные основы человеческой культуры восторжествовали... Сей юноша в пылу крайнего увлечения, потому что кто же из нас, господа, не увлекался и не ошибался, выступил поборником ошибочных положений. Вы все знаете, в чем дело. И знаете, что он сам меньше виноват в этом, чем те, кто его воспитал. Сейчас я пригласил его, господа, в этот великий для меня день продемонстрировать, господа, свое раскаяние. Он берет все сказанное обратно, он, обливая слезами мои ноги, просил и просит простить его невольную ошибку ранней (ик!) молодости... Михаил Двужильный, объяснись!

Все зааплодировали. Одна полуобнаженная женщина подошла и поцеловала Зодчего, потом за компанию и Мишку; один из гостей, мигая пьяными глазками, захихикал:

— Хорошо, очень, очень хорошо!..

Но Мишка молчал. У него остановилось дыхание. Он потерял дар слова. Его чувства были наполнены динамитом. Он уже не владел собой и чувствовал, что вот-вот сорвется и натворит дел. А пьяные гости все приставали к нему, ободряли его:

— Изъяснись, мальчик!..

— Здесь все свои... без коммунистов...

— Мы тебя в обиду не дадим...

— Он говорит... тсс... тише, господа, он начинает...

И тогда Мишка в самом деле сразу и неожиданно для себя заговорил, голос его звенел сверх всяких пределов, руки дрожали, глаза смотрели злобно и негодующе.

— Нате вам, нате вам, черти. Слушайте! Ненавижу вас таких. Метлой бы вас грязной гнать...

Он не слышал возгласов возмущения, так как в ту же минуту Зодчий ударил его наотмашь по лицу... Он выбежал на улицу и побежал в ночной тишине тихого города...

V.

Мишка сидит. Николай Степанович ходит. Первый не совершал преступления, второй не собирается его судить. Однако в комнате повисло тяжелое настроение, гнетущая недоговоренность.

— Рассказывай, — прерывает Николай Степанович.

Мишке неудобно: в окно лезет солнце и припекает ему правое плечо, оно же разукрасило стенку пятнистыми двигающимися зайчиками, от всего этого не собрать мыслей. А собрать их надо немедленно, сейчас же...

— Убежал, значит?

— Убежал. Да и вы ведь убежали.

— Я ушел. Здесь большая разница. Но давай о тебе... Почему?

— Говорить неохота.

— Нужно, Михаил, говорить. Ты уже не маленький. Я думал вот, что всего тебя знаю, как чертеж завода, а побега твоего на моем чертеже не было.

— В прохвоста меня обряжали... Олег Степанович обряжал. А я не захотел...

...Они сидели долго. Про все рассказал Мишка, в том числе и про Стасю.

— Теперь понятно. Да ведь я тебе адрес оставлял Веры. К ней бы, чудак, и пошел.

— Запамятовал... Сам не свой был. Подумал, ну его к черту, город ваш, вернусь к себе, да и начну хозяйствовать, раз отца-то нет. И поехал.

— Ты уж и про отца узнал?

— Он же мне и сказал. Винись, говорит, лезь в мой хомут, батько-то твой зарезан, говорит, домой, небось, не поедешь.

— Ну, а дома?

— Нету у меня дома: сестренку Наташку попадья заместо прислуги взяла, мать померла, маленькая сестренка тоже, наверно, с голоду. Дом разорен. Вот она, судьба-то моя!..

— Брось, Михаил. Олег Олегом — вот видишь, я сам на другой квартире, порвал с ним навсегда. А на меня ты не сердись, мой дом — твой, и никаких разговоров. Давай, лучше расставлять вещи. Я как приехал

и перебрался, так все тебя искал. Некогда было с вещами возиться... Да, а из дому как же ты?

— Я все доскажу... коротко. Пошел я наниматься к Настенькиному отцу. Ну, Настенька, она обрадовалась. Ровестники мы, вместе, чай, играли в ловички.

«Пришел это я... так и так, мол. Наниматься в работники. А отец и говорит: сын голодранца, городской франт пожаловал, только вас и ждали! Небось, и в комсомоле состоите и языки чесать горазды! Да, говорю: я твердый защитник советской власти. А там как знаете!

— Да уж нам ли, — говорит, — не знать? Вон тебе бог, а вон порог, и будьте здоровы, представитель трудящихся...

— Тогда-то вот я и решил вернуться, о вас вспомнил. Ну, ехал зайцем, от станции до станции. Да нам не привыкать. Тащили и беспризорники... на юг ехать. Свободу сулили.

— Мне нравится, Михаил, что ты держался и с братом, и в деревне как взрослый; ты и есть теперь почти взрослый. Так и знай. Думки выбрось, живи спокойно, будем работать. Давай-ка развесим чертежи...

Работа закипела, а в разгар ее пришла девушка, в белом шарфе, воздушная и нерешительная.

— А, Верочка... На новоселье... Садитесь, а еще лучше — помогайте нам устраиваться. Я сейчас настоящий молоток и гвоздей принесу. Действуйте. Это — мой ученик и младший товарищ Михаил. Знакомьтесь...

Он вышел, а Михаил, как взглянул в ее лицо, так и остановился на одном месте.

— Да я ведь вас видал, знаю...

— Разве? — почти шопотом спросила девушка, подходя ближе.

— В клинике... Я теперь узнал вас совсем. Вы комсомолка Ипатова, вы застрелились от аборта после того, как вас тот комсомолец Васильчиков выгнал, вы лежали на окровавленных носилках, поздней ночью, а я ходил вас смотреть из 4-й палаты, а потом все во сне вас видал... Все хотел, чтобы вы выжили...

— Тссс... ни слова Николаю Степановичу. Я сама ему все объясню... А вы хороший мальчик... Хороший...

Она взяла его руку и пожала, задержав ее в своей руке. В это время вошел Николай Степанович с коробкой гвоздей, молотком и клубком шпагата.

— Ага, познакомились?

— Да. Так что у вас прибивать? Давайте...

Девушка будто повеселела, суетилась, проектировала, как лучше поставить мебель; но изредка Мишка ловил на себе ее тихий взгляд, и все не мог разобрать, была ли в нем просьба, упрек, или жалоба.

Потом пили чай... И он не мог не заметить, какими улыбками и взглядами обменивались Николай Степанович и Вера. Сообразил.

— Я пойду — встал он, берясь за фуражку;— надо будет насчет школы у ребят порасспросить. Месяц ведь не был.

— Нет, не ходи. Мы проводим Веру, а потом еще погуляем. В школе все сделано. Ты ведь у них лучший ученик. Я говорил с заведующим.

Вера шла под руку с инженером, больше слушала его, чем говорила. Но, когда начинала смеяться, чувствовалось, что это она является главным собеседником, от которого исходят токи мысли и радости. Инженер, как показалось Мишке, тоже подобрел и разошелся. Воспоминания, анекдоты, даже стихи — срывались с его губ. Он умел обо всем говорить легко и увлекательно.

— Здесь попрощаемся, — остановилась на углу Вера. — Через трое ворот и мой домик.

— В гости нас не приглашаете? — пошутил Николай Степанович.

— Пока нельзя, — серьезно ответила девушка. Потом дотронулась до руки: — Знаете, как у нас любят посплетничать... Иной раз жизни не рад.

Она пристально посмотрела на Мишку, пожала обоим руки и пошла.

— Но со временем будет и можно? — вдогонку спросил инженер.

— Я думаю, — что... запнулась Вера, — можно будет... — рассмеялась.— Всего...

А возвращались — долго молчали. Потом сказал он, старший и серьезный, младшему и нетерпеливому:

— Эх, Михаил, нравится мне она.

— Что ж, она хорошая...

— Что хорошая! Ты знаешь, как весна и новая жизнь. Я не верю там в сантименты, любовь, страдания. Но с ней мне легко и хорошо. Она товарищ, чистый, неиспорченный человек.

Мишка промолчал. Потом спросил:

— Нужны ли тайны людям?

— Нет, не нужны. Все должно быть ясно.

— А если человеку заказали держать тайну, должен ли держать ее?

— Я тебя не понимаю. Если обещал, — должен. Раз это не во вред другим. Да ты о чем? Уж не у тебя ли есть тайна?

— Да, у меня, — заторопился Мишка. — И я ее боюсь. Не самой тайны, а вот нужно ли ее вам рассказать, или нет. Не велено мне.

— Что не велено? Кто не велел?

— Вера не велела...

— Говори все... Все говори... Сейчас же.

Они сели в городском саду на скамью. И тогда Мишка рассказал про клинику, свое пребывание в ней, ночную прогулку по корпусу здания и про то, как привезли Ипатову в бессознательном состоянии.

— Теперь идем, — схватился инженер. — Только быстрее. Или нет, вот тебе ключ, иди. А мне надо побродить одному и кое-что обдумать.

«Вляпался, — подумал про себя Мишка, — и нужно же было вылезать... Теперь она меня прямо возненавидит».

Однако минул день, и неделя, и месяц, а ничего необычного не произошло. Девушка, устроенная инженером на тот же завод, где работал

он сам, заходила за это время два раза, и оба раза они весело проводили время, лицо ее, пополневшее, нежно-розовое, обрамленное светлыми прядями волос, все больше и больше улыбалось, глаза то лукаво, то просительно смотрели на Николая Степановича. Да и сам Николай Степанович, казалось, отошел и попрежнему хорошо чувствовал себя при каждой встрече с Верой. Все также упорно работал.

* * *

И снова потянулись рабочие дни, похожие один на другой, как листья дерева. Мишка быстро рос, еще быстрее формировался его несколько угрюмый характер. Мужицкой тяжеловатостью веяло от его рассуждений, и вместе с тем в них все чаще вспыхивали огоньки знаний и воли; человек крепчал, вр: стал новыми корнями в заводские трубы и думы, в партийную жизнь. Так прокатилась весна, лето и осень. За все это время только одно событие взбороздило непогодой их жизнь с инженером.

В один из вечеров зашла Нина Васильевна и стала просить за Олега.

— Коленька, сын ведь он мне, а тебе брат. Нельзя так, по-вражески!

— Не брат он мне больше.

— Да ведь это жестоко. Человека сократили по службе, он без средств, начал пить, не бывает вовсе дома, я уже стала вещи закладывать и продавать. Господи, до какого позора докатились!..

— Вы другое дело. И вы не ответчица. Приходите ко мне и пожалуйста живите. Угол и хлеб найдется.

— Не могу, Коленька. Я и знаю, что ты меня не прогонишь, покормишь больную мать, обогреешь, да ведь куда же тому деваться? Он всегда был таким слабеньким, беспомощным, он без меня совсем пропадет.

Она упала на колени.

— Спаси его... ты ведь в партии и все можешь...

— Ну, встань, мама, — заторопился рассерженный Николай Степанович. — К чему эти комедии? Уж не он ли вас научил? Я вам повторяю: для него ничего сделать не могу. А вы сами, когда захотите, перебирайтесь. И — кончим этот разговор.

Школьная суматоха, наконец, стала успокаиваться. Но Мишка все оставался героем дня. Педагоги в отношении к нему разбились на группы, добрая половина честных и преданных идеям новой школы определенно стояла на его стороне, некоторые колебались, не зная, чем эта борьба вокруг школы кончится, но были и такие, что, встречаясь с Мишкой один-на-один в коридоре, бросали ему «мерзавца» и «бандита», а на уроках всячески придирались, ставили «неуд.» и ядовито советовали бросать школу и ехать «перестраив: ть деревню на социалистических началах».

Он в самом деле перерастал ребят и девочек 6-й группы; даже 8-я и 9-я группы были мельче. Высокий, широкоплечий, румянолицый, с обликом мужичка, — он по развитию и вопросам, которые часто поднимал на уроках, не походил на маленького мальчика. Вопросы культурной революции, процессы об алиментах, эпидемия случаев возмутительного от-

ношения комсомольцев и партийцев к комсомолкам — все это пугало класс и преподавателей, настолько выходило за пределы школьных планов, что заведующий не раз и не два вызывал его к себе к кабинет.

— Неудобно, Двужильный! Один-на-один мы можем с тобой говорить об этих вещах, ты вырос и можешь знать это, вправе интересоваться всем этим. Но малыши и девочки — им нельзя и рано еще знать об этом.

Мишка и сам чувствовал, особенно после ежедневных вечерних бесед и работ с инженером, что он перерос школу и становится взрослым пареньком. К тому же он начал интересоваться заводом.

— Подожди, Михаил, — в ответ на его просьбы говорил Николай Степанович. Вот окончишь хотя бы семилетку, тогда и посмотрим, что с тобой делать. На завод, так на завод. Я не возражаю. А то и в техникум какой-нибудь вылазку сделаем. Давай-ка, брат, наляжем на учебу, и, может, с нового года прямо в седьмую группу шагнешь.

VI.

Однако старый мир и старый быт не сдавались. Как-то уже летом, когда Мишка был устроен на завод, в одно из воскресений в их квартирку постучали. Стояло синеватое от солнца июльское утро. Был день отдыха. Оба встали в семь, приняли холодный душ и теперь в трусах проделывали 20 дыхательных упражнений. В это время к ним вошли два посетителя. Страшное впечатление производили они рядом с обнаженными крепкими торсами атлетов — хозяев квартиры. Если про Николая Степановича, смуглого, высокого и необычайной силы человека, можно было сказать — сталь! А про Михаила Двужильного — белотелая, густокровная, пламенная молодость! — то гости скорее подходили под определение грязных тряпок. Один из них, давно небритый, с пучками седых волос в бороде и на голове, с заплывшим желтым лицом и грязно-мутными глазами, являл собой тип закостенелого забулдыги, пьяницы. Другой — молодой, но тощий, прыщеватый и с наглецой в серых глазках, тоже был навеселе. Два друга держались за руки и, ввалившись в комнату, сразу заговорили:

— А, наше вам с... кисточкой...

— Как говорится, сколько лет, сколько зим...

— Два, гм, сатира — соблазнителя невинности, хе-хе-хе!..

...Старик сразу сел и грозно посмотрел на инженера:

— Узнаешь, враг моей жизни?

— Узнаю, — спокойно ответил тот. — Но приходить не нужно было совсем. Особенно в пьяном виде.

— Брата гонишь? Талантливого журналиста и писателя убить собираешься? Преследуешь? Что ж, на, убей; Лермонтова убили, Пушкина убили, на, пей мою кровь...

— Не достоин-с, не достоин он, Олег Степанович, — засуетился его приятель. Что такие ра-ци-о-нальные, машинизированные люди понимают в наших чувствах? Бросьте с ним говорить!..

— И хорошо сделаете, — спокойно ответил инженер. — Зачем вы, друзья, вообще-то пришли? Вы нам не нужны.

— Ну, это вы бросьте комедию ломать, — вдруг вскипел молодой, с перекошенным от злобы лицом, — мы вам не нужны, так вы нам нужны! Может быть, для последнего объяснения, для решительного боя и пришли! А не хотите слушать, так я вас заставлю, милостивый государь!..

Он стоял, держась рукой за стул и весь дрожал, очевидно, от гнева и обуревавших его чувств. Мишка подошел и шлепнул его своей гигантской ладонью по плечу:

— Сиди и держись потише... Не в кабаке небось...

— Оставь, Михаил, — улыбнулся Николай Степанович. — Ну, что ж, давайте ваши объяснения... Прежде всего — кто вы такой?

— Ага, догадались, наконец, элементарнейшую веж ивость соблюсти. Ведь вот мы шли сюда, а они, Олег Степанович, так и говорили мне: посмотришь, говорит, если он нас просто взашей не выгонит; невоспитанный, говорит, человек... Коммунист, одним словом...

— И выгонит, — вяло поддакнул Зодчий.

— Чего же вы от меня хотите?

— Чести моей хочу! — ударил тот себя в грудь. — Прав моих на любовь хочу! Я, может, из-за нее жизни готов лишиться, а что насчет аборта, так это наше частное дело, аборт сделан, она опять служит, кто имеет право разрушать семейные устои? Кто, отвечайте?

— Выгнать? — спросил Мишка.

— Погоди, Михаил. О ком вы все это, гражданин, фамилии не знаю!

— Васильчиков, Петр Андреевич, бывший член Вэлкаэсэм, ныне беспартийный и безработный. А говорю я — трепещите, несчастный! — о всем нам знакомой девице, вернее моей жене — Вере Ипатовой, которую вы собираетесь прикарманить... Да-с!.. Вот вам... Соблазняете, растлеваете, так сказать, духовно...

По лицу Николая Степановича пробежала судорога. Кажется, он начал терять спокойствие. Но заговорил Зодчий и отвлек на время внимание всех.

— Коммунизм, коммунисты, хе-хе!.. Вот они все тут, как на ладони. Кто ж против этого возражает... И Платон, и Христос, и все великие светочи человеческой мысли (он театрально поднял вверх руку) были коммунистами... Однако земля — хе-хе! — тысячи веков не коммунистична, потому — идеал-с! А идеал — вещь неосуществимая на земле... Вот он, скажем, этот преступник, Михаил Трехжильный, тоже, небось, коммунист? А что выделывает?

— Что же? Ты без длиннот... по существу.

— Что я выделываю? — задиристо выкрикнул Мишка, — уж молчали бы, лучше было бы...

— Что ты выделываешь? — лукаво, предвкушая удовольствие от того, что сейчас огорошит собеседников, тонким голоском протянул Зод-

чий, — девушку развратил, вот что! Стасю хотел изнасиловать, вон оно какие дела! Уго-ловный ты преступник — вот-с!.. И стоит мне только...

— А я за Верочку, комсомолку Ипатову, горло перерву, в суд вас потяну, — визжал бледненький, тощий Васильчиков. — Я уже был у прокурора и все рассказал о ваших матримониальных склонностях... Из партии таких...

— Теперь гони, — глухо отозвался Николай Степанович на молчаливо бешеный взгляд Мишки.

Мишка взял молодого человека поперек, основательно, ладонью, наддал два раза по мягкой части, пронес по комнате и коридору и выбросил в открытую парадную дверь.

— Катись, гадина... И не попадайся мне под руку...

Потом, вернувшись, тихо попросил:

— Собирайтесь и вы, Олег Степанович, честью прошу...

— А если я не хочу?.. Может, я последний раз поговорить пришел? С братом, а? Пропадаю ведь... Меня, Двужильный...

— Проводи и его, — брезгливо поморщился инженер. — Довольно этих комедий. На вот, дашь ему на улице.

Выведя писателя земли русской за дверь, Мишка всунул ему в карман червонец и запер дверь... Минуту постоял — вспомнил на секунду сцену своего спасения, жалко стало Зодчего, встряхнулся.

А когда оба поняли, что как бы ни делали и что бы ни делали они сегодня, но день испорчен, зашагавший по комнате старший переспросил:

— Все, Миша, рассказывай... Еще раз... Чтобы мы с тобой ошибки не дали... Вспоминай и говори... Как сумеешь...

Опустил на окне штору.

И младший, волнуясь, начал вспоминать и говорить. Он сразу понял, что нужно Николаю Степановичу. Говорил запинаясь, будто сознавал, что от всякого неосторожного слова сделает больно. Снова замелькали белые палаты клиники и белые халаты врачей и сестер. Девушка стонала на носилках, и ее светлеющие пряди, прикрывая восковое лицо, пятнились в липкой темной крови...

— Мне после ваш брат показывал газету, он любитель таких историй, и все их вырезал и подклеивал. В газете говорилось, что этот вот самый Васильчиков просто ее выгнал, что он издевался над ней и...

...Оба неожиданно замолкли. Привстали...

Николай Степанович поднял штору и тогда увидели, что плакала у двери она сама, незаметно вошедшая Вера Ипатова.

— Верочка, моя маленькая и бедная девочка, не надо, — засуетился Николай Степанович, беря ее за руку и подводя к кушетке. Двужильный налил в стакан воды и поднес ей: — Выпейте!

Но она не могла. Встала было: «Я пойду, теперь все кончено», и опять опустилась, зарыдав как-то особенно горько и протяжно.

— Да о чем вы, о чем? Теперь все будет хорошо, — успокаивал инженер.

— Это, — взглянула заплаканными глазами на Мишку девушка,— это вы все рассказали... Я бы сама... Вы теперь думаете — обманщица! А мне хоть второй раз под пулю...

Мишка бледный и потревоженный необычайной суетой совершенно растерялся. Заламывая руки, повторял:

— Не то! Не то, я не то хотел совсем... А вот напортил... Как же теперь быть?.. Я сейчас объясню...

Но конфликт разрешил старший. С неожиданной, прямо материнской, нежностью он взял худые полудетские руки и стал целовать.

— Верочка, вы хоть капельку меня любите?

— Не капельку, а... навсегда...

— Ну и я... вас люблю. Верочка! Вот видите, — трудное-то слово и выговорено. Не плачьте, все обошлось. Нет больше грозы на нашем горизонте.

Уже всхлипывая по-другому, подняла лицо к Мишке:

— И зачем вы, Миша, зачем?..

— Я не мог...

— А наша тайна?

— Я спросил у Николая Степановича, могут ли у меня быть от него тайны; он сказал: не могут. Вот и рассказал ему. А тут еще эти двое пришли.

— Кто эти двое?

— Зодчий и ваш мучитель... Васильчиков, самый... Она, говорит, моя, не уходила от меня, счастье мое разбиваете. Я его, признаться, труханул маленько.

— После того, как его выбросили из организации и он узнал, что я опять работаю, проходу мне не дает. Опять влюбленным прикинулся, про вас обоих мерзости рассказывает, к заводу шляется...

— Ничего... ничего, Веруся, нельзя жить и не иметь преград и огорчений. А только, друзья, все-таки человек — сам кузнец своей жизни. Давайте, будем такими кузнецами.

— Как это? — робко спросила Вера.

— Да так. Все мы как будто ягоды одного поля. Все трое — в ленинских рядах, я в партии, вы в комсомоле. Да и работаем случайно на одном заводе... Ты что хотел сказать, Михаил?

— Я-то? Сумно, а выговорить надо. Вот что, товарищ Ипатова, вы простите за деревенскую назойливость и откровенность. А только раз у нас почти собрание сейчас и на повестке важный вопрос, как нам дальше жить, — я тоже имею слово.

— Говорите, — еще тише сказала Вера.

— Товарищи, — перебил инженер. — Надоело, товарищи, мне все это; ты, Михаил, сейчас получишь слово. Что это мы все — вы да вы, как чужие? Говорим друг другу ты отныне, а? Ты согласна, Веруся?

— Согласна, — улыбнулась она, прижавшись щекой к его руке.

— Ну и вот, — заторопился Мишка — И ты, Николай Степанович, и ты, Вера, — он запнулся, но продолжал весело, — хорошие ребята. Давайте жить втроем. Вы поженитесь. А я за завхоза в квартире буду и вроде столовника. Вот заживем!

В это время в дверь постучали, и Николаю Степановичу вручили под расписку пакет.

Это было уведомление от нарследа 2-го участка, в котором говорилось, что, согласно предписания прокурорского надзора, он, Николай Степанович, вызывается в среду для допроса по делу о злоупотреблениях на заводе, дискредитировании звания члена партии и систематических преследованиях комсомолки Ипатовой.

VII.

В городе, расположенном по соседству с Донбассом, как, впрочем, по всем городам необъятного Советского Союза, много говорили о шахтинском процессе. Обыватели тоже схватились за эту тему для своих пересудов.

Мишка ехал на-днях в трамвае и был доведен прямо до белого каления. В вагоне, как раз против него, сидели два неопределенных гражданина. Один в пенснэ с сумкой в руках, какие носят с собой неторопливые люди среднего возраста, занимающиеся от случая к случаю неопределенными делами. Другой — весь в парусиновом, остролицый и остроглазый — оказался заведующим одним из дровяных складов и тянул первого на выгодную для обоих сделку.

Граждане перешли к шахтинской истории и прямо стали сомневаться в том, что вредители в самом деле являются вредителями.

— Чепуха, очередной бум для Европы, — безапелляционно изрек первый, медлительный и спокойный.

— Я тоже так думаю, Илья Льич! — подхватил восторженно второй. — Пугают, пугают все, чтобы не забылись мы...

— Тут больше для Англии и вообще иностранного капитала. Не хотите, мол, торговать с нами, давать нам кредит, — так мы опять примемся за терроры и мировую революцию.

— Вон и Бела-Кун... подослали в Австрию, да только влопались... Я так понимаю, Илья Льич, — ничего в шахтах и не было. Это все выдумали и баста!..

Мишка вначале не обращал внимания на разговор. У него были свои мысли, свои дела. Что бы он ни сделал, привык теперь проверять и обдумывать, к общей это пользе, или не к общей. Прав он перед комсомолом, или нет? В этом был тоже, пожалуй, слишком прямолинеен и беспощаден. Но молодость не знает полумер и не терпит компромиссов... Потом уже самые интонации фраз заставили его насторожиться. Два-три слова ввели его в круг обсуждаемых вопросов. А под конец он просто не вытерпел и вмешался:

— Заграница-то, граждане, видно, больше нравится?

Те подняли на него глаза. Подросток оказался серьезным парнем. Еще влопаешься. Парусиновый льстиво заскочил:

— Вы нас, молодой человек, не поняли. Это мы...

— Очень даже понял. Считаете, что шахтинские инженеры не виновны, и процессом дым в глаза загранице пускают... А это не верно...

— Может, и так. Мы люди малограмотные... — заегозил парусиновый: — а вы нам разъясните. В комсомоле, небось? Вам-то оно виднее.

Второй оказался прямее:

— Знаете что, молодой человек, вы еще не жили, выслушайте один совет от опытного человека: не суйтесь в те разговоры, в которых вы ничего не понимаете!

— Ну, вы меня на дурака не берите. Я грамотный, — уж совсем озлился Мишка.

— Грамотный? — не унимался тот. — Читать и писать умеете? Арифметику изучили? Похвально, похвально. А только в делах государственных ни на грош вы не смыслите. Так и знайте. Вас обманывают, а вы принимаете все на веру...

— Нам ваша вера не нужна, — окончательно вскипел Мишка. — А только сплетникам мы будем давать по рукам... Довольно, наконец!

Когда потом Мишка рассказал все инженеру, тот спокойно ответил:

— Не стоит обращать внимания. Тявкающих у нашей подворотни много. Но они не страшны.

— Ну, а я не мог удержаться, — пояснил Двужильный. — Не мог. Сижу и чувствую, чешутся у меня кулаки, бурлит в сердце обида: ах, вы, думаю, гниды этакие; жрете советский хлеб, да еще поругиваетесь!

— Пусть ругаются. Нам чихать на их ругань. Ты вот лучше слушай-ка мой секрет.

* * *

Вскоре все трое знали: секрет состоит в поездке на море. Получили места в доме отдыха. И теперь собирались, обсуждали, спорили целые вечера. Споры выходили горячими и беспlановыми, но нравились всем троим.

Мишкина задиристость и Верин смешок как нельзя больше гармонировали со спокойной рассудительностью инженера.

Правда, накануне отъезда настроение омрачилось: опять пришла Нина Васильевна и стала просить за Зодчего; у них был обыск, Олег арестован. Говорят, что вышлют в Соловки за связь с какой-то организацией.

— Но если бы ты, Коля, похлопотал, — может, выпустили бы!

Опять дело кончилось слезами, старуха ползала на коленях, жаловалась и грозила нищенской сумой, с которой она придет под окно Николая Степановича.

— Каково тебе будет, когда родная мать протянет руку: подайте милостыньку ради Христа!.. Небось тоже прогонишь?..

Инженер оставался непреклонным.

— И что у вас у всех за манера — бить на жалобные слова? Никого, мама, ты этим не тронешь. Я тебе говорил и говорю: за брата я хлопотать не буду. Достукался, пусть и отвечает. А вы можете переехать ко мне. Кто же вам-то отказывает в помощи?.. Возьмите сейчас денег... Сколько вам требуется?

Однако не выдержал, черкнул, кляня мысленно себя, кое-кому записку.

Наконец, поехали.

* * *

Город растаял, потускнел, исчез в полуснах. Мишка высунулся в вечернее окно, да так и остался на целые часы. Мелькали телеграфные столбы быстро-быстро, за ними деревья, поля; на далеком горизонте нехотя поворачивалась вслед за поездом потухающая заря и манила, и звала к себе.

Мишке стало грустно. Но грусть была освежающей, как встречные ветерки, и хорошей, как дума о детстве. Странно, что он, бывший голопузый мальчишка в рваной рубашонке, что играл в своей деревне на лугу,— теперь вот, одетый по-городскому, в желтых ботинках, плаще кофейного цвета, синей рубашке с галстухом и черных брюках в полоску, — едет отдыхать на море! Он, комсомолец, ленинец, взрослый в сущности человек, физкультурник и боец... А разве не могло быть иначе? Отец бы умер, изба развалилась, на руках голодная семья, и он ходит за ржавым плужком по десятинке в лаптях и рваных холщевых штанах.

Мечты овеществлялись, подходили ближе. И вот:

На полустанке, уже озаренном тусклыми вечерними фонарями, увидел мальчика. Мальчик, лет восьми, был в рваной рубашонке, босой. Он плакал и звал:

— Тятька! Тять!.. Я боюсь один. Тя-я-ять...

Кто-то, проходя по перрону, буркнул:

— Жди тятьку с прошлогодним снегом...

— И когда только этих брошенных не будет?..

Тогда Мишке почти до слез стало жаль мальчишку. Поезд уже мчался по закругленным линиям рельс, то-и-дело встречая приветы кланяющихся деревьев; а ему все вспоминался этот кандидат в беспризорники, вспоминался он сам, брошенный в чужом городе. Мог ведь пропасть, навеки пропасть, выбыть из человеческого общества, и как странно все-таки, что спас его человек такой ненужный, лишний, дурной. А то бы пропал, сгинул, одна бы дорога — в бродяги...

В Мишкином горле защекотало. Кажется, слеза непрошенная побежала по щеке, потом другая. Он этого не замечал. Он жадно слушал, как пел в соседнем вагоне, тоже едущий на море, пионерский отряд:

Мы кузнецы,
И дух наш — молот,
Куем мы счастия ключи...

Теперь ему казалось, что все будет гладко в жизни и хорошо. Поезд весело бежал, рассекая пением пышную грудь земли. И такой же весенней, умной, организованной по-ленински — казалась вся жизнь. Теперь не будет сомнений, не будет преград, шаг за шагом и год за годом польются, полетят вперед радостно и гордо — к социализму.

...Разуверять ли его, Михаила Двужильного? Сына деревни и индустриального города? Умерить ли его пыл указанием на то, что впереди еще много трудностей придется преодолевать социалистической республике?

Зачем? Жизнь внесет поправку. Жизнь сама расскажет и научит. А радость и цветение молодости помогут сохранить навсегда и во всем ленинские заветы... Порукой в этом — тот урок, что дала ему жизнь.

Заговор равных.

(Роман).

Илья Эренбург.

(Окончание).

Тайная директория.

Закрытие «Пантеона» рассеяло «равных» по всему Парижу. Они собится теперь в саду Тюльери, в кофейнях, принадлежащих добрым патгам, как-то: в кафэ Кретьена, Наи и Ковэна. Однако их генеральный б — в «Китайских банях». Это — нелепейшее сооружение на углу льянского бульвара и улицы Мишодьер, в двух шагах от «Маленького ленца». Провинциалы разевают рты, глядя на фасад, покрытый лысыми ками, зонтиками, звоночками и никому не понятными письменами. юху увлечения «китайщиной» здесь помещались модные бани. Потом катель бань прогорел, и в начале революции здесь открылась коня. Ее-то и облюбовали патриоты. Трудно понять почему: большие ı позволяют зевакам наблюдать за всем, что происходит внутри. Приивость постройки привлекает общее внимание. Итальянский бульвар славлен дерзостью роялистов и спекулянтов. Рядом с «Банями» — іая лавка: днем и ночью толпятся франты, разглядывая выставленные сне галстухи и перчатки. Заговорщики собираются у всех на виду. сет быть, нравится им хозяин? Он ведь числится завзятым патриотом, говорщики не знают, что этот патриот — тайный агент полиции.

В «Китайских банях» всегда людно и шумно. Возле большой печки ят, что важнее: конституция 93-го или полная отмена наследств. зья Бабефа — Дартэ, Жермен и Дидье — вербуют патриотов. Здесь ıушиваются рапорты, и отдаются приказания. Колеблющихся здесь говаривают, новичкам объясняют, что это за люди «равные». Шуршат овки. Когда заходит сюда какой-нибудь случайный посетитель, сразу замолкают. Иногда в кофейную врываются роялисты; происходят ки. Как-то озорники выбили стекла.

Рыжеволосая рослая девушка, по имени Софи Лапьер, исполняет іе песни «равных». Сочиняет их, конечно, все тот же Сильвен Марeь. У Софи не бог весть какой голос. Зато поет она с чувством. Она поет

«новую песню для предместий»: «От голода, холода мрет обманутый вами народ. А богач, он живет припеваючи»... Здесь посетители, вдоволь угрюмые, едва согретые жидким кофе и смутной надеждой, невольно смотрят сквозь окна на «бозественных» прелестниц и на «невегоятных» щеголей. Софи же поет о «новых богачах, разжиревших на беде народа», и о голоде, о черном голоде предместий: «Под мостом он разут и раздет, он железо жует на обед. Жуй железо, герой революции!»... Все подхватывают: «жуй железо»... Многие давненько не нюхали мяса, и голод прежде чем гнев разжег эти глаза. Софи вспоминает: «Их народ в доброте пощадил...». Ах, фонари покойного Камилла! Ах, гастроли гражданина Сансона на площади Революции! Скольких они тогда прозевали. Но теперь дудки — теперь никто живьем не уйдет. Они поумнели. Грозно сжимаются кулаки. Пенье переходит в рев, и проходящие мимо «Бань» завсегдатаи «Маленького Кобленца» пугливо переглядываются. Они вспоминают те же дни, тот же фонарь и ту же бурую густую кровь. Они даже забывают о хороших манерах и, больше не картавя, вскрикивают:

— Анархисты! Террористы!

А рабочие, разорившиеся писцы или стряпчие, портные, уличные девки, носильщики продолжают горько горланить.

Иногда Софи исполняет другие куплеты, все того же Марешаля, для глубокомысленных патриотов, которые даже в песнях любят философические максимы: «О, благодетельная мать-природа, ты равными нас родила»... Это — «гимн равных». В «Китайских банях» много поют. Порой собрания заговорщиков напоминают уроки пенья. Патриоты разносят песни по всему Парижу: их повторяют в мастерских, в темных дворах Сан-Антуана, в тюрьмах, в казармах. Гражданка Софи Лапьер не даром трудится: чтобы поднять Париж, мало идей Бабефа, для этого нужны также песни; без песен в Париже не бывает ни любви, ни хорошей драки, ни революции.

«Равные», конечно, не только пели. За один месяц они выпустили кипы листовок: «Правда народу», «Солдат, стой и читай», «Слово патриотам», «Трибун народа — внутренней армии». Эти листки переходили из рук в руки. Можно сказать, что весь грамотный Париж их читал. Печатали их тайно, и полиции никак не удавалось напасть на печатню «равных». Газета Бабефа также продолжала выходить. У «равных» не было денег, а следовательно и бумаги. «Трибун народа» печатался всего в количестве трех тысяч экземпляров. Но «Трибун народа» доходил даже до итальянской армии, где солдаты ожидали его с нетерпением. Ночью патриоты покрывали воззваниями все стены Парижа.

Полдень. Квартал Антуана. Возле стены толпится народ. Мастеровой громко, отчетливо, как учитель, читает: «Разбор доктрины Бабефа, преследуемого Директорией за правду. Поскольку один изнемогает, работая, а другой бездельничает, обладая всем в избытке, существует насилие. Никто не мог, вне преступления, присвоить себе землю или мастерские. В подлинном обществе не должно быть ни богатых, ни бедных»...

Кто-то сзади насмешливо вздыхает:

— Поздно вспомнили! Сколько негодяев нажилось на этой революции! А теперь что они говорят: «революция кончилась»...

Мастеровой продолжает читать: «Революция не кончилась, ибо богатые присвоили себе все блага и власть, в то время, как бедные трудятся, подобно рабам, изнывая и никак не участвуя в управлении государством».

Среди толпы один гражданин явно не согласен с доктриной Бабефа. Он что-то бормочет под нос. Наконец, он не выдерживает:

— Это кровопийцы! Они снова хотят нас душить.

Но Сан-Антуан — не «Пале-Эгалитэ»:

— Долой шуана! Гоните роялиста!

Вмешивается агент полиции — конечно же, тайный агент тут как тут. Крики, ругань, кулаки. Шляпы с кокардами и без кокард летят на землю. Наконец, арестовывают обоих: того, кто читал, и «шуана». Баррас еще лавирует, но администратор районной полиции уже пристал к берегу: не колеблясь, он тотчас же выпускает хорошо одетого гражданина, а «террориста» отсылает в тюрьму.

То же самое происходит и в других частях города. Тайные агенты теперь слышат одно слово: «восстание». Возле моста Шанж и на площади Грев ежедневно собираются толпы безработных. Они требуют «хлеба», «равенства», «конституции 93-го года». Их разгоняют отряды кавалеристов. А голод? Голод все растет. Новые деньги, «мандаты», падают с такой же стремительностью, как и ассигнации. Крестьяне не везут в Париж ни мяса, ни муки. Их трудно теперь чем-нибудь соблазнить: в деревенских домишках рядом с корытом — секретер из палисандрового дерева, гуси ходят по гобеленам, и ребятишки бьют севрский фарфор. Безработица стала повальной: хозяева закрывают мастерские. Они уверяют, что принудительный заем разорил их. Роялисты с каждым днем смелеют. Они показываются в шляпах с лилиями. Они громко восхваляют успехи неприятельских армий.

Открываются, что ни день, новые балы, и с первыми же весенними днями Булонский лес наполнился щелканием бичей, смехом прелестниц, цокотом лихих наездников. Один чудак вздумал сегодня сосчитать, сколько там модных кабриолетов, но, перевалив за тысячу, сбился.

На площади Грев блещут сабли драгун, летят камни. У всех только один вопрос:

— Начинается?..

Среди двух сделок и среди двух танцев люди гадают: когда же он выступит?..

Гракх Бабеф пишет день и ночь. Он подсчитывает силы. Он готовится. Какая непосильная работа взвалена на плечи этого хилого человека! Он должен воодушевлять и организовывать, подсказывать уличной толпе внятные ей слова мести или зависти и обдумывать устроение нового общества, чтобы не сплоховать на следующий день после победы.

Бабеф скрывался у бельгийского патриота Клеркса, в маленькой квартире, возле Галь-о-Бле. Там происходили и заседания главарей. Они называли себя «Тайной директорией». Кроме Бабефа в эту Директорию входили: Буонаротти, Дартэ, Жермен, Лепелетье, Сильвен Марешаль.

Нередко происходили горячие споры: трудно было объединить столь различных людей. Марешалю поручили написать «Манифест равных».

Написал он совсем не плохо, так что, слушая его, Буонаротти в воодушевлении прерывает чтеца возгласами: «Прекрасно! браво!». Но «Манифест» вызывает пререкания. Почитатель Руссо пишет: «Пусть погибнут все искусства, лишь бы осталось нам подлинное равенство». Это, конечно, согласуется с идеалом «равных», с любовью к природе и к простой жизни, однако Бабеф выступает против:

— Искусства могут быть полезны народу. Надо отличать забавы пресыщенных людей от здоровых потребностей граждан. Я отнюдь не враг машин. Ты думаешь, что машины приведут к еще бо́льшему рабству, и хочешь их уничтожить; нет, машины, правильно использованные, облегчат труд человека. Я бы поощрял новые изобретения.

— Зачем? Греки не знали машин, однако они были куда счастливей наших современников! Взгляни на искусства: кому нужны портреты аристократов или же дворцы Версаля?

— Дворцы, пожалуй, пригодятся... А ты? Ты ведь пишешь стихи! Говорят, художник Давид совместно с Робеспьером предполагали перепланировать Париж. Давид высказывался за прямые проспекты. Я вижу новую архитектуру нашей республики — дома просты, чисты, удобны. В них красота единообразия, полной симметрии. Общественные здания великолепны — это школы, народные дома для собраний, склады, библиотеки, музеи. Чтобы их воздвигнуть, необходимы искусства, без них мы уподобимся варварам.

Здесь угрюмый Дартэ вставляет:

— Однако следует наблюдать за изобретателями, учеными и художниками, чтобы они мысленно не блуждали среди воображаемого мира.

Бабеф продолжает:

— А одежда? Как неуклюж наш костюм! Он мало приспособлен для работы, и к тому же он выражает идею неравенства. Нам придется утвердить единую для всех граждан одежду. Конечно, допустимы некоторые отступления в связи с возрастом и с ремеслом...

Антонель, флегматичный Антонель прерывает Бабефа:

— Давид и Тальма уже пробовали, Давид сделал новый костюм, а Тальма в нем вздумал прогуляться. Его сначала приняли за сумасшедшего, а потом арестовали, как иностранного шпиона.

Все смеются.

— Это отсталость граждан. Необходимо их перевоспитать. Я видел проект рабочей одежды, исполненный депутатом Сержаном, — мне он показался удачным. Нельзя же отрицать искусства или механику от того, что теперь ими пользуются аристократы и богачи!

Хоть Сильвен Марешаль и пописывает элегии, он твердо стоит на своем: ни машин, ни искусств, — все это наваждение города.

Еще больше споров вызывает другой абзац его «Манифеста»: «Пусть исчезнет, наконец, возмутительное различье между правителями и управляемыми».

— Ты требуешь отмены всякой власти, — это недопустимо.

«Равных» называют «анархистами», однако они сторонники твердой власти. Только Марешаль за полную свободу:

— Чем палка в наших руках лучше палки Барраса? Мы всех перевидали — от Капета до Лежандра, — все друг друга стоят. Суть не в людях, даже не в законах, суть в принципе: власть развращает самых добродетельных людей.

Марешалю не удалось переубедить товарищей. «Манифест» так и не был опубликован.

В другой раз разногласия вызвал вопрос о диктатуре. Кто должен править Францией после переворота: Конвент? диктатор? комитет, составленный из «равных»? Все признавали необходимость твердой власти. Буонаротти уверял: «Если мы уважаем народ, который еще несознателен, — мы должны прибегнуть к диктатуре»... Дартэ стоял за единоличную власть. Бабеф, которому когда-то претила идея диктатуры, сохранил отвращение к этому слову. Решили установить власть революционного комитета.

Бабефу приходилось многое впервые открывать. Он не знал ни опыта предшественников, ни мудрых советов, черпаемых из книг. Он брел впотьмах, увлекаемый только горячим чувством. Тайная директория одобрила пять декретов, составленных Бабефом и Буонаротти.

Трудней всего дался экономический декрет. Будучи человеком достаточно проницательным и широким, Бабеф не пошел за сторонниками крайнего опрощения. Однако сельская жизнь оставалась для него идеалом. Он предполагал значительно сократить как размеры, так и значение городов. Зло в городах: проститутки, художники, сводни, поэты, воры, праздные комедианты. Разгрузить Париж! Все должны работать, кроме инвалидов и стариков, достигших шестидесяти лет. Особо неприятные и тяжкие работы выполняются поочередно. Все приписываются по месту жительства и работы. Обеды в общественных столовых. Трудящиеся получают все необходимое: одежду, пищу, домашнюю утварь. Передвижение разрешается только с ведома властей. Республика составляет опись продуктов земледелия и ремесла, распределяя их по областям. Главное— учет! Надо управлять не красноречием депутатов, но арифметикой. Торговля граждан с иностранными купцами запрещается под страхом смерти: это дело государства. Республика назначает агентов для внешней торговли: они приобретают за границей нужное сырье и продают иностранцам излишки. Деньги внутри страны отменяются. Что касается запасов золотой монеты, то они пригодятся для внешней торговли.

«Полицейский декрет» делил население Республики на «граждан» и на так называемых «иностранцев». Граждане занимаются полезным де-

лом; это: рабочие, землепашцы, ремесленники и солдаты. Сомненья вызвал вопрос об ученых. Решили зачислять их в категорию «граждан» лишь по особым рекомендациям коммуны. «Иностранцы» лишаются права входить в общественные здания и носить оружие. За плохое поведение они могут быть отправлены в исправительные дома. Острова Маргариты, Ре и Гиерские превращаются в концентрационные лагеря для подозрительных «иностранцев». Эти острова должны быть отрезаны от всего мира.

Каждый желающий что-либо напечатать должен представить рукопись на рассмотрение. Если его работа полезна, ему предоставляют печатню. Воспрещается печатать сочинения, противные принципам равенства.

Распространить ли права на женщин? Мнения разделялись: Буонаротти и Марешаль говорили, что женщины еще не подготовлены к управлению государственными делами; Бабеф, напротив, стоял за равноправие: он хорошо знал героизм простой служанки.

Власть народу предоставляется постепенно: сначала надлежит ввести основы равенства. Когда же Республика окрепнет, все трудовые граждане будут созваны на избирательные собрания согласно конституции 93-го года.

Иногда обсуждение того или иного декрета вызывало недоверие: выполнимо ль это?.. Конечно, чаще всех высказывал сомнения Антонель. Бабеф негодовал:

— Как? Это — неосуществимо? Теперь? В конце восемнадцатого века?..

Однако и Бабеф боялся, что народ мало подготовлен к «обществу равных». Поэтому он считал особо важным воспитание детей: эти всё поймут... Республика, конечно, не может доверить родителям столь ответственной миссии. Дети поступают в воспитательные дома. Там учитывают как их наклонности, так и потребности страны, подготовляя столько-то учителей, столько-то слесарей, столько-то пчеловодов. Изучение истории и законов Республики укрепляет сердца подростков.

Для воспитания взрослых полезны праздники: апофеозы великих мужей, публичные игры, проповеди ревнителей равенства. Надлежит устроить праздник, заменяющий крестины: представление новорожденного коммуне.

Пока другие государства не последуют примеру Франции и не установят у себя равенства, нужно закрыть границы. Кроме агентов Республики, никто не должен выезжать за границу. Во Францию допускаются только труженики, убегающие от рабства, или же герои, преследуемые тиранами.

Одобрив проекты нового общества, Тайная директория перешла к обсуждению тех мероприятий, которые могли бы привлечь граждан, предпочитающих философии фунт белого хлеба. Что будет на следующий день после переворота? Тотчас же в дома богачей вселят обитателей Сан-Антуана и Сан-Марсо. Беднякам, кроме того, немедленно выдадут одежду

государственных складов или из частных лавок. Имущество эмигран-
и прочих врагов народа будет распределено между защитниками ре-
июции. Надо уважать народ! Бабеф или Буонаротти готовы умереть за
енство. А народ хочет жить: вот перед ним светлые дома, добро ари-
кратов и, наконец, штаны, знаменитые штаны для неисправимых сан-
лотов...

Как Бабеф, отвергший Робеспьера за террор, сам пришел к террору? жет быть, просто он освоился с революцией (ведь до этого он только елал, что сидел в тюрьме), а революция, как известно, была щедрой на : на идеи, на ассигнации, на кровь. Может быть, Бабеф изменился: года тому назад в тюрьме Лана сидел живой человек, теперь это — бун, председатель «Директории», автор декретов, дух заговора. Мог быть, изменилось и окружение. Робеспьер слал на эшафот Дантона Шомета, Клоотса и Геберта. Это были еретики, но не изменники. Может ть, зрелище Терезы Тальен, «балов жертв», спекулянтов в «Палелитэ», «золотой молодежи», предателя Барраса и всего разгула послед- приглашенных на революционное пиршество, которые долакивали вки и, не собирая со стола, устраивались на утро, на весь день, на вечть, — может быть, это зрелище заставило честного Бабефа столько аккуратно записывать слово «смерть, смерть, смерть»? Он готовился ысокому назначению: изменить человечество. Он знал, что для этого кны солнце, братство и время, самое горькое — время. Как врач, он бегал к давно испытанному средству: кровопусканию.

Для других членов Тайной директории, кроме Буонаротти и Жермена, рор был если и не профессией, то во всяком случае вещью весьма при- ной. Антонель в свое время послал жирондистов на эшафот. Дебон хвалял благодеяния гильотины, а Дартэ применял эти благодеяния жителях Камбре. Вопрос о «наказании предателей революции» (так ывали «равные» предполагаемые казни) вызвал куда меньше споров, ели проект рабочего костюма.

Тайная директория, разумеется, не только сочиняла декреты, — деятельно готовилась к восстанию. Париж был разделен на двена- гь участков. В каждый участок послали представителя. Эти районные дставители сносились с «Директорией» через Дидье — «агента связи». не знали, кто стоит во главе заговора. Состав «Директории» оставался ным.

Среди районных представителей были рабочие, военные, адвокаты, налисты — всё испытанные патриоты, в прошлом приверженцы Ро- ьера, теперь же сторонники равенства. Бабеф хорошо знал, где его зья. Своей опорой он считал двенадцатый участок — рабочий квартал -Марсо.

Бабеф запрашивает представителя Сан-Марсо: сколько мастерских астке, характер работ, настроение рабочих? Представитель, гражда- Моруа, отвечает: две красильни, в одной восемьдесят рабочих, в дру- тридцать, все, как один, преданы делу «равных».

Представители поддерживали брожение, они сулили беднякам дома аристократов и штаны, они сулили удачу, они вышучивали трусость Барраса и его полицейских, они уверяли, что завтра «мандаты» пойдут на вес, как ассигнации, что Директория вошла в соглашение с роялистами, что хлеба в Париже вовсе нет, что Бонапарт разбит наголову, и Республике грозит тысяча опасностей. Они говорили правду. Часто они преувеличивали. Порой они умышленно лгали: в инструкции районным представителям рекомендовалось подымать население всеми способами, вплоть до распространения ложных слухов.

Районные представители были по большей части людьми бедными. Им приходилось зазывать патриотов в кабачки, чтобы там, за бутылкой вина, когда раскрываются души, спросить:

— Ну, как в вашей мастерской — все готовы?..

Патриоты отвечали:

— Только и ждут сигнала.

За вино расплачивались представители. У «Тайной директории» вовсе не было денег. Самая большая сумма, которой она когда-либо обладала, — это двести сорок пять франков. Бабеф презирал деньги! Он жил впроголодь. Но вокруг него было не воображаемое «общество равных», а Париж IV-го года, Париж балов, Барраса, поставок, магазинов, Париж коленопреклонный перед любыми деньгами, даже перед балаганными «мандатами». Заговорщики должны были заменять деньги героизмом. Это было по душе Бабефу; Бабефу, но не Парижу.

Слов нет, у «равных» везде были горячие приверженцы. Два офицера из личной охраны Директории предложили убить директоров. Бабеф это предложение отверг: он хотел не дворцового переворота, а народного восстания. Он слал представителям новые инструкции: больше энергии! учет патриотов! полная тайна! час близится!

Да, час близится! Об этом говорят донесения представителей, об этом говорят и глаза Бабефа. Не усталость в них, не восторг. Бабеф накален добела: дальше он может только расплавиться — победить или же погибнуть. Огромная работа выполнена: в тесной комнатушке преследуемый полицией человек создал не только очередной заговор, он создал новую религию. Он взял буколические грезы XVIII века и превратил их в параграфы декретов: завтра они станут жизнью! Он докажет, что всеобщее благоденствие не в роскоши, не в военных победах, не в праздном искусстве, которым теперь тешатся и гражданин Тальма — актер, и гражданин Сансон — палач. Нет, всеобщее благоденствие в равенстве!

Вот сын его, Эмиль. Он трудился весь день. Он обрезал деревья плодового сада. Он рассказывал юным сынам Республики о первых зачинателях «общества равных»: о Робеспьере и Сан-Жюсте. Теперь он вышел за околицу со своей молодой подругой. Перед ним сельское спокойствие, игры детей, благодетельное солнце, уходящее до завтра, и свежесть, заслуженная свежесть отдыха. Он счастлив. Это счастье достойно зависти: он счастлив, ибо равен, ибо его счастье никому не стоит ни пота, ни слез,

ни крови. Когда это будет? Неужели только через десять лет? И увидит ли измученный Гракх эту вдохновенную картину?..

Минута мечтаний сменяется тревогой. Все ли готово?.. Отчеты представителей полны надежд. Бабеф теперь почти не выходит из дому: ведь вся полиция поставлена на ноги. Из его окна видны только небо и крыши. Он не видит Парижа. Жадно спрашивает он друзей:

— Ну, как?.. Нет, не отчеты... Как Париж, улицы, толпа, люди?..

Друзья отвечают разно. После удачного дня им кажется все прекрасным: «Париж кипит, как 31 мая!» Но бывают и плохие дни, сказывается усталость. Вот сегодня — Буонаротти пришел мрачный, молча поздоровался.

— Как Париж?..

Не глядя на Бабефа, Буонаротти тихо отвечает:

— По-моему Париж не с ними, но и не с нами. Он равнодушен.

Бабеф вскакивает, обнимает Буонаротти:

— Нет! Нет! Этого не может быть! Я знаю Париж — его нельзя зажечь словами. Но он весь загорится, как только увидит мужество «равных». Не журналистами должны мы быть — апостолами!

Удача неудачника.

Десятого жерминаля, в четыре часа пополудни молодой офицер Жорж Гризель шел из Военного училища к своей тетушке. Несмотря на весеннее солнце, Гризель был не в духе: жизнь его никак не складывалась. Вместо веселых кутежей в одном из кабачков «Пале-Эгалитэ» должен он хлебать луковый суп и слушать, как его тетушка жалуется на базарных торговцев: «Живодеры! За пучек луку они просят тридцать франков, как будто лук — это ананасы!».

Денег тетушка не дает. Никакого повышения в чинах тоже не предвидится. Сколько офицеров за один год стали генералами! На что-нибудь же годна эта треклятая революция... А вот он, Гризель — капитан и точка. Дальше ни-ни. Подумать только, что проходимец Буонапарте назначен главнокомандующим! Вот это карьера! Почему ж ему не везет? Он ведь тоже человек азартный...

Гризель шагал по набережной Тюльери, не обращая внимания ни на деревья в цвету, ни на улыбающихся модниц. Невеселый обед предстоял его тетушке.

С детских лет мечтал Гризель о славе. Он завидовал не только гражданину Тальену, но даже гражданину Сансону: помилуйте, стоит палачу притти в театр, как все на него показывают пальцами. И потом такой Сансон хорошо зарабатывает: он не должен бегать за тридевять земель к старой дуре ради тарелки супа.

Гризель был сыном портного, и детство провел он в маленьком городке Аббевиле. Когда ему было восемнадцать лет, он стащил у отца двести франков и уехал в Париж. Он хотел было записаться во флот.

Эскадра отбывала в Гибралтар. Но Гризель не вышел ростом — его забраковали.

Настала революция. Другие честолюбцы сделались ораторами, депутатами, журналистами. Гризель остался портным. Он клал заплаты и пришивал пуговицы. Наконец, он попал в армию, но и там, дойдя до капитана, остановился. Маленькое жалованьице, вылинявший мундир, обеды у тетушки — такова была жизнь Жоржа Гризеля. Понятно, что он шел и хмурился.

Вдруг окликает его гражданин Мюнье:

— Гризель! Давно не видались...

За год до революции оба жили в одной комнате, оба были портными. Друзья обнимаются. Мюнье зовет Гризеля:

— Разопьем бутылочку!

Не так часто Гризеля угощают, чтоб он раздумывал. Они идут в «Женевскую кофейную». Мюнье спрашивает:

— Ну, как тебе живется?

Гризель самолюбив. Не станет он жаловаться перед этим портняжкой.

— Ничего. Как видишь, служу Республике, — командую третьим батальоном тридцать второй полубригады.

Мюнье хмурится:

— Я тоже, брат, ей послужил. Шесть месяцев. После прериаля. Не понимаешь? Сидел в тюрьме в Плесси вместе со всеми патриотами. Верная служба, хоть и без чинов! Хороша Республика — нечего сказать! Честные люди голодают, а б.... купаются в золоте. Только подумать, за что мы кровь проливали!..

Дружба поднимает дух, вино также. Гризель не спорит с Мюнье. Он плохо разбирается в политике; на всякий случай он ругает Директорию; это верный ход: ее ведь теперь все ругают.

— Пять болтунов!..

«Женевская кофейная», как десятки других, — место встречи патриотов. Здесь все знают Мюнье, все чокаются с ним: «за хорошую переделку». Гризель, конечно, тоже пьет. Пусть стынет суп тетушки! К чорту! Нельзя покутить с красотками в шикарном кабаке? Что же, он будет дуть дешевое вино здесь, с этими мастеровыми, — благо, что платит Мюнье.

Офицера угощают яблочной водкой и кофе. Он пользуется успехом, как хорошенькая женщина. Особенно ласков с ним некто Монье, мастер-поясник. Этот Монье все время говорит:

— Скоро армия придет к нам на помощь. Не правда ли, гражданин?

Гризель опрокидывает рюмочку.

— Разумеется.

Когда он выходит из кофейной, все путается: тетушка и патриоты, Монье и Мюнье. Что за напасть! Он, кажется, перехватил. Добравшись до дому, он тотчас же засыпает. На следующий день с трудом вспоминает он шумный вечер. Он морщится: мастеровые!.. Он ведь теперь не портной, а как-никак капитан.

Не следует, однако, думать, что Гризель привередник. Когда через несколько дней его новый знакомый, гражданин Монье, говорит при встрече: «Идем ко мне обедать», он колеблется только из приличия. Куда ему итти? К той же проклятой тетушке?

Монье ведет Гризеля к себе, знакомит с женой. Это люди бедные, но гостеприимные. На столе жареная колбаса и вино. Монье говорит Гризелем, как патриот с патриотом:

— Готовы ли солдаты поддержать нас?

— Готовы.

В душе Гризель смущен: и чего им это приспичило?.. Лучше поговорить бы о девочках... Он ведь не может здесь блеснуть никакой оригинальной мыслью. Он даже плохо понимает, о чем говорит Монье.

— Как? Ты не читаешь газету Бабефа? Стыдно, патриот!

Гризель оправдывается: служба, собачья служба! Начальство бездельничает, а у Гризеля ни минуты свободного времени... Монье показывает ему последний номер «Трибуна»: вот обращение к армии.

— Здорово?..

Гризеля кинуло в жар, когда он прочел: «Убить пять королей». Где он?.. Игра становилась опасной. Но что же ему было делать? Спорить? Монье куда сильней Гризеля. Еще чего доброго изобьет. И Гризель усердно поддакивал. Обрадовавшись, что есть перед кем поговорить, Монье не умолкал:

— Кто закрыл «Пантеон»? Кто подменил конституцию? Кто в тюрьмах Марселя задушил сотни патриотов? Всё они! Но скоро мы с ними рассчитаемся!..

Гризель с тревогой спрашивает:

— Как?

— Да как — очень просто. Как с Капетом. Все уж готово. Теперь только комитет скажет: «Пли!» — сейчас же все шагом марш. Понял?

Гризель грешил не только трусливостью, он был на редкость любопытен.

— А кто в этом комитете?

Монье расхохотался:

— Ну, и спросил! Этого, брат, и я не знаю. Этого никто не знает — ни Карно, ни патриоты, ни сыщики. На то он «тайный». Но, если ты хочешь познакомиться с настоящими патриотами, я тебя отведу в «Китайские бани».

Монье позвал своего соседа — шапочника Гово. Втроем они вышли на улицу. Гризель попробовал распрощаться:

— В другой раз. Служба...

Патриоты звали: «Брось! идем!»... Гризель колебался: конечно, интересно поглядеть... Но еще чего доброго залезешь в какую-нибудь историю... Так и в тюрьму легко попасть — сидел же тот болван Мюнье...

Любопытство, однако, победило. Монье и Гово представили Гризеля, как испытанного патриота. Гризель только улыбался и кивал голо-

вой: он был растерян. До этого дня он всегда сторонился революции. Он не бывал ни в клубах, ни на собраниях. Лица завсегдатаев этой кофейной испугали его решимостью. Как всегда, Софи Лапьер исполняла патриотические куплеты. Услышав «Погиб великий «Неподкупный», за революцию погиб, за нас...», Гризель невольно оглянулся: полно, не спит ли он? Здесь открыто восхваляют Робеспьера, как будто на дворе 93-й. Он даже подумал: улизнуть бы!.. Однако комплименты патриотов, обступивших офицера, удерживали Гризеля. Честолюбец охорашивался: ага! наконец-то, меня оценили. Один из патриотов, пошептавшись с Монье, сказал Гризелю:

— Хорошо, что ты пришел сюда. Нам нужно наладить связь с лагерями. Ты нам, наверное, можешь помочь.

Это был друг Бабефа — Дартэ. Гризель не знал, кто с ним говорит, но ответил самодовольно:

— Что же, если вы во мне нуждаетесь, я, конечно, могу...

Дартэ показывает Гризелю воззвание Бабефа к армии. Гризель, осмелев, критикует:

— С этим вы далеко не пойдете. Разве это язык для солдат? Это — философия, а солдату нужно загнуть такое, чтоб он расчихался... Твой Бабеф, может быть, и умный человек, но видно, что он не нюхал казармы.

Дартэ испытующе оглядывает этого бойкого капитана. В душе он с ним согласен. Не раз он доказывал Бабефу, что для революции крепкие словечки куда полезней всяких Руссо.

— А ты бы взялся написать что-нибудь подходящее?

— Я ведь военный. У меня нет денег, чтобы печатать такие штуки.

— Ну, об этом не беспокойся. Мы напечатаем. Ты только составь. Ты ведь, наверное, здорово пишешь.

Гризель не в силах устоять против лести: хорошо, завтра, самое позднее послезавтра, воззвание будет готово.

Вернувшись в училище, Гризель начал снова колебаться. Разумней всего бросить это дело. Что б они там ни говорили, а вряд ли их сторона возьмет верх. Они вот думают, что солдаты с ними. На самом деле солдаты играют в карты, пьют вино, спят с девками и плюют на всю революцию. Конечно, будь это года на три раньше, Гризель бы сразу пошел с ними. Тогда всем правили такие сумасброды. Но тогда его никто и не звал. А теперь — дудки... Может быть, доложить начальнику? Только какая ему будет польза? Наверное, полиция сама знает, что в этих «Китайских банях» собираются анархисты. Снова тихая служба, долги, тетушка? Скучно! Здесь по крайней мере — слава. Что же делать?..

Долго Гризель думал, наконец, решил он посоветоваться со своим товарищем Монтионом.

— Может быть, войти в их доверие и потом раскрыть весь заговор? За это, наверное, здорово платят. Вот бы покутили!..

Монтион был человеком осторожным.

— Делай, как знаешь. Я могу тебе обещать одно: если что выйдет, я за тебя вступлюсь. Ты, мол, сразу мне обо все рассказал, а с ними связался, только чтобы выследить.

Это несколько успокоило Гризеля. Потом он все же не был уверен, что Директория сильнее заговорщиков. Вдруг победят патриоты? Тогда его сразу произведут в генералы. Бери выше: главнокомандующий. А если выяснится, что у них одни разговоры, тогда Гризель донесет куда надо, и Монтион его поддержит.

Гризель развеселился. Он достал лист бумаги и писал всю ночь напролет. К утру воззвание было готово. Дартэ пришел в восторг: «Молодчина». Слог у Гризеля был, действительно, забористый: что ни строка, то словечко. Идеи оказались тоже подходящими: солдат разговаривал с Террором: — «как при тебе хорошо было»... Кроме ругани Гризель блистал пафосом: «тигры с золоченой шерстью, они терзают наших жен и детей» или «пять львов, расфуфыренные, как мулы, они в пять раз наглее Капета».

Воззвание было напечатано и вручено Гризелю для распространения. Запершись у себя, Гризель тотчас же сжег все листочки. Однако он продолжал встречаться с Дартэ и с Жерменом. Он еще колебался: чья возьмет? Он выжидал. Однажды Дартэ вручил ему запечатанный пакет.

У Гризеля трясутся руки. Он вскрывает. Печать: ватерпас. Наверху листа: «Всеобщее благоденствие». Жорж Гризель читает приказ о назначении его представителем «Тайной директории» в лагере Гренель.

Он предпочел бы, конечно, прочесть приказ о назначении его командующим полубригадой. Но делать нечего — игра продолжается. Он исполняет свои обязанности представителя. Он пишет доклады «Тайной директории», изобилующие мудрыми советами: надо подкапываться под генералов, а младших офицеров щадить. Всячески содействовать нарушению дисциплины. Говорить побольше о грабеже: грабить богатых — это святое дело. Разговоров о равенстве солдаты не понимают, так что об этом лучше вовсе не распространяться. Главное — подготовка к решительному дню. Надо накануне восстания устроить балы в окрестных кабачках и напоить всех солдат. Это много важнее манифестов.

Хоть Тайная директория и одобрила предложения Гризеля, он недоволен: снова Бабеф! снова доктрина! снова какое-то «общество равных»! Нет, он явно прогадал. Это болтуны и только. Можно поднять народ, говоря ему: «Грабь». Это ведь всем приятно. Но при чем тут равенство? Пусть каждый грабит, как может: дело таланта. Нельзя сравнивать блестящего Гризеля с тупицей Монтионом, хоть оба в тех же чинах. Этот Бабеф, видно, считает птиц в небе. Гризелю нечего делать с подобными простофилями.

И Гризель исчез. Напрасно «равные» поджидали его в «Китайских банях». Дартэ отчаялся. Как раз теперь Гризель особенно нужен. День восстания близится. «Тайная директория» назначила совещание с военными представителями, чтобы разобрать план действия. И вот Гризеля нет.

Неизвестный человек пришел в Военное училище:

— Я родственник Гризеля. Мне необходимо с ним срочно поговорить.

Гризеля никак не оставляют в покое: видно, судьба хочет, чтоб он стал героем. Записка «Твои братья тебя ждут. Д.». Посланец приглашает офицера немедленно следовать за ним. Они идут сначала к Дидье. Тот говорит: «Я проведу тебя». Гризеля даже дрожь берет: «Куда?». Молчание. Улица Сан-Онорэ. Дальше. Церковь Сан-Эсташ. Завертывают. Что это за уличка? Кажется, Гранд-Трюандери. Здесь. Они подымаются. Третий этаж. Длинный коридор.

В комнате людно. Дартэ и Жермен. Они радостно встречают Гризеля: наконец-то! Они боялись уж, не засыпался ли он. Они обнимают капитана. Тот растерянно оглядывается: кто здесь? Тогда к нему подходит изможденный человек с горящими глазами и порывисто его обнимает:

— Здравствуй, друг!

Это Гракх Бабеф. Чтобы доказать свою преданность заговорщикам, Гризель в ответ поспешно целует Бабефа. Но он больше не колеблется. Он уже знает, что̀ ему делать. Этот человек — вождь? Дураки! Разве он умеет красиво говорить, ругаться, потрясать кулаками, величественно скрещивать на груди руки? Это не «трибун народа». Это девчонка...

На собрании, кроме членов Тайной директории, присутствовали «военные представители»: бывшие генералы Фион и Россиньоль, а также гражданин Массар.

Бабеф изложил план восстания: во главе идут — «генералы». Их легко различить по большим трехцветным лентам вокруг шляп. Набат. Трубы. Плакаты с лозунгами: «Равенство», «Конституция 93-го или смерть», «Всеобщее благоденствие». Народ захватывает казначейство, военные склады, запасы оружия, провиант. Члены правительства подлежат суду на месте. Женщины будут уговаривать солдат не стрелять в рабочих. Патриоты братаются с солдатами. За грабежи — смерть. Хлеб в булочных реквизируется. Объявляется власть революционного комитета.

Гризель слушал очень внимательно, боясь пропустить слово. Он обдумывал свой план. Но все время его пугала мысль: что̀ если он покажется Бабефу недостаточно ревностным патриотом?..

— Я предлагаю за час до восстания поджечь дворцы в окрестностях Парижа: Бельвю, Трианон, Медон и другие. Правительство, конечно, пошлет войска, чтобы бороться с пожарами, а мы тем временем захватим Люксембург.

Дартэ кричит: «Браво!». Но генерал Фион высказывается против: во дворцах много ценного имущества. Бабеф поддерживает Фиона:

— Поджоги были бы преступлением против народа.

Гризель больше не удивляется: он ведь сразу понял, что прославленный Бабеф — разиня и простак. Заговорщики расходятся. Гризель хочет запомнить дом, он, однако, боится, как бы другие не подумали: зачем это он остановился... Кажется, номер двадцать семь. На беду стем-

нело, и не видно ни вывесок, ни номеров. Капитана Гризеля теперь мало занимают трехцветные ленты на шляпах или конституция 93-го. У него в голове одно: какой это номер?..

Четыре дня спустя гражданин Карно получил таинственную записку. Некто Гарманд испрашивал у директора тайной аудиенции: речь идет о спасении Республики. Карно тотчас же ответил. Он приглашал гражданина Гарманда явиться лично к нему в десять часов вечера. В указанный час в большую приемную Люксембургского дворца вошел тщедушный офицерик, недоверчиво озираясь и одновременно прихорашиваясь.

Гризель начал так:

— Гражданин Карно, в моих руках — заговор «равных»...

Два труса.

Недели за три до знакомства Карно с Гризелем Люксембургский дворец увидел в своих стенах другого заговорщика. Это не был предатель, Жермен глядел на пышные фраки швейцаров с насмешкой. Особенно забавляли его большие розаны на чулках. Но как же член «Тайной директории» очутился в Люксембурге?..

Директоры, разумеется, знали о деятельности «равных». Об этом знал весь Париж. Министр полиции, гражданин Кошон, что ни день, представлял тревожные сводки: анархисты готовятся... Кошон дружил с Карно: оба они стояли за крутые меры. Кроме покровительства Карно политические принципы министра полиции определялись и его уверенностью в конечной победе роялистов. В свое время член Конвента, гражданин Кошон, голосовал за казнь Людовика. Теперь он старался всячески искупить былые грехи. Роялисты обещали ему забвение, если он поведет борьбу против патриотов. Кошон настаивал: Разгромить! Большинство Директории его поддерживало. Только виконт Баррас оставался при особом мнении. Он не верил ни Карно, ни Кошону, ни всем полицейским агентам. Он боялся Парижа. Париж не может стоять за Директорию — это ясно. Значит, Париж за Бабефа.

Внутри Директории началась ожесточенная борьба. Барраса поддерживал только беспечный Рейбель. Кошон подливал масло в огонь: его донесения неизменно говорили о нападках заговорщиков на Карно. Следовательно, Барраса они щадят. И Баррас горделиво улыбался: он хитрее Карно, у него друзья повсюду. Он ведет переговоры с роялистами. Он связан и со сторонниками герцога Орлеанского. Все генералы верны ему, Баррасу,— и Бонапарт, и Гош, и Журдан. Даже эти анархисты кричат: «Смерть Карно», но они молчат о Баррасе. Вот что значит быть мудрым политиком!

Выслушав доклад Кошона, Баррас тотчас же переводит разговор на иные темы: о победах в Италии или даже о госпоже Сталь — «что за мужланка»!.. Карно кричит. Леревильер ехидно намекает на ветреность

Барраса: нельзя же кокетничать со всеми на свете! Но ничего не помогает. Баррас оттягивает развязку. Что сулит ему победа правительства? Усиление Карно. Он предпочитает ждать.

Наконец, до него дошли слухи о том, что к заговору примкнул герой Варенн, депутат Друэ. Здесь Баррас окончательно растерялся. Ну, если Друэ с Бабефом, значит, не сегодня-завтра придется выезжать из Люксембурга! О находчивости и отваге Друэ ходили легенды. Он был скромным станционным смотрителем, когда, заподозрив каких-то путешественников, он прискакал из Сан-Менегульда в Варенн и там задержал коронованных беженцев. Эта ночь сделала Друэ знаменитым. В Конвенте он стал, разумеется, монтаньяром. Он попал в плен к австрийцам при падении Мобежа. Его допрашивал Меттерних. Друэ не преминул ошеломить графа несколькими словечками, взятыми из обихода якобинских клубов. Пленника посадили в крепость Шпильберг. Он не стал ждать революции в Австрии. Смастерив подобие парашюта, он выпрыгнул из окна каземата. Он разбил ногу. Когда его принесли в камеру, он был при смерти. Но он выжил — он был на редкость здоров, силен, даже массивен. В Шпильберге он просидел больше года. Освободили его не парашют и не австрийские санкюлоты, но высокая дипломатия: после длительных переговоров пленные были выменяны на дочь Людовика XVI, которая после смерти родителей и брата продолжала находиться под стражей. Париж встретил Друэ, как героя. Чествование сменялось чествованием. Но Друэ все же остался недоволен Парижем. Пока он воевал и сидел в крепости, все переменилось. Он оставил Париж санкюлотов, он вернулся в Париж Терезы Тальен. Его чествовали, но ходу ему не давали. Он волочил по улицам Парижа больную ногу и досаду: стоило прыгать из окошка!..

Когда Баррасу сказали, что Друэ с Бабефом, Баррас тотчас же отправил своего личного секретаря за одним из «равных», за молодым Жерменом: надо, пока не поздно, сговориться. Жермена везли в закрытой карете. Осторожно провели его в комнату Барраса. Поставить открыто на Бабефа виконт все же не решался, он хотел скрыть от Карно свидание с заговорщиком.

Беседа длилась около часа, верней это была не беседа, но монолог Барраса. Жермен молчал или отделывался ничего не значащими словечками: «может быть», «не знаю», «вам виднее».

— Я слышал, что вы хотите свергнуть Директорию. Это ошибка. Посуди, как могут патриоты итти против меня? Я сам понимаю, что наша Директория далеко не идеал. Не за это мы боролись. Стоило ли свергать Капета, чтобы пять лет спустя увидеть, как эмигранты мстят патриотам?.. Все это так. Я первый негодую. Мы не враги, Жермен, мы товарищи. Наша задача — разбить роялистов, явных и тайных. Я окружен врагами... Ты понимаешь?.. Мы должны согласовать все действия. Когда настанет час, я выйду к народу. Мое место не здесь, не в Люксембурге, а среди рабочих Сан-Антуана...

Долго еще говорил виконт о своей преданности идее равенства. Тереза, которая ждала его в соседнем будуаре, злилась. Наконец, Жермен встал — он торопится. Баррас дал ему на прощание постоянный пропуск в Люксембургский дворец.

— Обо всем советуйтесь со мной.

В тот же вечер Жермен сообщил «Тайной директории» о встрече с Баррасом. Бабеф одобрил назначение Гризеля военным представителем — ведь он не знал Гризеля. Барраса он знал хорошо. Он брезгливо поморщился.

— Предатель! Он сверг Робеспьера. Он выдал героев прериаля. Низкий позер, он смеет говорить о равенстве после этой Терезы, после поставок Уврара, после балов в Люксембурге. Если б мы могли даже победить с его помощью, я предпочел бы поражение...

Все согласились. Баррас так и не получил от Жермена никакого ответа. Начались недели, полные тревоги: что если они не только против Карно, но и против Барраса?..

Два человека накануне решительного боя метались среди ночи от страха, не зная, в какую же сторону им кинуться: капитан 38-й полубригады Жорж Гризель и гражданин-директор Поль Баррас.

Гризель, еще недавно ничего не смысливший в политике, теперь хорошо знал, кто такой Друэ, с кем водится Кошон, каковы симпатии того или иного директора. Он обратился к Карно: он бил без промаха.

Выслушав подробный рассказ предателя, который начинался с того, как он, Гризель, шел к тетушке, а заканчивался поджогами дворцов, Карно умилился. Не гнушаясь, пожал он руку Гризелю: «Браво, капитан!». Он приказал ему, оставаясь с заговорщиками, выследить место, где собирается «Тайная директория», чтобы накрыть всех преступников сразу. Карно, этот бледнозеленый человек с маленькими выцветшими глазами, лысый, рябой, угрюмый, сиял. Теперь он не только истребит полоумную банду, он приберет к рукам Барраса! Гризель знал о переговорах директора с заговорщиками, и он, разумеется, не утаил от Карно этой детали, столь существенной для обоих: Карно было куда важнее скомпрометировать Барраса, нежели арестовать Бабефа, а Гризель не мало ночей провел над мыслями о странном поведении виконта — Гризель боялся, что Баррас сильнее Карно....

Карно решил устроить заседание Директории без Барраса. Это нетрудно: виконт только и смотрит, как бы улизнуть. Он прежде всего ленив, и заседания его утомляют, особенно весной, когда такая хорошая погода. Лучше бы поехать в Ренси на охоту или с Терезой в Сан-Клу: цветы, птицы, любовь. Баррас ведь ничем не хуже других, он тоже любит Грецию, простую жизнь, парное молоко (последнее только в стихах). Стоит ему сказать: «Сегодня мелкие дела», и он тотчас же, блаженно улыбаясь, сошлется на головную боль, откланяется.

На заседании четырех директоров было решено поблагодарить Гризеля за гражданские чувства и, пользуясь его указаниями, арестовать

заговорщиков, в том числе депутата «Совета пятиста» Друэ. Летурнер, как всегда, не давал никому говорить, рыча:

— Пусть депутат!.. Какая тут беда?.. На гильотину!..

Карно понимал, что арестовать Друэ, а тем паче судить его, отнюдь не легко. Он умерял пыл Летурнера.

— Это мы потом посмотрим... Главное заполучить компрометирующие заговорщиков документы. Не то их снова выгородят... У них ведь имеются высокие покровители...

Все замолкли. Рейбель попытался снаивничать:

— Неужели? Где же? В «Совете пятиста»?..

Леревильер рассмеялся. Смеялся он неприятно: пискливо.

— Нет. Здесь. По соседству.

Имени Барраса никто не произнес. Говорили о том, можно ли довериться Гризелю, как организовать аресты, надо ли поставить на ноги армию. Совместно с Кошоном был разработан план действий. Оставалось ждать, пока Гризель укажет адрес.

Гризель пришел на следующий день. Он выслушал поздравления четверки. Он даже обедал у Карно. Это не тетушка! Его голова кружилась не только от директорского вина — где он?.. В Люксембурге! Детские мечты, наконец-то, начинают сбываться. Какие канделябры! Какой хрусталь! С ним запросто беседует председатель Директории. Значит, он понят. Завтра его назначат генералом. Не одному же Буонапарте везет... Гризель льстил Карно: «Без вас бы Республика погибла», блаженно улыбался: «Обязательно назначат», успокаивал директора: «Завтра я беспременно разузнаю адрес»...

Однако стоило ему выйти из аппартаментов Карно, как страх сменил недавние восторги. На лестнице он увидел блеск сабли — он чуть было не лишился чувств. Его во-время поддержал швейцар. Вдруг это Баррас?.. Гризеля преследовала одна мысль: Баррас за ним охотится, Баррас его убьет. Он уже раскаивался во всем: и в том, что пошел к Бабефу, и в том, что пошел к Карно. Все-таки обеды у тетушки были куда спокойнее. Этот трусливый человек, плохо понимая, что он делает, попал в самую гущу очередной революционной свалки: Карно валил Барраса. Мало ему страха перед заговорщиками, он должен бояться и Директории. Ну, положение!..

И Гризель исчез. Напрасно ждал его Карно, как ждал его прежде Дартэ. Карно уж начал сомневаться: не надул ли его Гризель? Может быть, он снова перешел на сторону заговорщиков?..

Что касается Гризеля, то после обеда Карно он осилил и обед Дартэ. Он всячески старался показаться рьяным.

— Главное, устроить танцы во всех кабачках и выставить солдатам вино. У «Тайной директории», наверное, нет денег. Но я все надумал. У моего брата в Аббевиле лежат мои деньги, тридцать пять тысяч; я их уже выписал. Дальше... Я тебе не говорил о моем кузене? Это Поприкур, он нотариус, здесь в Париже. Он дьявольски богат; понятно, роялист.

Так вот он много раз предлагал мне деньги на обмундирование: «Нельзя так ходить. Ты похож на санкюлота, а не на капитана». Я, конечно, отказывался. Но теперь я возьму у него тысяч десять, якобы на одежду. Вот уже сорок пять — можно напоить целый эскадрон. Словом, за Гренельский лагерь я отвечаю.

Наконец-то, Дартэ ему сказал:

— Сегодня вечером приходи на решительное собрание. Мы выступим через три дня. Надо обсудить детали. Приходи часам к восьми. Это на улице Сан-Онорэ, номер девяностый, над парфюмерной лавкой.

Гризель робко спрашивает, боясь, что Дартэ его заподозрит:

— А я найду?.. Ведь я не знаю, у кого это.

— Найдешь. Это квартира Друэ.

Гризель уж сам не рад, что спросил. Все время он мечтал, как бы разнюхать, где собираются заговорщики. Теперь в его руках адрес. Удача? Да, но у Друэ!.. Друэ — значит Баррас. Баррас уже все знает. Баррас его убьет.

Карно, наконец-то, увидел Гризеля. Капитан еле стоял на ногах.

— Что с вами? Больны?

— Нет, гражданин-директор, я только утомлен. Все время я на ногах. Я выполняю мой долг. У депутата Друэ... Сегодня вечером. Вы должны нагрянуть... Я там тоже буду...

Рейбель успел предупредить Барраса о доносе Гризеля. «Друг патриотов», конечно, не торопился в Сан-Антуан, чтобы вместе с работниками спасать революцию. Нет, он быстро взвесил все. Карно его перехитрил. Хоть с Бабефом — Друэ, но с Друэ — Гризель. Партия заговорщиков проиграна. Надо спасать себя. Наверное, этот Гризель знает о посещении Жермена...

На первом же заседании Директории, не дожидаясь выступления Карно, Баррас, весь багровый от злобы и от страха, начал сразу кричать:

— Я знаю все!.. Я сам против анархистов... Кто закрыл «Пантеон»? Я окружен интригами. Что же, я готов принять вызов. Я выступлю перед Законодательным собранием. Мне нечего скрывать. Я всегда действую прямо и открыто...

Долго он оправдывался, клялся в верности своим сотоварищам, грозил расколом, уходом, скандалом. Его поддержал, разумеется, Рейбель. Летурнер попробовал было предложить расследование, но даже Карно стоял за соглашение. И без раскола Директории предстоят тяжелые часы. Кто знает, как встретит Париж арест Бабефа? Надо убедить депутатов выдать Друэ. Барраса обвиняют в попустительстве якобинцам. Что же, пусть он арестовывает своих тайных друзей. Это и надежнее, и умнее. Пусть от Барраса отшатнутся все. Тогда он, Карно, наведет порядок.

И Карно начал успокаивать Барраса: к чему столько горьких слов? Здесь все ему верят, все его уважают. (Леревильер проглотил смешок.)

Но Баррас не мог успокоиться. Вдруг выяснится, что он предлагал генералу Россиньолю военную помощь, или что он выдал Жермену пропуск во дворец? Нервничая, Баррас то-и-дело смотрел на часы: скоро девять! Сейчас их схватят... Что-то будет?..

А Гризель шел по улице Сан-Онорэ. Он каждую минуту оглядывался: ему казалось, что за ним гонится гражданин Баррас.

Ложная тревога.

«Равные» узнали, что монтаньяры, опальные депутаты, термидорианцы, разочаровавшиеся в термидоре, тоже готовятся к восстанию. У них был общий враг — Директория, но различные цели. Монтаньяры стояли за созыв старого Конвента, за борьбу против роялистов, за террор, за возврат к законам, к навыкам, к песням 93-го года. Идеи Бабефа казались им бредом: ведь даже в санкюлотской конституции 93-го право собственности объявлялось «священным». Это были не философы и не реформаторы, но только завсегдатаи якобинских клубов, оказавшиеся без дела. Во главе их стоял Друэ. Он не признавал двух лет, проведенных в каземате. За ним шли: Жавог, Гуге, Рикор, генерал Россиньоль и другие: слишком честные, чтобы понять, как это якобинец Карно арестовывает санкюлотов, или же слишком честолюбивые, чтобы спокойно уступить свое место другим, вернуться снова к мелочной торговле и к нотариальным папкам.

Бабеф и его друзья относились к монтаньярам подозрительно: это не подлинные демократы! «Равные» чтили память Робеспьера. Среди бывших депутатов не было, кажется, ни одного, кто бы после термидора не поносил «павшего тирана». Однако в политике чувствам нет простора: «равные» начали переговоры с монтаньярами.

У Друэ или у Рикара не было никакой идеологии, перед рассуждениями Бабефа они пасовали. Они только твердо верили, что никогда французский крестьянин не отдаст своей земли в общее пользование. Против проектов Бабефа трудно спорить: они логичны и справедливы. Но пусть он попробует сказать Полю или Пьеру, что его огород принадлежит коммуне!.. Монтаньяры спокойно выслушивали декларации «равных»: забавляются!.. Их занимало другое: кто войдет в новое правительство? «Равные» требовали власти бедняков, землепашцев, работников, ремесленников. Здесь-то монтаньяры не сдавались. Они хотели власти для себя. У них был только один лозунг: «Да здравствует распущенный Конвент!»

Бабеф негодовал:

— Мы не можем уступить. Стоит ли столько бороться, чтобы Францией снова правил тот Конвент, который Робеспьером справедливо назван «Сборищем убийц». Нет, эти люди уже отведали власти, хлебнули из чаши — они отравлены! Нужны воистину новые силы, санкюлоты, не политики — народ.

«Равным» пришлось все же пойти на уступки. На совместном с монтаньярами совещании было решено восстановить Конвент, пополнив его испытанными санкюлотами, по одному от каждого департамента.

У Друэ было назначено последнее, решительное заседание. Массар представил план восстания, одобренный «Тайной директорией». Баррикады — в квартале Сан-Антуана. Если правительство вызовет солдат из Венсенских казарм, они здесь будут остановлены. В Люксембурге имеются подземные ходы — надо следить, чтобы директоры не удрали. Захват Монмартрского холма: в случае сопротивления оттуда можно обстреливать аристократов, в случае неудачи — там сборный пункт. Из лодок — пловучий мост, он свяжет Сан-Антуан с Сан-Марсо. Впереди — женщины и дети, чтобы солдаты не стреляли.

Какой выбрать день? Увы, многие патриоты преданы старым обычаям: они празднуют воскресенье. Лучше всего, чтобы воскресенье совпало с декади: все тогда на улицах.

Заговорщики подсчитали свои силы: революционеров — 4 000, членов прежних комитетов, трибуналов, комиссариатов — 1 500, пушкарей — 1 000, разжалованных офицеров — 1 000, революционеров из провинции, которые находятся временно в Париже, — 1 000, гренадеров «Совета пятиста» — 1 500, арестованных солдат — 500, полицейский легион — 6 000, инвалидов — 1 000, а всего 17 000 душ. Эта цифра развеселила — семнадцать тысяч! К тому же Гризель поспешно вставил:

— Прибавьте весь Гренельский лагерь. Я там хорошенько поработал: солдаты и офицеры, все за нас.

Повстанческую армию разделили на три дивизии. Задача — прорваться к двум лагерям: Венсен и Гренель. Там присоединяются 8 000. Если счастье повернется против, — строить повсюду баррикады, обливать усмирителей кипятком и серной кислотой, забрасывать их камнями. Добавили: «Приготовить камни».

Вдруг цокот под окном. Солдаты. Массар кидается к окну, он пробует приподнять тяжелую штору. Друэ его удерживает: заметят. Минута долго длится. Наконец, хозяин, который прошел в соседнюю комнату, где темно, кричит: «Уехали». Ложная тревога — это был обыкновенный патруль. Все смеются, шутят. Все, кроме Гризеля, — для него тревога не миновала, она только начинается: почему же не приходит полиция? Неужели Баррас победил?

Собрание теперь обсуждает, как обеспечить продовольствие Парижа после победы. Гризель томится: половина десятого, десять — никого! Вот уже заговорщики встают, прощаются: скоро одиннадцать, а после одиннадцати патрули останавливают прохожих. У Бабефа вовсе нет паспорта. Дартэ дает ему какой-то документ. Друэ предлагает:

— Оставайтесь, разопьем бутылку бургундского...

Но заговорщики отказываются: не до вина. Остался один Дартэ — ему нужно было еще потолковать с Друэ о том, какими силами располагают монтаньяры. Гризель вышел со всеми. Быстро распрощавшись,

он понесся в Люксембург. Что случилось?.. Карно смотрит, ничего не понимая:

— Вы же сказали в одиннадцать...

— Я? Я сказал вам в девять.

— Сейчас, наверное, Кошон уже там.

— Но ведь он никого не застанет. Отмените!.. После налета они станут вдвое подозрительней... Скорее, гражданин-директор!..

Карно шлет вестового с пакетом, вестовой пришпоривает лошадь.

Поздно! Гражданин Кошон уже входит в дом, где живет Друэ. Вся Вандомская площадь запружена кавалеристами. Соседи смотрят: что за военный смотр? Неприятель? Роялисты? Бунт?

Гражданин Кошон врывается, готовый командовать, стрелять, рубить. Он видит депутата Друэ, который сидит в ночных туфлях и мирно распивает бургундское с каким-то земляком. Друэ встает. Он грохочет от негодования:

— Австрийцы и те были вежливей! Врываться ночью в дом запрещено даже вашей конституцией. Притом, может быть, вы забыли, гражданин Кошон, что я депутат?

Кошону ничего не остается, как выдумать преглупую историю и, попросив прощения, удалиться со всеми пехотинцами, кавалеристами, с боевым задором и с приказом Директории за пазухой.

Карно и Гризель обвиняют друг друга. Председатель Директории и маленький офицерик, они теперь забыли о различии рангов. Оба кричат: «Я не говорил», «Нет, вы сказали», «Девять», «Одиннадцать»...

Бабеф усталый заснул. Под утро его будит Дартэ:

— К Друэ пришли... Нам повезло. Только-только разошлись... Уж не измена ли?..

— Кто не был?.. Жермен? Да, но Жермена я знаю. Жермен не может предать. Это, наверное, случай. Вы сговорились о дне?.. Хорошо, что ты меня разбудил. Я сплю уже три часа, а мне надо работать. Время не терпит. Я должен закончить экономический декрет: система распределения рабочих рук... Пусть все будет готово к часу победы.

— А если мы преданы? Если нас схватят до назначенного дня?

— Ты устал, Дартэ. Ты несешь вздор. Мы должны победить, и мы победим.

Париж молчит.

Увидев Дартэ, Гризель замер: вдруг кинется, крикнет: «Это ты!», убьет? Но Дартэ дружески поздоровался и позвал Гризеля в кофейную: там они пили кофе и обсуждали, как бы переманить на сторону заговорщиков всех гренельских солдат. Дартэ позвал Гризеля на заседание.

— Я думаю днем безопасней. Вечером повсюду патрули. Так что завтра мы соберемся в полдень. Я достал чудесное помещение: за Друэ, видно, следят. Это на улице Папильон.

Гризель выдерживает должную паузу; скрывая зевком волнение, он спрашивает:

— У кого? То есть где — какой номер?

Дартэ уже наделал не мало оплошностей: он ввел Гризеля в заговор, он назначил его военным представителем, наконец, он показал ему квартиру, где скрывается Бабеф, но сейчас что-то его удерживает. С досадой он говорит:

— Зачем тебе знать все заранее? Приходи ко мне в одиннадцать — я буду дома. Вместе и пойдем.

Гризель, конечно, не настаивает. Дело дрянь! Хоть бы распознать дом Бабефа! Он отправляется на улицу Гранд-Трюандери. Тщетно старается он вспомнить, куда его вел Дидье. Кажется, вот здесь... Нет, там были большие ворота. Здесь? Может быть. А может быть и здесь... Чорт побери, все дома похожи один на другой! К тому же тогда было темно... Гризель морщит лоб и меланхолично вздыхает. Вдруг — Дидье:

— Ты как сюда попал?..

Гризель бледнеет: попался! Он лепечет:

— Здесь сапожник... Он шьет мне сапоги...

Голос срывается. Так может говорить только преступник, пойманный с поличным. Сейчас Дидье его схватит. Но, нет, Дидье далек от подозрений.

— Ты что хрипишь?.. Трудно наставлять солдат?.. То-то!.. Ну-ка зайдем в этот кабачек, — я тебя угощу стаканчиком. Это для горла полезно.

Еще раз спасен! С восторгом Гризель пьет — «за победу». Остаток дня он блуждает по городу в надежде разнюхать два номера: на улице Папильон и на улице Гранд-Трюандери. Но откуда получит он эти номера?.. Гризель зря старается.

А в Люксембурге — волнение. Весь вечер граждане-директоры с тревогой прислушиваются к шагам: идет? не идет? Их судьба теперь в руках какого-то подозрительного капитана. Опасность всех примирила: Карно больше не ссорится с Баррасом. Директоры пытаются развлечься политическими новостями.

— Делакруа сказал, что Россия стягивает войска к границам Финляндии. Швеция этим весьма обеспокоена. Там возможна война.

— Что же, это нам на руку. Пускай дерутся друг с другом. Екатерина нас к тому же не очень-то жалует.

— Говорят, что наследник, этот Поль Петрович, чуть ли не якобинец. Во всяком случае он был во Франции инкогнито и нам симпатизирует.

— А как в Италии?

— Сардинский король согласен уступить Тортону. Бонапарт ничего, работает...

— Но что же его нет? Уж одиннадцатый...

— Может быть, они его убили?..

— Или еще проще: он водил нас за нос, чтобы облегчить их работу.

— Мрачно!

Гризель пришел после одиннадцати, и пришел он с пустыми руками: улицы без номеров. Однако он на что-то надеялся:

— Завтра к десяти часам будьте готовы. Расставьте повсюду полицейских, разумеется, в штатском. Заговорщиков накрыть нетрудно. Но этого мало. Бабеф, наверное, туда не придет. Так мне сказал Дартэ. Потом на собрании — никаких бумаг. А у Бабефа — кипы, я сам видел. У него не комната — канцелярия. Необходимо узнать номер Бабефа.

Гризель легко переходил от раболепства к наглости. Теперь он чувствовал, что эти люди зависят от него. Он старался гордой осанкой искупить свой чрезмерно малый рост.

— Словом, граждане-директоры, не унывайте! Надейтесь на меня!

Всю ночь Гризель думал. К утру план был готов. Эта ночь для многих была бессонной. Бабеф составлял проект «обращения к победившему народу». Воззвание не удавалось. Он переправлял слова, шагал по комнате, снова писал. Работал и Карно. Председатель Директории, обнадеженный Гризелем, подписывал ордера на арест. Рука устала: за ночь он подписал двести сорок пять ордеров. Наверху каждого листка стояло: «Равенство — Свобода». Впрочем, этих слов гражданин Карно не читал: он давно привык к ним. С особым удовольствием он подписал листок, на котором выписано было имя личного секретаря Барраса, гражданина Луи Брута. Этот Брут не имел никакого отношения к «равным». Про него говорили, что после заседаний Директории он крадет свечи. Но Кошон причислил Брута к «бабувистам», чтобы насолить Баррасу. И Карно улыбался: пусть позлится! Он знал ведь, что перепуганный Баррас не вступится за секретаря. Баррас, кажется, даст арестовать даже свою Терезу, лишь бы обелить себя.

Утром Гризель направился к гражданке Клеркс, у которой прежде жил Бабеф. Он знал, что Клеркс передает Бабефу письма. Он набросал записку: нельзя ли устроить сегодня заседание военных представителей совместно с помощниками? Гризель боится, что последние еще сомневаются в силе организации. Он приписал: «пост-скриптум»: «Я забыл номер дома на улице Папильон, где назначено собрание». Он попросил гражданку Клеркс тотчас же отнести записку Бабефу. Проследить, куда она идет, он не решился. Он поручил это одному из агентов: «Сейчас выйдет женщина лет сорока-пятидесяти, она пойдет в сторону Галь-о-Бле. Следите за ней!».

Гризель от волнения указал Карно неверный час собрания у Друэ. Теперь он снова напутал. Он поставил полицейского возле другого дома. Тот стоял и ждал — никакой женщины не было. Наконец, ему надоело стоять, и он ушел. Увидев, что дело не удалось, Гризель решил действовать напролом. Страх придал ему храбрости. Он кинулся в квартиру Клерксов.

— Ваша жена еще не вернулась? Вот беда!.. У меня срочное дело. Я бы сам пошел к гражданину Бабефу, но я забыл номер дома. Глупая история! Столько раз я бывал там, а вот никак не могу запомнить номера! Это у меня после лихорадки память ослабла...

Клеркс его утешил:

— Я сам не знаю номера. Только вы легко найдете и без номера. Как свернуть с улицы Вердоле, это вторая дверь — между большими воротами и подъездом...

Гризель ушел. Через час он вернулся: ведь у него не было еще второго номера — на улице Папильон. Он взял у гражданки Клеркс ответ. Бабеф предлагал Гризелю никаких расширенных собраний не устраивать. Зачем посвящать столько лиц в дела комитета!.. Эта часть письма, конечно, мало интересовала Гризеля. Зато в «пост-скриптуме» Бабеф сообщал ему точный адрес гражданина Дюфура, на улице Папильон, у которого назначено заседание.

Победа! Гризель передает оба адреса генералу в штатском. Сам он спешит, не к гражданам-директорам, нет, к тетушке. Сегодня он предпочитает луковый суп всем яствам Карно. Вдруг заговорщики окажут сопротивление? Вдруг за них вступится толпа? Кто знает!.. У тетушки спокойней. Когда выяснится, чья взяла, что же, тогда он покажется на свет божий.

Арест Бабефа был возложен на главного инспектора полиции, гражданина Доссонвиля. Этот Доссонвиль известен был только тем, что за хорошую мзду тотчас же вычеркивал из списка эмигрантов любое имя и мастерски разгонял толпы безработных. Карно по указанию Гризеля нарисовал точный план квартиры, где скрывался Бабеф. Операция была тщательно обдумана. Надо арестовать «трибуна народа» незаметно: ведь улица Гранд-Трюандери находится возле главных Рынков. Это людный квартал. Бабефа там знают и любят. Его не выдадут. Карно надумал: следует через агентов пустить слухи, будто бы накрыта большая шайка воров.

Агенты принялись за работу. На Рынках, в окрестных кабачках, на улицах они стали плести самые невероятные истории: помните, ограбили вдову Люсьен? А лавочку на улице Вердоле? Вот всё эти разбойники!.. Говорят, что это иностранцы. Кажется, бельгийцы... Чорт их знает!.. Слава богу, что словили!..

Агенты поумнее произносили даже патриотические речи:

— Хоть раз хватают разбойников! Кого они всегда арестовывают? Честных людей. Патриотов. Рабочих. А воришки на свободе, проходу от них нет. Пора взяться за ум-разум!..

Отряды пехоты и кавалерии прячутся в отдалении. Как будто все готово. Но гражданин Доссонвиль мечется по городу: он ищет не пушки. Он ищет понятых. Как-никак существуют законы. Полицию должно сопровождать должностное лицо. Он бежит к гражданину Лефрансуа. Это мировой судья участка Брута.

— Я прошу вас присутствовать при аресте.

— Кого?

— Не все ли вам равно? Преступников. Анархистов. По приказу Директории.

Гражданин Лефрансуа маленький человек. Он не заговорщик. Он и не Гризель. В возмущении, он отвечает:

— Вы хотите, чтоб я способствовал аресту патриотов? Никогда! Лучше я тотчас же выйду в отставку.

Спорить некогда. Доссонвиль мчится к другому судье — участка Контра-Сосиаль.

— Арестовать патриотов? Простите. Я не могу. Я болен. У меня сердечные припадки.

Дальше! Судья квартала Бон-Консей.

— Вы обязаны меня сопровождать. Улица Гранд-Трюандери — в вашем участке.

— Ни за что! Вы можете подать на меня жалобу. Уволить. Судить. Все, что вам вздумается. Но с вами я не пойду.

Наконец, Доссонвиль нашел послушного человека. Правда, это не был судья. Это был полицейский комиссар участка Брута. С ним разговор был короток:

— Готовы?

Одиннадцать часов утра. К дому Дюфура на улице Папильон подходят заговорщики. Полицейские прячутся в соседних дворах. Бабеф и Буонаротти не пошли на собрание. Бабеф днем не выходит; его знают в лицо все полицейские. Бабеф заканчивает «обращение к победившему народу». Он ничего не слышит: Доссонвиль распорядился придержать лошадей на улице Вердоле, чтобы не дать времени заговорщикам уничтожить бумаги. Он тихо крадется по лестнице.

Звонок. Дверь открывает хозяйка квартиры, гражданка Тиссо:

— Муж дома?

— Нет. Вышел.

Доссонвиль быстро отталкивает женщину и бежит по коридору. Дверь налево. В комнате: Бабеф, Буонаротти, писец Пилле. Бабеф пишет. Увидев полицейского, он встает, в руке его еще перо. Он дописал: «Народ, ты победил!»... Доссонвиль командует:

— К окнам!.. Вы арестованы. В случае попытки сопротивляться или скрыть документы я прикажу стрелять.

Бабеф, еще полный громких слов «воззвания к народу», задумчиво говорит:

— Что же!.. значит не суждено... тираны победили...

Потом он выходит из себя. Он кричит Доссонвилю:

— Тебе не стыдно? Почему ты, как собака, повинуешься своим хозяевам?

Доссонвиль отвечает гордо — ведь он окружен подчиненными:

— Я повинуюсь законному правительству, и я прошу вас не вступать со мной в пререкания.

Бумаги собраны. Их охраняют часовые. Но как вывести арестованных? Вдруг толпа узнает Бабефа. Улица запружена народом. Все здесь боготворят Бабефа. Никто, однако, не догадывается, что он находится в этом доме, что он арестован, что сейчас его повезут вот в той карете... Сыщики кричат:

— Браво!.. Накрыли!.. Нашли уйму денег!..

Рослые полицейские окружают Бабефа, подхватывают его и быстро кидают в карету. Обошлось. Никто не узнал «трибуна народа». Буонаротти пробует что-то крикнуть, но рев полицейских тотчас же покрывает его голос:

— Воры! Бандиты! Вдову Люсьен кто прирезал?

Народ поддакивает:

— Смерть убийцам!

Под надежным эскортом арестованных везут в тюрьму Аббэ. Вскоре к тюремным воротам подъезжают и другие кареты: это — заговорщики, арестованные на улице Папильон: Друэ, Дартэ, Жермен, Дидье, Рикар. К вечеру все камеры переполнены.

Карно написал обращение «К гражданам Франции»: «Раскрыт преступный заговор. Бабеф и его приспешники мечтали о всеобщем грабеже и о неслыханных злодеяниях». Гризель расстался с тетушкой и, больше не озираясь по сторонам, походкой триумфатора направился в Люксембургский дворец.

Все граждане-директоры его поздравляют. Леревильер забыл о присущей ему обычно иронии:

— Мы не знаем, как вас наградить за ваш геройский поступок?

Гризель кокетничает. Он показывает на сердце:

— Моя награда — здесь.

Он объясняется в любви Карно:

— Я верен вам, как плющ верен дубу.

«Дуб» мигает крохотными глазками, ласково треплет он по плечу национального героя. И Гризель тает: он видит генеральский мундир, золото, преклоненные толпы, улыбки женщин, овации: он видит славу.

А Париж? Париж молчит. Как всегда, блистают сотнями огней кофейни и балы. Как всегда, бедняки говорят о хлебе, а франты — о новой моде: скоро вальс заменит все танцы, он куда приятней — кавалер прижимает даму прямо к себе... Стратегов увлекает победа Бонапарта при Лоди, политиков — вопрос о том, как отнесется «Совет пятиста» к аресту депутата Друэ. Спекулянты рады новому падению ассигнаций: луидор сегодня восемь тысяч двести, и женщины квартала Сан-Марсо разводят руками: хлеб сегодня тридцать пять франков фунт!

Но арест Бабефа?.. Враги народа схватили Гракха, вождя санкюлотов, проповедника равенства, заступника, друга, трибуна — ты слышишь, Париж?..

Париж молчит. Одни радуются, другие сжимают угрюмо кулаки: «Предатели!»... Однако на улицах тихо. Никто не кричит: «Освободите на-

шего Бабефа!». Никто. Вокруг тюрьмы Аббэ молчание, ночь, часовые, звезды. Париж обескровлен. Сколько можно требовать от одного поколения? 14 июля, 30 августа, 31 мая, 12 жерминаля, 3 прериаля — все эти дни теперь зовут «историческими днями». Не слишком ли много их для семи календарных лет и для обыкновенной человеческой жизни?

Париж, вступись! Они убьют Бабефа...

Перекликаются часовые, и снова тишина. Париж молчит.

Ярость, любовь.

Молчание может о многом говорить, и Бабеф понимает его голос. Мрачно поглядывает сторож на нового арестанта, который всю ночь бегает из угла в угол: чорт!.. Какой, однако, страшной может быть ясная майская ночь! Не о себе он думает: смерть? Что ж, он готов. Он давно готов к ней; в давнюю летнюю ночь, когда толпа ревела вокруг ржавого фонаря, когда впервые говорила с Бабефом революция, — он тогда уже понял, какой конец готовит ему судьба. В дни гражданских бурь только святые или трусы умирают на своих кроватях. Революция — это значит — смерть. Нет, его страшит не смерть Бабефа, которого звали «Франсуа», потом «Камилл», потом «Гракх», которому тридцать пять лет, у которого жена, дети, голубые глаза, шрам на правой щеке, который помнит отца-майора, лес возле Руа, книги Руссо и поцелуй Гризеля. Человек умрет. Другое его пугает: смерть революции.

Париж молчит. Директория снова уничтожит сотни патриотов. Что же дальше?.. Аристократия, Людовик XVIII, австрийцы, Питт, убийцы из Кобленца, что на Рейне, или из Кобленца, что на Парижских бульварах. Неужели эти пять слепцов не видят, куда они ведут страну? К ногам монарха — вот куда! Если «равные» погибнут, с ними погибнут не только мечты о всеобщем благоденствии, груды исписанной бумаги и столько-то благородных сердец, нет, с ними погибнет революция.

Кто же ее хочет убить? Шуаны? Иностранцы? Нет, Баррас, Карно, Рейбель — всё бывшие якобинцы, враг церкви Ларевильер, монтаньяр Летурнер, пять голосовавших за смерть Капета, пять своих. Может быть, среди пяти имеется один слепец, но не предатель. Долг Бабефа открыть ему глаза. Пусть знает, кого они хотят убить.

— Бумагу и перо! Скорее!..

Гракх Бабеф пишет: «Граждане-директоры, иль вы считаете недостойным для себя говорить со мною, как держава с державой? Вы теперь увидали, что я окружен доверием многих. Вы должны были содрогнуться»...

Бабеф вздрагивает: вдруг эти несчастные подумают, что я хочу оправдаться, что я боюсь их мести? Он пишет:

«Я никогда не стану отрицать причастия к заговору: я считаю этот заговор священным. Вы можете меня приговорить к ссылке или к смерти; это будет торжеством преступления над гражданской добро-

телью. Хотите ли вы моей смертью воздвигнуть еще один алтарь, рядом с прославленными жертвами — с Робеспьером и с Гужоном?..

Опомнитесь! Если вы уничтожите патриотов, вы останетесь одни перед роялистами. Еще не поздно!..

Не думайте, что я забочусь о себе. Смерть для меня — путь к бессмертию. Стойко и благоговейно я взойду на эшафот. Но не это спасет Республику.

У патриотов, у всего народа сердце изранено. Хотите ль вы нанести еще один удар?..»

Бабеф долго пишет. Он что-то доказывает, уговаривает, грозит, обещает прощение этим пятерым безумцам, если они вдруг станут истинными патриотами. Письмо его похоже на бред. Это суд победителя, а не прошение арестанта. Он, как всегда, чрезмерно дальнозорок. Он видит гибель Республики, разочарование народа, власть военщины, победу мстительных и мелких роялистов. Но он сейчас не видит ни предательства Барраса, ни тупой самоуверенности Карно, ни мелкой подлости Рейбеля. Он говорит о спасении Республики этим людям, которые, не краснея, шлют в Кайену своих вчерашних приятелей только за то, что те не захотели или не успели во-время их предать.

Да, серную кислоту, чтобы обливать солдат, придумал не Бабеф. Наивное, если угодно, смешное обращение к Директории написано Бабефом. Этот человек был не политиканом из кофеен, даже не «трибуном». Он был апостолом.

На первом же допросе Бабеф показал: «Убедившись в том, что существует гнет, я делал все возможное для ниспровержения правительства. Для этого я объединился со всеми демократами. Не мой долг их перечислять».

Следователь:

— Какими средствами вы хотели достичь вашей цели?

— Все средства законны против тиранов. Не вам я должен давать отчет.

Париж попрежнему молчал. Правда, вокруг тюрьмы Аббэ весь день толпились патриоты. Они негодовали. Но в их руках не было ни ружей, ни хотя бы булыжников. Они испуганно шарахались, когда показывался взвод драгун.

По приказу Директории главные заговорщики, кроме Друэ, были переведены в тюрьму Тампль. Там их посадили в отдельные камеры и усилили охрану, чтоб они не сообщались ни с «равными», оставшимися на свободе, ни друг с другом.

Арест Друэ немало смущал правительство. Правда, «Совет пятиста», перепуганный посланием Директории, тотчас же выдал депутата; все же у Друэ было много друзей не только среди рабочих Сан-Марсо, но и среди высшей администрации Республики. С Бабефом директоров ничего не связывало. Когда на заседании Директории Карно огласил его письмо, Баррас расхохотался:

— Сумасшедший!.. И трус... Он говорит, что готов умереть, а на самом деле он дрожит за свою шкуру.

Бабефа можно оскорблять, можно чернить его имя и идеи, чтобы показать «умеренным»: вот от кого мы вас спасли!.. Кто стоит за Бабефа? Беднота Парижа. Но Директория учла молчание народа: она поняла, что кровь, пафос, речи, тюрьмы, голод опустошили душу революции. Раз так — с Бабефом нечего церемониться.

Другое дело — Друэ. У этого человека — мыслей немного. Когда он должен был выступить в «Совете пятиста», Бабеф написал ему речь. Но Друэ ее прочел. У Друэ громкий голос. У него и громкое имя. Он связан с Баррасом. Ко всему он отчаянный человек. Если его прижать к стенке, он будет, разумеется, защищаться. Он знает многое о повседневной жизни Люксембурга: интриги, взятки, предательства. На воле Друэ теперь безвреден. Что он без Бабефа? — Парадный мундир в сундуке. Но на суде Друэ опасней всех. Те просто санкюлоты, это — депутат, герой, узник Шпильберга, общий любимец. Лучше бы Друэ убрать!..

Дело шло своим порядком. Перед Директорией встал вопрос о суде. Только не в Париже!.. Здесь Друэ помог. Он — депутат, следовательно, дело подсудно Верховному суду Республики, который должен заседать на известном расстоянии от резиденции правительства. Директоры занялись географией: Бурже? Вандома? Амьен? Даже в выборе города им трудно было сговориться. Наконец, они остановились на Вандоме: город тихий, большие казармы, в которых можно разместить несколько полков. Притом в Вандоме мало патриотов.

Но что же будет с Друэ?.. Правда, Летурнер твердил одно: «Расстрелять». Министр полиции Кошон, который теперь окончательно договорился с роялистами, хотел раздуть дело. Следует воспользоваться случаем и припутать к заговору всех бывших якобинцев, в первую очередь Тальена и Фрерона. «Герой прериаля» Тальен и вождь «золотой молодежи» Фрерон для роялистов оставались «якобинцами». Здесь-то Баррас не вытерпел: Тальена? За что? За прошлое? Но ведь так они завтра потребуют суда и над Баррасом! Это снова происки Карно! Пусть судят «равных» — чорт с ними! Виконт Баррас не анархист. Но нечего припутывать Тальена... Друэ ошибся. Его не мешает пожурить. Но судить его нельзя; ведь это цепь: вслед за Друэ—Тальен, вслед за Тальеном — Баррас, Рейбель, Фуше...

Заседание Директории. Вбегает Кошон:

— Несчастье! Друэ убежал.

Летурнер рычит:

— Расследовать! Здесь, наверное, нечисто. Как можно убежать из тюрьмы? Почему его не содержали в Тампле?

Баррас молчит. Он привык к выходкам Летурнера: грубиян...

Кошон не может успокоиться:

— Я тоже убежден, что здесь — заговор. Сторож его видел в шесть. А в половине восьмого — камера пуста. Он никак не мог за это время пе-

репилить решетку. Потом спуститься тоже немыслимо. Это сорок пять футов...

Баррас, наконец, вмешивается:

— Я не понимаю вашего волнения, гражданин министр. Друэ пытался убежать из австрийского каземата. Меня не удивляет, что он убежал из Аббэ. Это храбрый человек. Так или иначе, нам это на руку: процесс Бабефа без Друэ пройдет куда спокойней.

Может быть, Карно в душе и не был согласен с Баррасом, но ему оставалось только примириться: Друэ на свободе. Весь Париж смеялся: разыграно по нотам! Когда Друэ спокойно вышел из тюремных ворот, его остановил патруль:

— Не видали ли вы арестанта, который удирал, что было мочи?

— Нет. Впрочем, это не в моих принципах задерживать спасающихся...

Для вида Друэ искали. Его, конечно, не нашли: Баррас ведь был, как-никак, директором, и в Люксембургский дворец агенты Кошона не заглядывали.

Убежать из тюрем Республики без помощи свыше было трудно. «Равные», оставшиеся на свободе, пытались устроить побег Бабефа и его товарищей. Они подговорили стражу, но один из часовых выдал всех.

Потянулись долгие месяцы ожидания, бездействия, одиночества. Бабефу удалось установить переписку с женой и с Лепелетье. Он знал, как встретил Париж арест «равных», клевету газет, послания Директории. Впервые он узнал новое чувство — отчаяние. Вокруг Бабефа образовалась пустота. Демократы-журналисты, еще недавно поддерживавшие «Пантеон», теперь старались доказать в своих газетах, что Бабеф шпион. Луве писал: «Это агент роялистов, как Марат и Геберт». Реаль: «Бабеф — наемник иностранных дворов». Дюбуа: «Бабеф получил из Лондона несколько тысяч гиней. Напрасно, Питт, ты соришь деньгами!»... Так писали о Бабефе не роялисты, даже не сторонники Карно, но демократы. Имена некоторых заговорщиков остались неизвестными Гризелю. Они уцелели. Но они молчали. За честь Бабефа не вступился никто.

Бабеф мечтал о всеобщем благоденствии. Бабеф верил в добрую природу человека. Теперь он видит только низость, трусость, клевету врагов, молчание друзей. Он полон отчаянья, такого же сильного и стремительного, как недавняя его вера. Он отвертывается, когда тюремщик приносит миску с супом: он не может глядеть на людей. Он даже не думает о своей жене и детях. А там за стеной — горе, слезы. Стойко сносила жена Бабефа все мытарства. Теперь и она пала духом. Ей не только нечем кормить детей, ей незачем теперь жить; ее мужа арестовали, и все говорят, что на этот раз ему отрежут голову. Она пишет Бабефу: «Я не могу так жить. Я хочу умереть».

Ответ Бабефа жесток и страшен. Надо знать, как привязан этот человек к своей семье, как неизменно заботился он о здоровьи жены, о воспитании детей, сидя в тюрьме или в добровольном заточении, чтобы понять

ужас коротких строк: «Любовь к отечеству заглушает во мне все другие чувства. Я с тобой всегда откровенен, я тебе говорю прямо, мы, якобинцы, мы бешеные, мы вовсе не нежны, нет, напротив, мы дьявольски черствы. Ты говоришь, что ты решила умереть? Что же я могу тебе ответить? Умри, если ты этого хочешь»...

Проходит вспышка. Бабеф жадно ищет в других стойкости, в себе нежности. Рядом с ним сидит Буонаротти. Они разлучены. Они не видятся. У Буонаротти тоже осталась на воле жена. Ее зовут Терезой. Она молода, неопытна, одинока. Буонаротти не только красив лицом и строен телом: все в нем гармонично. Он не знает отрешенности, наготы, неистовства Бабефа. Он предан равенству. Спокойно он думает о смерти. Но гражданские страсти не убили в нем другой любви. Образ Терезы не покидает его камеры. На клочках белья он пишет нежные послания: «Дорогой предмет моей любви! Твое горе причиняет мне столько мучений! Будь стойкой, как я. Моя любовь к тебе никогда не была так горяча. Бедная моя Тереза! Я плачу, думая о тебе. Если б я мог достать твой портрет!.. Тирания хочет меня уничтожить, но верь мне — я не падаю духом. Увы! Прощай! Мы страдаем за истину и за справедливость».

Читая эти полустертые каракули, вшитые в штаны или в жилет, Тереза плачет, плача, она улыбается: такой любовью женщина вправе гордиться.

Время идет. Вот уж мессидор. Душное лето вползло в камеры. Бабеф теперь спокоен. Это — спокойствие отчаяния. Он пишет своему другу Лепелетье: «Не пугайся, увидев эти строки, написанные моей рукой. От меня все бегут... Но совесть говорит мне, что я чист»...

Он пишет и думает: кто знает, может быть, и Лепелетье предаст меня? Нет, Лепелетье честен, прям душой! Он пишет: «Когда зароют в землю мое тело, что от меня останется, кроме множества проектов, заметок, планов?.. Настанет время, люди снова начнут обдумывать, как бы утвердить благоденствие человечества, тогда ты сможешь разобраться в этих клочках бумаги и представить всем последователям равенства мои мысли, которые развращенные умы теперь называют «праздными снами».

Он говорит о предательстве демократов, о клевете, о том, что никто его не хочет понять. Он поручает другу Лепелетье жену и детей. Старший сын хочет быть рабочим, печатником. Бабеф просит Лепелетье помочь ему в этом. Младший? Он еще слишком мал, чтобы гадать... Пусть оба будут честными рабочими!..

Для себя Бабеф просит только одного: его должны скоро увезти в Вандому. Нельзя ли помочь жене и детям следовать за ним? Он хочет, чтоб они были рядом до последней минуты...

Здесь Бабеф кладет перо. Он долго ходит по камере, опустив голову. На него никто не смотрит: ни тюремщики, ни история. Бабеф, Франсуа, добрый Франсуа, может теперь спокойно плакать...

Поздно ночью он приписывает: «Мои мысли были с ними до последнего предела, до небытия»... И черное душное небытие входит в окно, в

глаза, в душу. Может быть, погасла незаправленная лампа? Или арестант Бабеф, измучившись ходьбой, уснул?..

Наконец, настал день отъезда. Арестованных посадили в клетки, специально для этого приготовленные. Года три тому назад в Париже все только и говорили, что о зверстве австрийцев; они, мол, посадили депутата Друэ в клетку. Эго было выдумкой революционных кумушек. То, что приписывали австрийским тиранам, осуществило правительство Республики. Подсудимых выставили, как диких зверей, на посмешище толпы.

Рабочие, глядя на Бабефа в клетке, ругались, отвертывались или же кричали с угрюмой лаской: «Гракх, не унывай!»... А чернь «Пале-Эгалитэ»: спекулянты, журналисты, еще вчера требовавшие казни всех аристократов, новые богачи, франтихи, молодые люди, скрывающиеся от военных наборов, эта разряженная и надушенная чернь улюлюкала: «Смерть грабителям! Смерть террористам!».

Сзади шли женщины и дети: Тереза Буонаротти — аристократка и Мария Бабеф — прислуга, взявшись за руки, сближенные одним огромным горем. Они шли три дня. Когда падала ночь, они плакали: они были женщинами. Днем они улыбались: ведь на них глядели те, из клеток. Они были не только женщинами.

Гренельский поход.

После ареста вождей патриоты растерялись. У них больше не было ни организации, ни пафоса. Один говорил другому: «Нельзя сидеть, сложа руки! надо выступить!»... Другой охотно соглашался, однако оба продолжали ругать Барраса в какой-нибудь кофейной, окруженные агентами Кошона.

Конечно, раскрытие заговора не могло уничтожить недовольства народа. Попрежнему рабочие толпились вечерами на мостах. Они кричали:

— Робеспьер или король!.. Нам все равно кто, лишь бы было, что жрать!..

Попрежнему Париж казался вулканом. О том, что этот дымящий вулкан потухает, догадывались немногие.

Директория теперь заигрывала с роялистами, как она заигрывала после вандемьера с патриотами. Торговались о высоких принципах и о доходных местах. Новых покупателей зазывал Карно: он назначал роялистов администраторами, комиссарами, судьями. Эмигранты перестали скрываться. Они открыто показывались в парижских салонах. Церковь снова предпочла мученичеству и катакомбам угрозы: перед пасхой торговцы Парижа получили анонимные записочки: «Если вы не закроете вашей лавки в праздник, вы будете причислены к якобинцам». Все влиятельные газеты были в руках противников Республики. Если роялисты не пытались захватить власть, то только потому, что и они были охвачены общей апатией.

Прочитав письмо Бабефа, директоры расхохотались. Теперь те же слова повторял не анархист, но генерал Гош: «Раскройте глаза! Друзья вас покинули. Надо спасать Республику. Почему говорят о террористах? Где они? Я вижу повсюду врагов — шуанов». На улицах Парижа начали появляться белые флаги. Директория ответила пышным празднованием годовщины девятого термидора. Горбун Леревильер особенно любил помпезные шествия, гирлянды, колесницы, фейерверк. С восторгом надел он парадную шляпу. Народу собралось немного. Когда граждане-директоры крикнули: «Да здравствует Республика!», их никто не поддержал. Ведь друзья Республики ненавидели Директорию, а враги предпочитали иные, более откровенные лозунги.

Полиция, разумеется, работала. Перед роялистами она пасовала: у роялистов были деньги и связи. Зато арестовывали крупных преступников: так, например, в тюрьму была доставлена бывшая кухарка бывшего графа Шалябра, у которой нашли на груди портрет злодея Марата.

Не все бывшие кухарки или бывшие дворники продолжали чтить память «друга народа». Иные вышли в люди. Эти презирали свое прошлое. Они хорошо зарабатывали. Гражданин Пио в течение одного года поставками и спекуляцией нажил: два дома в Париже, сто десятин земли в Курбвуа, дом в Пасси за семь миллионов ассигнациями, наконец, два колониальных магазина, один в Марсели, другой в Бордо. Таких Пио было немало. Они поддерживали Директорию против санкюлотов и против эмигрантов.

Сытый Париж продолжал наслаждаться жизнью: танцами и спортом. Число публичных балов дошло до тысячи восьмисот. Теперь эта страсть захватила и рабочих. В накуренных подвалах Сан-Антуана вместо якобинских речей раздавались звуки лансье. На состязания атлетов, на бега, на кельтские игры собирались десятки тысяч зрителей: жить, бегать, прыгать, кружиться, не думать, не думать ни о чем!..

«Маленький Кобленц» был взволнован новой модой: Тереза Тальен объявила рубашку глупым предрассудком. Рубашка только скрывает античную прелесть тела. Ее примеру тотчас же последовали все модницы. «Бесштанников» сменили «безрубашницы». Только кольца, браслеты, ожерелья, запястья выдавали теперь общественное положение подруги виконта Барраса. Увидев ее как-то, гражданин Талейран почтительно вздохнул: «Нельзя быть богаче раздетой»...

Появилось множество новых выездов, и пешеходы жаловались: опасно переходить улицу — задавят. Напротив входа в Люксембургский дворец часто собирались кучки зевак. Они смотрели на рысаков, на кареты, на разодетых кавалеров и на раздетых дам: это съезжались приглашенные — сегодня бал у виконта Барраса. Среди зевак были и те, что еще недавно здоровались запросто с якобинцем Баррасом. Теперь у них не было ни службы, ни хлеба. Они ворчали. Их было куда больше, нежели приглашенных, и в Париже куда больше было голодающих, нежели танцующих; но голод нем, а у музыкантов — барабаны и трубы.

Патриоты продолжают толковать: «Надо бы выступить!»... Они ждут, кажется, чуда. Они напуганы и мрачны. Но вот вам чудо!.. Разве не чудом следует назвать важную новость, которую один патриот передает другому: — «Гренельский лагерь за нас. Солдаты и офицеры все только ждут, чтобы мы пришли к ним брататься. Они нас примут с распростертыми объятиями. Они свергнут Директорию. Мы должны пойти в лагерь!».

Агенты полиции, разумеется, поддакивают: «Вот это идея!»... Кто знает, может быть, и «чудо» родилось в кабинете министра полиции гражданина Кошона?..

Директория тотчас же узнала о новом плане патриотов. Карно обрадовался: «Необходимо нанести решительный удар анархии». Он мало говорил на заседаниях «пятерки». Он предпочитал беседы с гражданином Кошоном глаз на глаз. Что же делал Баррас? Как всегда, он юлил, увертывался, колебался. Карно он говорил: «Да, необходимо раздавить»... В душе он боялся нового успеха Директории. Так ведь Карно завтра станет диктатором...

Среди патриотов не было теперь ни Бабефа, ни Буонаротти, ни Жермена. В кофейнях обсуждались списки революционного правительства. Они были наивны и нелепы: рядом с Бабефом — столько раз клеветавший на него Тальен, рядом с безупречным Жерменом—продажный Фрерон. Вот эти списки и смущали Барраса. После раскрытия «заговора равных» он увидел, что на «бабувистов» ему надеяться нечего. «Равные» готовили ему не высокий пост, но пулю. На одном из листков, найденных у Бабефа, значилось: «Убить пятерку». Теперь, однако, Бабеф сидел в тюрьме. Патриотами руководили другие люди. Тальен и Фрерон — старые друзья Барраса. С ними легче сговориться, нежели с тупоголовым Карно...

Баррас заранее себя выгораживал: «Надо раздавить». Но тихонько через своего приятеля, мастера сентябрьских убийств, испытанного провокатора Меге, он подзадоривал патриотов. Он даже передал им двадцать четыре тысячи франков «на угощение солдат». Здесь его хитрость переходила в глупость. Предстояла борьба. Что же, он поддерживал и тех, и других...

Кошон также передавал патриотам деньги через провокаторов, но он по крайней мере не колебался. Особенно отличался его агент, некто Романвиль, который бегал по Парижу без устали:

— Идемте брататься с гренельцами! Они нас ждут.

Патриоты не сомневались в искренности этих призывов. Они знали, что в Гренельском лагере стоит батальон драгун, составленный из бывших солдат «Полицейского легиона». «Полицейский легион» издавна славился якобинским духом. На него в свое время надеялись «равные». Директории удалось легион расформировать, но солдаты остались солдатами. Они громко роптали: «Черти! Не платят жалованья»... В окрестных кабачках «Золотое солнце» или «Сельская кофейня» не раз они говорили рабочим: «Скоро мы им покажем»... Они громко вздыхали о тех временах, когда Ро-

беспьер держал проклятых аристократов в страхе. Кто же поможет патриотам, кроме этих храбрых драгун?..

В Париже тихо. Спектакли уже кончились. Патрули останавливают редких прохожих. Зато шумно в предместьи Гренель. Сегодня патриоты тут. У них нет ни ружей, ни сабель. Они пришли брататься с солдатами. Они хотят спасти революцию песнями. Вот-вот солдаты подхватят припев: «К оружью, граждане!»... И тогда — победа. Тих лагерь. Солдаты уже спят. Только кой-где полуночники режутся в карты или же рассказывают непотребные истории о вожирарских девках: «Ну и фокусницы!»... Толпа вокруг лагеря растет. Сколько здесь патриотов? Одни говорят — триста, другие — пятьсот, третьи — тысяча.

Вдруг толпа расступается. Крики: «Браво», «Да здравствует отец революции», «Веди нас против тиранов». Это — депутат Друэ; он верхом, его окружают друзья. Песни становятся громче, лица веселее: «Друэ с нами!». Патриоты хотят подойти к палаткам, где стоит Гарский батальон, там у них много верных друзей.

Ночь темна, осенняя ночь. Где здесь опознать: свои или враги?

— Эй, братья!..

Гражданин Кошон обо всем позаботился. Он приказал в последнюю минуту увести Гарский батальон, а на его место поставить другую часть. Патриоты поют, зовут:

— Идите с нами!..

Они перед палаткой эскадронного командира Мало. Голоса:

— Драгуны 21-го...

— Да здравствуют драгуны! Долой тиранов!

— Гражданин Мало — патриот. Он не пойдет против народа...

Мало показывается. Он машет саблей. Вслед за ним выбегают драгуны. Они вскочили прямо с постелей. Некоторые в рубашках. Давка. А патриоты все поют — что же им еще делать?.. Мало, видимо, колеблется, несмотря на все полученные инструкции. Он опускает саблю и спрашивает:

— Оружья нет?..

Тогда один из полицейских стреляет. Пуля пролетает над головой Мало. «Нападение!» Мало командует:

— На седла! Руби!

Темна ночь. Куда бежать?.. Патриоты больше не поют: они падают один за другим под ударами сабель. Лошади давят раненых. Крики. Несколько одиноких отчаянных выстрелов... В последний раз вопль: «Братья, опомнитесь!» и пронзительное ржанье лошадей.

Те, что не успели подойти к лагерю, видели, как по пустым улицам проскакал Друэ. Эта ночь была его последней ставкой: «Если не победим, уеду в Индию»... Друэ не хотел умирать, но он и не мог жить спокойной, будничной жизнью. Он мчался прямо от Гренельского лагеря за границу, в Геную, в Индию — куда угодно, только дальше от этого Парижа, хоть к чорту на рога!..

А солдаты продолжали рубить, колоть, добивать безоружных патриотов. Генерал в отставке, якобинец Жавог, пытался организовать сопротивление, но перепуганные патриоты теперь бежали, не слушая ничьих призывов. Другой генерал, Лей, проник в казармы инвалидов, где стояли гренадеры: «Выходите на помощь народу». Солдаты мялись: «Конечно... да, только ничего из этого не выйдет»... Тогда бойкий сержант, давно мечтавший об офицерском чине, подошел к генералу Лей:

— Идем-ка со мной!.. Куда?.. Увидишь куда... Там разберут...

Еще иные отбивались, кричали, уговаривали. На набережной Вольтер, надвинув низко шляпу, чтобы никто не мог его узнать, стоял некий гражданин, выжидая, чем кончится Гренельский поход. Он был осторожен, он не хотел рисковать собой. Остановит его здесь патруль, он спокойно скажет: «Гуляю». Около часа ночи, когда солдаты уже заканчивали работу, к нему прибежал, весь запыхавшись, какой-то паренек: «Ничего не вышло... разогнали»... Осторожный гражданин пожал плечами: «Болваны! трусы!» и быстро направился по направлению к своему дому. Это был не кто иной, как Фрерон, оставленный всеми—и роялистами, и патриотами, Фрерон, который еще недавно водил за собою банды нарядных погромщиков. Теперь он мечтал о победе якобинцев: его не выбрали в «Совет пятиста», у него не было ни хорошего места, ни денег, ни приверженцев.

Фрерон, конечно, спокойно дошел до дому; тем временем агенты Кошона устроили охоту на анархистов. Их ловили в домах, на улицах, на пригородных дорогах. Уж светало: к сыщикам присоединились добровольцы — роялисты или просто буржуа, перепуганные воззваниями «равных»: «Бабеф ведь хотел всех ограбить!»...

Генерал Жавог успел добраться до Монружа. Он зашел в маленький кабачек, чтобы передохнуть. Там его и накрыли. На нем нашли трехцветный шарф депутата Конвента. Он гордо ответил:

— Это все мое добро, все, что осталось у меня от революции.

Жавога обыскали; обнаружив в его кармане перочинный нож, полицейские записали: «Гражданин Жавог схвачен с оружьем в руках». Они выполняли приказ Кошона.

Полицейские арестовали «бабувиста» Бертрана, депутатов Конвента Кюссэ и Гюгэ, много рабочих из Сан-Антуана и Сан-Марсо. Всего были арестованы сто тридцать два человека. Провокатор Мегэ, конечно, удрал. Некоторые видели, как он переплыл Сену. Многие пытались спастись вплавь, удалось это только Мегэ. Может быть, он был хорошим пловцом... Во всяком случае он был приятелем Барраса.

Накануне вечером Кошон доложил гражданам-директорам, что ожидаются небольшие беспорядки. Войска настроены прекрасно, и правительству ничто не угрожает. Рейбель облегченно вздохнул:

— Ну, раз все благополучно, я еду в Аркейль...

Рейбель предпочитал дачную идиллию государственным заботам. Ларевильер лег преспокойно спать. Он был разбужен под утро необычным

шумом. Он выбежал полуодетый с саблей в руке. Во дворе увидел он солдат, а среди них Карно и Летурнера. Леревильер обиделся:

— Почему же меня не разбудили прежде?..

Карно стал его успокаивать: «Мы люди военные»...

Он, конечно, не признался Леревильеру, что наклонный к философии горбун только помешал бы ему руководить этой анекдотической битвой, где целые эскадроны были брошены против толпы безоружных патриотов.

— Теперь опасность миновала.

— А Баррас?

— К Баррасу стучались. Никто не ответил.

Баррас показался только после обеда, когда арестованных уже гнали по улицам Парижа к тюрьме Тампль. Леревильер удивленно спрашивает:

— Почему вы не вышли ночью, когда к вам стучались?..

Глупый вопрос — Баррас не такой человек, чтобы показываться в середине представления... Он, простодушно улыбаясь, отвечает:

— Я, наверное, крепко спал. У меня вообще хороший сон...

Он не добавляет, что хороший сон присущ всем людям, у которых совесть чиста. Трупы уж отвезены в мертвецкую. Арестованные шагают по бульварам, и дамы, те, что без рубашек, пресловутые красавицы Директории, кричат:

— Смерть кровожадным собакам!..

Рейбель вернулся свеженький из Аркейля, Баррас, выспавшись, был готов к работе, Карно и Летурнер тоже успели отдохнуть после ночных трудов. Началось заседание Директории.

— Уничтожить!..

У Жавога нашли нож, у одного рабочего — топор, двум другим успели во-время подбросить ружья. О чем тут спорить!.. Директория постановила предать всех арестованных военному суду, как захваченных с оружьем в руках. Кроме того она обратилась к гражданам с очередным посланием: «Мятеж анархистов подавлен, благодаря героизму республиканских войск».

Известно, что военный суд — суд скорый. Директория торопилась. Возле моста Неф рабочие кидали камнями в полицию. Тюрьма Тампль была окружена толпою граждан, ругавших во-всю «пятерку».

Суд приговорил двадцать шесть человек к расстрелу; большинство были рабочие: сапожники, шорники, шапочники, читатели «Трибуна народа», потрясенные проповедью равенства. Гракх Бабеф был далеко отсюда, в Вандоме. Но тень его присутствовала в Тампле, когда друг перед другом встали военные в чересчур новых мундирах, оплот порядка, скорые судьи и рядом, за решеткой, последние санкюлоты.

Один из осужденных, сапожник Бонбон, крикнув «Да здравствует равенство!», бросился из окна башни. Приговор, однако, остается приговором: труп Бонбона повезли на место казни — расстреливать.

Толпа роптала:

— Это все бедные люди! почему их убивают?..

Кто-то крикнул:

— Это не суд, а бойня!.. Я знаю одного из осужденных, он честный гражданин...

Стоявший рядом гусар тотчас же разрубил смельчаку череп.

Некоторых осужденных везли связанными на телегах. Они лежали и пели: «К оружью, граждане»... Кого они звали: зрителей, вандомских узников, мертвецов?.. Некоторых гнали пешком. Живописец Ганья шел, среди других заключенных, по Итальянскому бульвару. Здесь не было ни одной пары сострадательных глаз. Только молодая женщина, которая шла рядом, не спускала глаз с Ганья. Это была его жена. Когда осужденные дошли до «Итальянского театра», Ганья, оттолкнув солдата, бросился бежать. Он вбегает в дом. Лестница. Коридор. Кажется, спасен! Здесь мастерская седельщика, его брата. Но солдаты находят беглеца. Они бьют его шашками, окровавленного кидают на телегу. Жена все видит. Жена идет рядом. На телеге ком мяса, лохмотья в крови, но оттуда раздается человеческий голос. Напрягая все силы, полумертвый Ганья поет: «Нет, лучше умереть, чем быть рабами»...

Со страхом прислушиваются к пенью завсегдатаи «Маленького Кобленца».

— Вы слышите?.. Все-таки эти разбойники не трусы. Они умеют умирать.

Кажется, чего бояться: ведут людей на казнь. Париж спокоен. Партия порядка торжествует. Но дамы отворачиваются:

— Вы видели, какие у них страшные глаза? Это восстали из гроба все приверженцы проклятого Робеспьера...

Нечего скрывать: они боятся — ведь эти люди еще умеют умирать. А новый Париж умеет только жить, жить жадно и подло, жить во что бы то ни стало.

Из всех осужденных толпа хорошо знает одного — бывшего генерала Жавога. Это не рабочий, уверовавший в святое равенство. Это бывший член Конвента, вместе с Кутоном усмирявший мятежный Лион и Бурж. Он приказывал крестьянам в неделю собрать хлеб, смолоть зерно и представить муку для санкюлотов. Крестьяне говорили: «Жавог приказал», и мука бывала сдана к сроку. Он отдал приказ о разрушении замков близ Макона: «Раздайте камни санкюлотам и помогите им выстроить простые дома». В Сан-Этьене он объявил: — «Налог на богачей: у кого миллион, вносит восемьсот тысяч; у кого сто тысяч, вносит двадцать». Жавог остался верен идеям и нравам тех времен. Он не грабил, как другие. Все его богатство действительно состояло из трехцветного шарфа. Он хотел вернуться к себе в Монбризон, но отец его, старый нотариус, умолял сына остаться в Париже: «Здесь тебя тотчас же убьют».

Кутон погиб десятого термидора. Жавог уцелел. Вот он идет на смерть. Он ступает бодро, он поет. Он проходит перед толпой, как память о 93-м. Может быть, и он вспоминает прошлое: в Лионе революцион-

ный комитет однажды присудил к гильотинированию шестьдесят человек — среди них были не только аристократы, но и жирондисты, и случайно взятые — по доносам. Эги люди, выслушав приговор, запели: «Умереть за отечество — нет удела завидней»... И вот теперь бывший член Конвента, генерал Жавог, поет ту же песнь: «Нет удела завидней»...

Осужденных привели к Гренельскому лагерю. Взводом командовал офицер Лилле. В последнюю минуту он никак не мог выговорить: «Пли». Он отвернулся, и тогда толпа увидала перекошенное ужасом лицо.

Гренельский поход был закончен. В театре Фейдо нарядная публика усиленно аплодировала, когда одна из актрис сказала (что и значилось в ее роли): «На этот раз мы спасены». Следует только добавить, что победители работали в поте лица: ближайшее заседание Директории было посвящено вопросу, какому наказанию подвергнуть офицера Лилле, который проявил при исполнении своих обязанностей недопустимое колебание.

Черные и белые шары.

Вандома — тихий городок, известный только старым собором и жареной колбасой. К началу суда он был неузнаваем. Повсюду палатки солдат, ржание коней, патрули, костры, склады оружья. Говорили, будто процесс продлится чуть ли не полгода. По окрестным дорогам тянулись возы с поклажей: аристократы, а также граждане поосторожней, оставляли город. Кто знает, чем дело кончится? Ведь у Бабефа немало приверженцев... Город был оцеплен; въезд запрещен. Арестантов разместили в бывшем аббатстве Трините, часовню приспособили для заседаний Верховного суда. Окна камер помимо решеток были наглухо забиты деревянными щитами. Бессменно полтораста солдат караулили возле аббатства. Комендант приказал поставить шесть пушек жерлами на шесть окон: при попытке бунта — орудийный залп.

Из камер доносилось только пенье. Арестанты пели хорошо, и вандомские патриоты (как-никак были патриоты и в Вандоме), собираясь на соседних холмах, слушали «песню марсельцев». Патриоты в умилении аплодировали.

Суду предали шестьдесят пять граждан, из них восемнадцать заочно. Здесь были и вожди «равных», и рядовые заговорщики, и люди, вовсе непричастные к делу, схваченные по оговору. На предварительном следствии Бабеф и его ближайшие друзья держались гордо. Не думая отрицать своего участия в заговоре, они отвечали: «Мы не арестованные, мы военнопленные».

В Вандоме все подсудимые впервые встретились. Как выработать общий план защиты?.. Судили их на основании слов Гризеля, подкрепленных кипой бумаг. Патриоты, менее скомпрометированные, уговаривали вождей: «Отрицайте наличность заговора. Среди присяжных, наверное, имеются республиканцы. Тогда им легче будет оправдать, если не вас, то нас»... Бабеф долго колебался; прирожденная гордость

и человеческая чувствительность боролись в нем. О себе он не думал: его ответы на следствии достаточно ясны. Дартэ был против замалчивания: «Кровь патриотов только разожжет огонь в сердцах народа». Бабеф возражал: «Мы разбиты. Предстоит длительная передышка. Мы вправе жертвовать собой; но не об этом нас спрашивают. Что будет с другими?.. Эти тридцать патриотов могут быть спасены, если я скажу: «Да, я против вас. Я считаю восстание законным. Я хотел бы примкнуть к заговору. Но эти списки — не списки заговорщиков». О, насколько мне милее раскрыть сейчас всю правду! Однако это противно долгу патриота. Примирись, Дартэ! — мы должны теперь пытаться спасти друзей»...

«Равные» решили, отрицая заговор, признать, что, если бы подобный заговор существовал, они бы все были заговорщиками. Бабеф начал готовиться к защитительной речи. Он хотел еще раз изложить перед современниками и перед потомством идеи «общества равных». Директория уверяет, что он подкуплен роялистами, что он призывал к убийствам и грабежам. Он превратит скамью подсудимых в кафедру. Он раскроет труды бессонных ночей. Заговор против Директории в флореале IV года не удался. Заговор народа против роскоши, безделья, преступлений должен восторжествовать.

Председатель Верховного суда, гражданин Гандон, был исполнительным чиновником. Во всех спорных вопросах он становился на сторону обвинения. Но по природе человек вялый и тупой, он не раз пасовал перед подсудимыми, из которых многие куда лучше его знали все параграфы Уложения. Тогда его выручали «национальные обвинители»: Вильяр и Бальи. Вильяр мечтал о кресле депутата; речами на суде он надеялся привлечь к себе симпатии роялистов. Бальи, хоть и любил поговорить о «республиканских идеалах», был известен ненавистью к якобинцам. Когда Бабеф произнес слово: «революция», Бальи тотчас же прервал его: «Революционные бури давно улеглись»...

Здесь судебное разбирательство превращается в политический диспут. Дартэ кричит:

— Вы слышите? Он судит уже не нас, но революцию. Мы — люди 14 июля.

Не смущаясь, Вильяр отвечает:

— Мы тоже.

Этим Вильяр хочет еще раз напомнить: судьи в парадных мантиях, в красных тогах — отнюдь не судьи Людовика XVI, нет, они судьи Директории. Они всем обязаны мужеству санкюлотов. Они судят тех, кто им когда-то помог. Спасибо за 14 июля!.. А Вандомский суд охраняется куда лучше Бастилии...

Главный защитник, гражданин Реаль, был хорошим адвокатом и хорошим дельцом. Несколько месяцев тому назад в своей газете он уверял, что Бабеф получает субсидии от Питта. Теперь он решил защищать «бабувистов»: как можно пропустить столь громкий процесс?.. О нем еще в начале революции Шенье сказал: «И Реаль?.. Что же — Реаль реали-

зует»... Расторопный адвокат решил из очередной трагедии извлечь пользу.

Среди подсудимых особенно смущал Реаля угрюмый Дартэ. Он так и не согласился с доводами товарищей. Он решил молчать. На вопросы председателя он отвечал коротко:

— Не вам меня судить.

Защищаться? Он только пожимал плечами:

— Когда приверженцы равенства отданы на милость заведомым убийцам, когда гонения — удел всех добродетельных людей, которые пытались возродить Францию, когда во имя справедливости совершаются преступления, когда в почете подлость, измена, разврат, разбой, когда вся страна покрылась трауром, когда больше нет отечества, — смерть тогда — благодеяние.

Бабеф не был оратором. Он должен был писать свои речи. Зато красноречивый Жермен не давал покоя обвинителям.

В залу входит Жорж Гризель. Он горделиво оглядывается. Он теперь больше не трусит. Разве две сотни часовых и шесть пушек не охраняют его драгоценную жизнь? Охотно отвечает он на расспросы любопытных журналистов. Правда, он еще не генерал. Зато он подписывается в газете: «Главный свидетель обвинения» — хоть в чем-нибудь он главный. Гризель презрительно смотрит на Бабефа: ну, поцеловал!.. Он ждет от председателя комплиментов: он ведь не корыстный доносчик, он достоин гражданского венка.

Председатель одобрительно кивает головой: перед ним герой.

Тогда встает Жермен:

— Нет, Жорж Гризель, ты не удостоишься гражданского венка; нет, Жорж Гризель, ты не удостоишься и венка из терний — он наш, этот венок. Тебе же уготован другой венок — из омелы, римляне им украшали головы рабов, чтобы продать их на несколько динаров дороже.

Все подсудимые держались дружно. Против Антонеля не было никаких улик: случайно о нем не знал Гризель. Но Антонель, этот флегматик, издавна равнодушный к смерти, маркиз, уверовавший в благородство санкюлотов, не хотел избежать общей судьбы. Он неоднократно заявлял: «Я — с ними». Здесь чувствовалась общность гонимой секты, где все — братья, все равны: певица из «Китайских бань» Софи Лапьер и «трибун народа», маркиз де-Антонель и слесарь Дидье.

Каждый вечер, когда председатель объявлял заседание закрытым, подсудимые начинали петь «гимн прериальцев»: «Восстаньте, павшие герои!». Они все сроднились с мыслью о близкой смерти; через головы судей или жандармов они беседовали с великими тенями недавнего, но сколь же далекого прошлого.

Бабеф восклицает:

— Гужон, Ромм, Субрани, прославленные мученики! Ваши имена уже раздавались в этих стенах. Мы не устанем их повторять. Мы еже-

дневно прославляем вашу память пением. Ваша стойкость перед палачами да послужит нам примером! Ревнители святого равенства...

Обвинитель Бан перебивает Бабефа. Тот не слышит.

— Мы стали на ваше место. Мы готовы...

Глаза Бабефа горят. Они смотрят не на присяжных, не на толпу. Они смотрят в прошлое.

Ему не дают говорить. Крик. Пререкания. Угрозы. Суд уходит совещаться. Резолюция: «Подсудимые не имеют права затрагивать посторонние вопросы». Буонаротти улыбается: если революция здесь посторонний вопрос, то почему ж их судят?..

Показания Гризеля заняли два дня. Предатель рассказал обо всем: о тетушке, о двух обедах: Карно и Дартэ, даже о поцелуе Бабефа. Он ни разу не опустил глаз. О том, как швейцар в Люксембургском дворце поддержал его, он, конечно, умолчал. Нет! он не трус. Он чтит память героев древности, и он надеется к ним приблизиться.

Закончив показания, Гризель остался в зале суда. Недалеко от него сидела молодая женщина. Гризель ее сразу заметил: красавица! Кроме героев древности он любил и слабый пол. Кокетливо оправив волосы, он подсел поближе к красотке. Его, наверное, ждет удача: ведь женщины падки на славу, а он, Гризель, — герой процесса, все парижские газеты пишут о нем. Женщина обернулась. Она взглянула на Гризеля, и Гризель, два дня сносивший презрительные взгляды подсудимых, не выдержал: он быстро отсел на заднюю скамью. Это была Тереза Буонаротти.

Когда зашла речь о «декларации повстанческого комитета», монтаньяр Рикар, чтобы отвести опасность, которая грозила скорее «равным», нежели ему, сказал:

— Может быть, это дело Гризеля?..

Бабеф не вытерпел:

— Нет! Автор не должен краснеть за эти строки. Гризель слишком низок, чтобы написать подобные слова.

Мужество и благородство подсудимых потрясали даже конвойных. Солдаты в городе говорили: «Вот это молодцы!». Коменданту Вандомы приходилось все время менять воинские части: он опасался бунта.

Некто Гезен вздумал выпускать газету с описаниями судебных дебатов: «Вестник Верховного суда или эхо свободных и чувствительных людей». В газете печатались подробные отчеты. Редактора вскоре арестовали. Жена подсудимого Дидье, а с нею еще одиннадцать женщин были посажены в тюрьму «за подстрекательство к восстанию». Директория торопила гражданина Гандона: скорее!.. Но одно чтение бумаг, найденных у Бабефа, длилось две недели. Вандомский процесс стал новым Конвентом. Председатель, теряя терпение, кричал:

— Замолчите! Кто кого здесь судит: мы — преступников или вы — правительство Республики?

На вопрос гражданина Гандона нетрудно было ответить: в Вандоме судили Директорию, и тщедушный Гризель олицетворял здесь предательство — эту высшую добродетель граждан-директоров.

Бабефа спрашивают:

— Кто был с вами?

Удивленно смотрит он на председателя:

— Мне непонятно, как можно у человека предполагать заранее отсутствие гражданских чувств...

Председатель в свою очередь удивляется: Гризель ему куда понятней. Но в зале — аплодисменты. Солдаты выгоняют граждан на улицу. Это рукоплещет Бабефу народ, народ, уже не способный защищать героев, но еще способный умиляться перед их добродетелью. Эта третья сторона — не «равные» и не Гризель — только однажды выступила на процессе. Председатель приказал ввести свидетелей обвинения — граждан Барбье и Менье. Оба были солдатами «Полицейского легиона», расформированного по приказу Директории; за участие в бунте они попали под суд. Их приговорили к десяти годам тюрьмы и в Вандому доставили под стражей.

В залу входит Менье. Это молодой паренек, щуплый, бледный.

Председатель:

— Ваше имя?

Вместо ответа Менье начинает петь: «Восстаньте, павшие герои»...

— Молчите!

Менье поет; закончив песню, он говорит председателю:

— Если вы настоящий патриот, эта песня должна вам так же нравиться, как и мне.

— Известны ли вам подсудимые?

— Нет. Вы привели меня сюда, чтобы я мог выказать мое благоговение перед этими защитниками свободы? Скорей отсохнет мой язык, нежели я уподоблюсь презренному Гризелю. Суд палачей осудил меня. Мне грозили пыткой, если я не подпишу ложных показаний. Я пережил минуту постыдной слабости. Я каюсь. Теперь я тверд душой. Обвинитель гражданин Вильяр — вот этот — приходил ко мне в тюрьму. Он говорил: «Если ты на суде все подтвердишь, мы тебя сейчас же освободим. Если нет, тебе придется худо!»... Но чистая совесть важней свободы.

Гражданин Вильяр пробует протестовать. Менье грозят: статья 336-я строго карает за ложные показания. Однако он не сдается. Тогда приводят Барбье. Он повторяет: «Обвинитель Вильяр требовал ложных показаний». У Барбье имеются доказательства...

Председатель во-время останавливает свидетеля:

— Вы обвиняете самого себя.

Барбье отвечает:

— Что же, если вам нужна еще одна жертва, я готов... Я счастлив сесть рядом с этими героями.

Бабеф говорил на суде о Руссо, о Мальби, о Дидероте. Барбье и Менье были полуграмотны. Они умели читать только по слогам и с тру-

дом расписывались. Не разум — сердце подсказало им эти, полные мужества, слова. Гракх Бабеф, окруженный врагами, в их лице увидал тот народ, бескорыстный и справедливый, которому посвятил он свою злосчастную жизнь.

Процесс длился долго: он начался в вантозе — тогда стояли сильные холода. Теперь веселый месяц флореаль. В зале суда темно и душно. Напрягаясь, Гракх Бабеф читает защитительную речь. Он читает уже десять часов без передышки. На лбу пот. Срывается голос. Он излагает перед судьями свои идеи: «аграрный закон» — не лекарство. Только в общности имуществ залог равенства. Бальи смеется:

— Кто же будет собирать плоды, если нельзя сказать — «это мое»?..

Бабеф отвечает:

— Счастье в том, чтобы не было: «мое» и «твое». Иисус Христос проповедывал равенство, справедливость, ненависть к богатству. Он был за это живым пригвожден к кресту.

Бабеф говорит о своей жизни: он знает, что такое революция, он знает, что такое голод. Две унции хлеба. Детский гроб.

Здесь все оглядываются: кто-то в зале, захлебываясь, плачет. Это жена Бабефа.

Бабеф говорит об опасности, которая грозит Республике. Вильяр его прерывает:

— Вы хотели погубить Республику.

— Нет, мы хотели ее спасти. Революция ничего не дала народу, и народ начинает ненавидеть Республику. Что кругом нас? Оглянитесь! Равнодушие. Патриоты, еще вчера пламенные и отважные, теперь молчат. У всех опускаются руки... Но равенство должно восторжествовать. Оно восторжествует. Французская революция — только предвестница другой революции, сколь более великой и более торжественной. Они исчезнут, межи, изгороди, стены, тюрьмы, кражи, преступления, виселицы, зависть, ненасытность, обман, двоедушие и червь — точитель всеобщего беспокойства...

На лицах судей досада. Присяжные устали от высокой философии — их клонит ко сну. Бабеф сейчас в темной зале беседует с другим поколением. Он доказал, что не праздные сны его проекты. В них разберутся дети. А теперь пора кончать!..

Здесь человеческое горе меняет голос Бабефа: он не проповедует, он прощается с жизнью, и не слова, только дрожь голоса заставляет присяжных насторожиться. Может быть, они и не философы. Но они все-таки люди.

— Если наша смерть предрешена, если для меня настает последний час, я вправе сказать, что давно его ожидаю. Я привык к тюрьмам и к гонениям. Мысль о насильственном конце меня не страшит: такова судьба революционера. Мои писания останутся. Они покажут, что я жил и дышал только любовью к народу. Одно меня печалит. Вот они, мои дети, я их вижу сейчас. Они там. Они слышат мой голос. Я говорю им: «Мне

горька мысль о вас. Я хотел, чтобы вы были свободными людьми. Что же я могу вам завещать? Ненависть к насилью? Преданность равенству? Нет, это слишком зловещее наследство. Я вас оставляю на рабство. Это омрачает мои последние часы»...

Бабеф ничего не видит: слезы застилают его глаза. Но с удивлением Дартэ глядит на присяжных. Ведь все говорят, что эти присяжные подобраны, что они ненавидят анархистов. И что же — присяжные плачут. Плачет публика. Уныло вытирает нос конвойный. Только с лица гражданина Вильяра не сходит насмешливая улыбка. Национальный обвинитель не страдает сантиментальностью. Речь его проста и ясна: Был заговор? Был. Вот и все. Он знает, что сильнее всего подействует на присяжных, на этих мирных провинциалов, которые любят вист, незабудки и спокойствие:

— Довольно! Нельзя переходить от революции к революции. Вспомните восемнадцать месяцев террора. Франция устала.

Во имя усталости он требует столько-то голов: пусть не мешают Франции отдыхать. И присяжные, недавно плакавшие над словами Бабефа, теперь сочувственно вздыхают: что и говорить — устали...

Жены подсудимых жадно ловят каждое слово, они вглядываются в лица присяжных: вот тот налево, кажется, жалеет, а этот, наверное, хочет засудить. Десятилетний Эмиль спрашивает мать:

— Они уже решили или будут еще думать?..

Мария Бабеф ждет чуда. Поспешно она отвечает:

— Что ты! Еще ничего неизвестно. Бог даст, они пожалеют... Ведь все видят, что Франсуа честный человек...

Рядом с ней — почтенный гражданин. Это граф Дюфор-де-Шеверни, самый богатый помещик в окружности. Он сидел в тюрьме при якобинцах. Все меняется: теперь он пришел посмотреть, как судят этих якобинцев. Услышав шопот Марии Бабеф, он возмущенно отсаживается подальше: можно ли называть злодея, который хотел всех ограбить, «честным человеком»?..

Граф Дюфор-де-Шеверни больше не скрывает своей привязанности к королевскому престолу. Кто же судит «равных»? Королевский суд? Республиканцы?

Антонель, спокойный, как всегда, в последние часы еще раз напомнил судьям:

— Против роялистов мы пошли бы сражаться даже за эту Республику. Берегитесь, республиканцы! Вы хотите уничтожить последних патриотов. Что будет завтра? Кто сможет отстоять Французскую республику? Вы убиваете не только нас — себя.

Присяжные уходят совещаться. В последний раз Софи Лапьер затягивает: «К оружью, граждане»!.. Наступает томительный долгий день. В комнате присяжных душно. Сколько они останутся здесь? Пока не сговорятся. А сговориться трудно. Как ни старались власти, четверо присяжных — патриоты. Граждане-директоры с волнением читают ежеднев-

но рапорты о настроении присяжных. Вся беда в законе: достаточно четырех белых шаров, чтобы подсудимые были оправданы. Но ведь оправдание Бабефа — это приговор Директории. Из Парижа несутся вестовые: голову Бабефа! Присяжные спорят, молчат, снова спорят. Вот уже смеркается. Они не сговорятся: четверо настаивают на оправдании. Кажется, Бабеф спасен.

В комнатах подсудимых не спорят, не гадают о судьбе. Там тихо: люди напоследок думают, вспоминают близких, молча жмут друг другу руки. Бабеф не сомневается в близкой смерти. Он помнит слова Гужона, «чтоб не ошибиться»... Расстегнув рубаху, он пристально смотрит на грудь. Потом встает, по привычке быстро шагает: что-то еще не выполнено... Он пишет жене и детям:

«Добрый вечер, мои друзья! Я готов войти в вечную ночь. Я уже просил моего друга не покидать вас. Я ведь не знаю, что с вами станет. Вот вы добрались сюда, несмотря на все препятствия, на нищету. Ваша любовь вела вас. Но как вы вернетесь?». Он пишет жене: «Бедная моя, верная подруга», сыну Эмилю: ведь Эмиль его будет помнить. А Камилл? Он просит: «Говорите обо мне Камиллу! Сколько у меня было к нему нежности»... И третий Кай — он родился после того, как Бабефа арестовали: «И Каю говорите, когда он настолько подрастет, чтобы понимать»... Бабеф просит сохранить его речь на суде. Лебуа обещал ее напечатать. Эта речь будет дорога всем благородным сердцам...

«Прощайте! Тонкая нить еще прикрепляет меня к земле, и завтрашний день ее оборвет. Я в этом убежден. Жертва нужна. Злые сильнее — я уступаю. А совесть моя чиста. Только жестоко вырывать меня из ваших рук, нежные мои друзья! Прости! Прощайте!.. Еще одно слово. Напишите матери и сестрам. Когда речь будет напечатана, — пошлите им. Расскажите, как я умер. Растолкуйте — это добрые люди, они поймут, растолкуйте им, что такая смерть не позор, но подвиг. Прощайте навеки! Гракх Бабеф».

Ночь. Письмо дописано. Бабеф теперь прощается с Жерменом. Оба вспоминают Аррас, веселые записки, «орден равенства», жизнь. Потом — с Дартэ, с Буонаротти: сколько надежд, волнений, горя!.. Говорят вполголоса. Под окнами лязгают ружья. Часовые отгоняют женщин. Маленький Кай кричит на руках. Тереза Буонаротти умоляет часового: «Передайте ему только это: — Я с тобой».

А в комнате присяжных еще душней, и еще угрюмей голоса: «да», «нет», «нет», «да». На первый вопрос о заговоре четверо ответили: «нет». Остался второй: «о призывах к ниспровержению Директории». Неужели спасены?..

Некоторые из присяжных легли на пол и уснули: восемнадцать часов они спорят. Председатель получил инструкции свыше: он оттягивает голосование: «Голову Бабефа»! Четыре ослушника известны всем, хоть голосование тайное. С тремя нечего разговаривать — это якобинцы. Но вот четвертый — гражданин Дюфо. Он отнюдь не террорист, нет,

он просто — за Республику. Зачем убивать патриотов, когда роялисты открыто призывают к мятежу?.. И Дюфо кладет белый шар. Тогда председатель отводит его в сторону. Он шепчет на ухо:

— Я хочу предупредить вас — будьте осторожней. Вас подозревают... Говорят, что вы ухаживали за женой Буонаротти. Мне только что сказал один присяжный, что вы анархист. Я, конечно, начал его разубеждать. Но смотрите — напрасно вы упорствуете. Вы, кажется, отец семейства? Видите... Стоит ли рисковать? Ведь это не маленькое дельце, это Верховный суд. В приговоре заинтересована Директория. Я надеюсь, вы меня понимаете...

Гражданин Дюфо, наконец-то, понял. Пока речь шла о жене Буонаротти, он только удивленно таращил глаза: он ведь ее ни разу не видел. Но Директория... Действительно, зачем рисковать собой?..

Смерть Бабефа.

Четыре часа. На дворе уж рассвело. Утро нехотя входит через маленькие окна бывшего аббатства в угрюмую залу, где еще догорают чадные факелы. Серый мучительный свет кажется туманом. Как бледны и как злосчастны при нем лица женщин! Тереза Буонаротти стоит у барьера, выпростав руки. Она как бы хочет вырвать из рук присяжных таинственный приговор. Жена Бабефа вздрагивает от каждого шороха — вот стряпчий прошел, вот Реаль уронил книгу: идут?.. Лихорадочно горят глаза Эмиля, и плачет Камилл. Только на лице крохотного Кая беспечальная улыбка: Кай спит, прижавшись к груди матери.

Спят и вандомские жители: что им суд, Бабеф, белые или черные шары? Они просыпаются от барабанного боя, от цокота, грохота: артиллеристы тащат орудья. Что за напасть?.. Наверное, кончился этот суд над анархистами...

Как только председатель, побеседовав с гражданином Дюфо, собрал необходимое большинство, он тотчас же предупредил коменданта. Войска были приведены в боевую готовность. Пригнали подсудимых. Они глядят не на ту дверь, из которой должны сейчас выйти присяжные, они глядят на женщин, и те улыбаются сквозь слезы.

Все встают. Председатель читает. От волнения он сбивается, путает слова, мертвые казенные слова, которые, сказанные дрожащим голосом, вдруг приобретают простую человеческую значимость. Сжимаются руки Терезы Буонаротти. Эмиль, как звереныш, ощерился. Мария Бабеф сложила беспомощно руки: она все еще ждет чуда. Председатель читает медленно. Между двумя длинными фразами он останавливается, как бы набираясь духу. Тогда в зале тихо, будто вошла сюда смерть. Молчат обвинители и подсудимые, заговорщики и судьи, молчат конвойные, молчат дети. Ни вздоха. И вот, наконец-то, выговаривает он жестокие слова. Директория недаром слала вестовых. Она выторговала две головы, Бабеф и Дартэ присуждены к смерти, другие «равные» — к ссылке.

Буонаротти кричит:

— Народ, ты видишь, как судят твоих друзей! Народ, заступись за твоего трибуна!

И те, что в зале, кидаются к барьеру. Блестят сабли конвойных. Команда. Топот. Взвод солдат быстро оттесняет последних защитников Бабефа. Буонаротти пробует еще что-то сказать, но крики, проклятья, плач заглушают его голос. Бабеф наклоняется к нему:

— Прощай, Филипп! Обещай мне, что ты расскажешь современникам и потомству о «заговоре равных».

Герои прериаля! Ваша участь завидна, пример ваш высок...

Ужас теперь на лицах всех. Председатель закрыл глаза рукой. Молчание. Еще нет сил у Марии Бабеф, чтобы вскрикнуть. Адвокатская мантия гражданина Реаля вся в крови. Над ним — Бабеф. И голос Буонаротти: «В сердце, кинжалом»... Тотчас же Дартэ приподымается. Он кричит: «Да здравствует Республика» и, взметнувшись, грузно сползает на пол. Жермен кричит: «Убийцы!». «Равные» кидаются к телам товарищей. Даже солдаты растерялись. Женщины перескочили через барьер. Смятение. Команда: «Холодным оружием! Арестантов в камеры! Публику вон!». Снова блестят сабли. Солдаты тащат окровавленные тела, они бьют осужденных, толкают женщин. Половина пятого. Попыхивают глаза Эмиля: этот не забудет.

Судьба не была милостива к Бабефу и к Дартэ. Их хорошо стерегли. Достать оружья им не удалось. То, что Буонаротти назвал «кинжалом», они сделали сами из пружин тюремных подсвечников. Они точили железо о пол. Они только ранили себя. Рука Бабефа к тому же ошиблась: она ударила ниже, чем следовало. Лезвие, соскользнув, прободало живот. Он не мог больше говорить. Он стонал. Когда пришел к нему врач, чтобы извлечь лезвие, он покачал головой: «Нет, не нужно»... Он очень страдал, но он еще хранил надежду умереть от раны.

Комендант Вандомы тем временем бранил адъютантов: что за разгильдяйство! Почему не позаботились заранее?.. Все были настолько уверены в гражданском мужестве какого-то Дюфо, что во-время не выписали из Блуа «исполнителя высоких приговоров». Комендант приказал вестовому гнать, что есть духу: комендант боялся, как бы Бабеф не умер до прибытия из Блуа гражданина Сансона-младшего, сына парижского Сансона. Дороги плохие — засветло он никак не поспеет. Сансон-младший действительно приехал только в десять вечера. Комендант каждый час справлялся: «живы?»... Бабеф и Дартэ лежали на соломе, покрытой бурой, запекшейся кровью. Они не жаловались, не стонали, они даже не попросили глотка воды. Но они жили, и тюремщик всякий раз успокаивал коменданта: «Чего им!.. живут...».

Пять часов утра. Гражданин Сансон со своим помощником подымают Дартэ. Тот упирается. Живьем он не дастся. Он открывает рану. Кровь хлещет. Руки Сансона в крови: впрочем, ему не привыкать. Полумертвый Дартэ еще силен. Он выбивается. Его связывают. Несут. За ним Бабефа,

На площади Арм народу мало: слишком рано. Вандомцы еще спят. Несколько зевак. Несколько преданных Бабефу патриотов. Весеннее утро. Солнце. Сирень в саду аббатства. Бабеф жадно обводит глазами площадь: кто-то рассмеялся, кто-то дружески махнул рукой. Вот она, Мария!.. С нею дети. Кай на руках. Да, спасибо, верная подруга! Пусть дети видят...

Сансон еле справился с Дартэ; ему помогали два тюремщика. Дартэ кричал, уже лежа под ножом. Теперь черед Бабефа. Он на эшафоте. Он напрягается. Он говорит:

— Прощайте, друзья! Прощай, народ! Я умираю с любовью...

Кай, улыбаясь, смотрит на блестящую игрушку: нож гильотины падает.

Трибун народа Гракх Бабеф умер 8 прериаля года V, а по старому летоисчислению 27 мая 1797 года, тридцати шести лет от роду.

Тела казненных по распоряжению коменданта были выброшены за город в канаву. Родным их не выдали. Осужденных к ссылке снова посадили в клетки. Жермен воскликнул: «Пошлите меня в Кайену, я и там буду продолжать... если не будет ни одного человека — с попугаями!..». Когда изгнанники приехали в местечко Сан-Ло, к ним вышел навстречу мэр и все граждане. Мэр обнял Буонаротти:

— Мы вас приветствуем, как борцов за святое равенство...

А Директория праздновала победу: бал у Барраса, прием у Карно. В день казни Жорж Гризель получил награду за свои бескорыстные услуги: саблю с поясом. Ему выдали также тридцать франков серебром. Трудно сказать, что продиктовало эту скромную цифру: евангельский пример или же финансовые затруднения граждан-директоров.

Палачу Сансону-младшему и тому заплатили больше. Гризель ведь сделал свое, а без династии Сансонов существование Франции казалось немыслимым. Вечером Сансон-младший напился допьяна в кабачке «Барей». Он хвастался, что Сансоны служат государству уж сто двадцать лет, что без них не было бы ни Капетов, ни Барраса. Кто прикончил анархиста Бабефа? Разумеется, Сансон!

Ночью пастух Пьер, возвращаясь в деревню Монтрье, увидел два трупа. Он покрыл их ветками, а вернувшись домой, рассказал о своей находке односельчанам. Луи Вардур, который как-то ездил в Париж за солью, сказал:

— Это — Бабеф. Он был честный человек, за это его убили.

На заре крестьяне деревни Монтрье подобрали тела Бабефа и Дартэ. Они их благоговейно похоронили. Они не знали ни патриотических песен, ни тех красноречивых слов, которые говорят в Париже на похоронах республиканцев. Они молчали. Только тот же Луи Вардур сказал:

— Его звали «трибун народа»... За это его и убили... Его и другого.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ.

(Рассказ).

Алексей Жабров.

I.

Посреди аэродрома — ангары, длинные, низкие, как поставленные в ряд ящики. Сзади них — такие же низкие склады и мастерские; водонапорная башня одна высится над этими, странными для постороннего взгляда, постройками. На башне, над ангарами, над всем аэродромом, на высокой мачте реет легкий, как детский шар, белоснежный конус [1]. За аэродромом — простор степи, полей; восток разрисован синью далеких, похожих на застоявшиеся облака, Крымских гор, а запад тонет в морских глубинах.

Когда солнце, выбравшееся из-за подножия Чатыр-Дага, еще лежит на горизонте, как в вате, в полосе предрассветного тумана, весело начинает жужжать аэродром; в полдневные часы, когда жарко задышит степь, он затихает, чтобы часам к четырем ожить вновь, — и устало засыпает лишь после того, как солнце, расплывшись красным эллипсом, утонет в море.

Один за другим взметываются самолеты со старта, проносятся над крышей главного здания школы, и его опустевшие коридоры гулко вторят их моторному реву. По большому кругу несутся машины и, будто замедляя к границам аэродрома свой стремительный лет, кажутся в далеком степном мареве диковинными, длиннохвостыми жучками, тянущимися, как по нитке, по небесной тверди. А выше этого, словно заведенного, воздушного круга, резвясь в бездонной голубизне южного неба, поблескивая на солнце крыльями, то надрывно захлебываясь моторами, то внезапно умолкая, — плетут затейливые воздушные узоры фигурные машины.

Внизу, по зеленому ковру, послушно ползут только что севшие самолеты, а на старте, мягко шелестя на малом газе винтами, несколько машин нетерпеливо ждут своей очереди, ждут разрешающей отмашки белым флажком дежурного по старту, чтобы вслед за тем, обрадованно

[1] Указатель направления ветра.

рявкнув «полным газом» и бросив в оставшихся на старте пыльный вихрь,— взметнуться в родную стихию. Но вместе с пылью стелется по аэродрому и запах перегорелого бензина и касторки [1]), легкий бриз, вяло надувающий белый конус на мачте, не успевает уносить этот запах, который в тысячу раз приятнее всяких «коти» и «убиганов» для ученика-летчика.

II.

— Чорт бы их побрал... эти праздники!.. Смотри только, как инструктора летают! — пробормотал учлет [2]) Размахов, когда из-за нависшей над пляжем горы, заглушая шум прибоя, вырвался моторный рокот.

Самолет, описав над морем дугу, исчез за обрывом.

Размахов закрыл глаза и, невольно прислушиваясь к ритмическим ударам волн и монотонному шуршанию гравия, снова забылся под ласковыми лучами весеннего солнца.

Но вот из-за горы стремительно вынесся и полез вверх — круто, как по лестнице, маленький истребитель. Его колеса, казавшиеся под изящными крыльями слишком большими, торчали вперед настороженно, словно выпущенные лапы хищной птицы, готовой ринуться на свою добычу. Мотор ворчал тяжело, надрывно...

Через минуту машина над громадой моря казалась игрушкой, подвешенной к небу за невидимую нитку.

Вдруг она метнулась вперед и быстро, но плавно закружилась восьмерками на крутых виражах.

«Наверно, Кальвинский!..» — подняв голову и не спуская глаз с машины, подумал Размахов.

Внезапно машина взмыла, прочертила колесами на синеве неба петлю, другую, игриво перевернулась несколько раз через крыло, снова закружилась на красивых, уверенных виражах... Опять взмыла... Она крутилась, перевертывалась, скользила, стремительно неслась штопором в море, и, ни на секунду не успокаиваясь, то в полной тишине, то под звонкий металлический аккомпанимент мотора, — металась, как безумная птица, в дикой воздушной пляске.

— Ч-чорт... Вот летает! — восторженно вскричал Размахов, когда самолет, последний раз блеснув на солнце крылом и поперхнувшись мотором, скрылся за горой. Минуту Размахов смотрел, словно завороженный, на умолкнувшее небо, затем снова раскинулся на песке.

Но когда же Кальвинский его выпустит [3])?!. Последнюю неделю он уже совсем не поправляет его в воздухе и после посадки всегда скажет: «Очень хорошо!» — а ведь Кальвинский не щедр на похвалы. Похвалит, но тотчас же прибавит что-нибудь вроде: — «А вот на вираже-то у вас...» — и, строго глядя из-под овала полетных очков, тут же в машине начнет

---

[1]) Некоторые авиамоторы в качестве смазочного потребляют касторовое масло.

[2]) Ученик - летчик.

[3]) Выпустит в первый самостоятельный полет.

объяснять — с непременным заключительным: — «Ну-те, поняли, товарищ?..». Безумно хочется сказать инструктору, что он, Размахов, давно уже все понял, все усвоил и уверен, что не только не угробит машину, если его одного пустить в воздух, но даже «покажет класс»... Но вместо того он только коротко, по-военному, оторвет: — Понимаю, Николай Петрович! — Так как дальше Николай Петрович ожидающе молчит, то Размахову ничего не остается, как с сожалением вылезть из машины, чтобы уступить место товарищу. Ничего не поделаешь: дисциплина!..

Летать!.. Быть летчиком!.. Управлять самой чудесной из машин, когда-либо созданных человеком, — машиной, которая сильнее левиафана, быстрее птицы, но послушна более, чем ребенок! Направлять мощь и порыв машины едва лишь приметными движениями, более тонкими, чем движения рук пианиста, но созвучно, остро, молниеносно отвечая ударами своего сердца, токами нервов, всеми извилинами мозга биению мотора, свисту тросов, задуванию встречного ветра, всему ее стремительному лету над низвергнутой землей!.. И с того самого дня, когда Размахов впервые «подержался за ручку» [1]), он, как и все его товарищи по школе, уже отравлен навсегда, на всю жизнь, отравлен воздухом, машиной, скоростью, — всем тем, что так полно укладывается в этом простом, знакомом с детства, слове, но звучащем необыкновенно, сказочно, когда оно относится к человеку, — в слове: летать...

— Ну, уж завтра-то он меня, наверное, выпустит!.. — вслух подумал Размахов, и при мысли, что он скоро-скоро будет летать самостоятельно, Размахов возбужденно вскочил, потянулся всем своим мускулистым телом, и вдруг, без разбега, упруго перепрыгнул через большой, лежавший около него, источенный временем и морем камень.

У берега сердились косматые волны и, закручиваясь в зеленовато-стальную трубу, яростно бросались на пенящийся песок. Минуту Размахов смотрел, как они захлебывались друг другом, и словно выжидал что-то... Затем он сделал глубокий вдох, взмахнул руками, как крыльями, разбежался, вытянул руки стрелкой над головой, нырнул, красиво изогнувшись, в стальную трубу прибоя, и, вынырнув шагов за двадцать, фыркая и плюясь соленой водой, сильными, крупными саженками поплыл далеко в море...

III.

Мотор чихнул, рявкнул, машина рванулась...

Оставшиеся на старте учлеты, отвернувшись и пряча головы в воротники кожаных тужурок, подождали, пока не пронесло брошенный на них пыльный вихрь, и, в ожидании возвращения самолета, растянулись на свежей еще от утренней росы траве.

— Ну, так как же, Кашкин? — продолжая прерванный посадкой машины спор, чуть насмешливо спросил один из них с красивым, выра-

[1]) Выражение летчиков. «Ручка» — рычаг управления.

зительным лицом. — Согласен ты теперь, что при разбеге хвост надо поднимать очень мало?.. А?

— Ничего подобного!

— То есть как ничего подобного!.. Ведь я же тебе доказал, как дважды два — четыре, что если у машины есть запас мощности, то...

— Да что ты бубнишь: доказал, доказал... Подумаешь — какой авторитет! — раздраженно перебил долговязый Кашкин, и его прыщастое лицо попробовало изобразить высокомерное пренебрежение. — Ты еще только вчера вылетел... зеленый, а я уже давно на развороты [1]) хожу!

— Ну, это не имеет абсолютно никакого значения, — недовольно поморщился красивый учлет, — я же тебе теоретически доказал... Да вот, вот, смотри!.. — показал он на разбегавшуюся машину соседней группы. — Вот это — называется грамотный подъем!

— Да отчепись ты, Рубин! — сердито сплюнул Кашкин. — Подумаешь — проф-фес-сор!..

— Ага!.. Нечем крыть-то!.. — засмеялся его товарищ. — Мало тебе еще, вижу я, попало за сегодняшний подъем от Кальвинского...

— А раньше-то мне попадало!.. — гордо ответил Кашкин своим излюбленным словечком, означавшим не только безоговорочное отрицание, но и полнейшую вздорность утверждения оппонента.

— Что?.. Скажешь — не попало?!. Ведь мы видели, как он морщился, когда ты поднимался: у тебя хвост уж трубой, а ты все еще жмешь и жмешь... Чуть-чуть не капотнул [2])! — не унимался Рубин.

— Дурак ты этакий, Рубин! — огрызнулся на неприятное напоминание Кашкин. — Что же, по-твоему, мне с опущенным хвостом было подниматься, когда у меня мотор ни черта не тянул!?. А тоже еще болтаешь про теорию!.. — попробовал он проиронизировать над товарищем.

— Что-о?!. Мотор плохо тянул?!. — возмущенно воскликнул тот. — Петька! — толкнул он третьего ученика группы, не принимавшего участия в споре: — ты летал перед ним, — как у тебя мотор работал?

— На ять! — не поворачивая головы и продолжая шарить глазами по небу, бросил белобрысый, молоденький, с румяными, как у девушки, щеками, учлет.

— Видишь!.. — торжествующе посмотрел Рубин на товарища. — А после тебя я летал, и мотор тоже отлично тянул: ни одного перебоя! — Он уничтожающе усмехнулся: — Эх, и пушкарь же ты, Кашкин... всегда зальешь!

— Да пошел ты к ... — раздраженно замахнулся Кашкин, но в этот момент румяный учлет (его фамилия была Милаев) радостно вскричал:

---

[1]) Посадка с разворотом (при планировании) на 90°, 180° и т. д. Первое время после самостоятельного вылета ученик делает посадку, планируя по прямой — без разворотов.

[2]) Скапотировать, капотнуть — опрокинуться вверх колесами при разбеге или пробеге.

— Ребята, наш на посадку идет!..

Он возбужденно вскочил и, протирая полетные очки (его очередь была лететь), весело говорил:

— А ловко Размахов рассчитал!.. Смотрите, прямо к группе метит!..

Разозленный спором Кашкин пренебрежительно откликнулся:

— Ну да!.. Рассчитал!.. Чорта с два!.. Чего не рассчитать, коли бог [1]) сзади сидит!

— Подожди, Каша, Размахов вылетит, так живо тебе нос утрет! — подмигнув Рубину, уверенно засмеялся Милаев.

— Утер!.. А раньше-то!.. — фыркнул Кашкин.

Милаев хотел что-то сказать, но в этот момент машина мягко коснулась земли, и он, на ходу застегивая каску, побежал туда, где по его расчету машина должна была остановиться после пробега.

Когда машина, последний раз качнувшись на кочке, застыла, Милаев подбежал к фюзеляжу [2]), но его ждало разочарование: инструктор, сказав что-то Размахову, ловко выбрался из-под крыла и привычно, легко, как кавалерист с лошади, соскочил с фюзеляжа. Тотчас же жадно закурив, он сбросил тужурку и растянулся на траве.

Вылез и Размахов. Подошли остальные ученики. Механик стал осматривать мотор. Минуту спустя Милаев, у которого желание лететь лезло наружу, как вскипевшее молоко из кастрюли, подошел к инструктору и лихо козырнул:

— Разрешите садиться, товарищ инструктор?.. — и смущенно объяснил: — Моя очередь лететь, Николай Петрович.

Кальвинский улыбнулся:

— Ай, как вы спешите, Милаев!.. Летчику нужна выдержка!

Докурив, Кальвинский поднялся. Милаев, только и ждавший этого, сейчас же занес ногу на подножку самолета, но Кальвинский теперь уже строго остановил его:

— Подождите, товарищ Милаев! — и, быстро окинув взглядом аэродром, на миг задержав глаза на указателе направления ветра, повернувшись к Размахову, сказал:

— Ну-те, Размахов... Если вы не устали и чувствуете себя хорошо, то... садитесь!

Хотя эта маленькая фраза мало чем отличалась от тех обычных слов, которыми Николай Петрович Кальвинский имел обыкновение приглашать ученика в машину, хотя она была сказана так, будто речь шла об очередном с ним, Кальвинским, полете, — Размахов мгновенно понял, как поняли это и остальные ученики и даже механик, возившийся у мотора и теперь остановившийся, — что речь идет о «вылете» [3]). Эту малень-

---

[1]) Инструктор.

[2]) Корпус самолета.

[3]) Первый самостоятельный полет ученика.

кую, лаконичную фразу ждал Размахов давно, ждал трепетно и страстно, как признания. И сейчас, так неожиданно услышав желанные слова, Размахов не мог сдержать буйной радости и громко, гораздо более громко, чем было нужно, оторвал:

— Есть, товарищ инструктор!

Но тотчас же спохватившись, как бы строгий Кальвинский не нашел его слишком возбужденным, он, с трудом сдерживая свой сильный, рвущийся сейчас голос, добавил:

— Я чувствую себя прекрасно, Николай Петрович!

— Ну, ну... Валяйте! — ласково улыбнулся Кальвинский.

Размахов, расплывшись в счастливой улыбке, шагнул к самолету, где с вытянутым лицом стоял Милаев.

— Петька, дай-ка мне твои очки, а то мои — хлам!

Милаев ожил, сорвал с каски очки и, передавая их товарищу, заботливо предупредил:

— Смотри только, не будет ли тебе туга резинка!

Примеривая очки, Размахов поморгал радостно блестевшими глазами, скосил их влево и вправо (хорошо ли видно в стороны) и, весело бросив: «Нет... шикарно!», полез в машину.

Чуть-чуть дрожащими от радостного возбуждения руками он застегнул пряжку широкого пилотского ремня и потянул к себе ручку; двигая ею и ножным управлением, одновременно поворачивая голову в стороны и назад — через плечо, он посмотрел, правильно ли отвечают элероны [1]) и рули; взглянул на контакт [2]), выключен ли; поставил стрелку альтиметра [3]) точно на ноль; левая рука привычно легла на сектора мотора... Все это Размахов делал не спеша, лицо его было сосредоточено, почти хмуро, хотя в душе его все пело и радостно кричало: «Сейчас! Сейчас! Сейчас!..». Он повернул голову в сторону инструктора и хотел сказать, что он готов, но в это время Кальвинский, незаметно наблюдавший за ним, подошел сам.

— Вам удобно, Размахов? — спросил он.

— Так точно!

— Ага, превосходно! Значит так: нормальный подъем, легкий разворот, круг, посадка, высота — 300 метров, — давал инструктор задание. — Не забудьте, что без пассажира машина будет сильнее задираться, и ее придется слегка поджимать; поэтому, когда выйдете на круг, обязательно сбавьте обороты. Да не забывайте о других машинах в воздухе!.. Машина на козелках [4]) — попробуйте мотор!

— Есть!

---

[1]) Элероны — крылышки поперечной устойчивости; находятся на крыльях.

[2]) Электрический выключатель.

[3]) Прибор, показывающий высоту.

[4]) Деревянные подкладки под колеса — для удержания самолета на месте во время пробы мотора.

— Так помните же, Размахов: внимание и спокойствие... и все будет отлично! — ободряюще закончил Кальвинский, ласково улыбнувшись.

— Понимаю, Николай Петрович! — уверенно ответил Размахов и твердо прибавил: — Я готов!

Инструктор отошел от фюзеляжа. Размахов еще раз подвигал элеронами: машина ответила, чуть качнув крыльями, — все, мол, в порядке.

— Контакт?!. — кладя руки на лопасть винта, с веселым задором крикнул механик.

— Есть контакт! — тотчас же громко, но серьезно ответил Размахов, одновременно включая контакт.

Мотор, еще не успевший остыть, забрал сразу. Постепенно прибавляя газ, Размахов внимательно следил за счетчиком оборотов. Стрелка, дойдя до цифры 1 150, прочно остановилась. Мотор ревел бешено, вся машина, словно в злобе на удерживавшие ее козелки, мелко дрожала, дергая рычаги управления, как горячий скакун — удила.

Прислушиваясь к работе мотора, Размахов подождал несколько секунд, затем сбавил обороты, и мотор мягко, ровно забормотал на малом газе. И под его надежный ритм недавнее возбуждение исчезло так же быстро, как пять минут назад оно властно охватило Размахова.

Размахов кивнул, и ученики вытащили из-под колес козелки.

Поднял руку, требуя старт.

Дежурный разрешающе отмахнул белым флажком.

Размахов спустил на глаза очки, поправил их и, бросив последний взгляд кругом (не садится ли где близко другая машина), двинул газовый рычажок вперед —

— мотор радостно заворчал.

По-ученически подавшись телом вперед, Размахов дал полный газ —

— мотор рявкнул,

заревел, и машина, как скакун, почувствовавший, что удила свободны, бросилась вперед и, все ускоряя бег, стремительно понеслась по зеленому ковру...

Миг — и она, плавно отделившись от земли, стала уверенно, хорошо набирать высоту...

IV.

Утро для самостоятельного вылета было чудесное.

Солнце начало пригревать, и с моря уже потянул бриз, но такой легкий, что конус на мачте, лишь изредка вяло пузырясь, снова безжизненно свисал. В воздухе не «болтало» [1], он был чист и плотен, и машины легко, играючи взметывались в прозрачную нежность утреннего, весеннего неба и ровно, плавно скользили на посадк. х. На морской дали волнующе ярко синели пятна ряби, а зеленая площадь аэродрома как-то по-особенному гостеприимно звала учеников-летчиков, когда они оттуда,

---

[1]) Т. е. не качало машины.

с неба, выключив мотор, остро нацеливались на свои группы. Больше десятка длиннохвостых «Авро» жужжали над зеленой скатертью аэродрома, как трудовые пчелы над ароматным в утренней росе садом, и их многоголосая, мощная, металлическая песнь ласкала слух всех бывших на аэродроме людей, начиная от младших мотористов, еще с трепетом моющих самолетные хвосты, и кончая «хозяином» аэродрома — завлетом [1]), который так же легко и просто садится на любой школьный самолет, как на извозчика. И казалось: песне этой радуются не только все эти люди около ангаров, на старте, в воздухе, — но и сам воздух, и небо, и море, и полосы ярко, по-весеннему расцвеченных вокруг аэродрома полей, и даже белый конус, с ласковым добродушием плавающий на верхушке мачты...

Кальвинский напряженно следил за удалявшейся машиной. Только что докурив, он снова достал портсигар.

Вдруг рука с папиросой, поднесенная ко рту, остановилась и медленно опустилась обратно —

—там, над другим концом аэродрома, самолет, летевший впереди и выше Размахова, неожиданно повернул, перешел на спуск и, должно быть, стараясь попасть на посадочную площадку, полетел навстречу общему кругу — навстречу Размахову...

— Куда же он прет!.. Опупел, что ли!.. — зло вырвалось у одного из учеников, и, забыв про присутствие инструктора, он нехорошо выругался.

Кальвинский молчал.

По положению самолетов не трудно было заключить, что летчики, возможно, не видят друг друга: Размахову мешает верхнее крыло, а другому — нижнее.

С момента, когда верхний самолет повернул навстречу Размахову, прошло не более трех секунд, но казалось, никак не меньше минуты.

Казалось еще, что на старте стало тихо.

Кальвинский побледнел. Его пальцы нервно комкали сломанную папиросу.

Внезапно, резко, неуклюже Размахов рванулся на правое крыло — к морю, и в тот же почти момент другой самолет пронесся мимо, чуть не задев колесами его левое крыло...

Старт облегченно вздохнул.

Группа ожила.

Но в следующий момент она снова замерла —

— самолет, брошенный неопытной рукой на крыло, почти перевернулся вверх колесами, на мгновение как будто остановился в таком положении, словно раздумывая, что дальше делать, но вслед за тем, кувыркаясь, как плохо

---

[1]) Завлет — заведующий полетной частью школы.

сделанный школьником бумажный голубь, начал падать штопором в море...

— Сорвался!.. — страдальчески пробормотал Кальвинский.

Подавшись всем телом вперед, делая странные движения руками, будто он сам находился сейчас там — на этой, беспомощно падавшей в море машине, Кальвинский страстно шептал:

— Ручку от себя, ручку от себя и все нейтрально [1])!.. Спокойствие, Размахов! Спокойствие!..

Вдруг он весь преобразился и, обращаясь к ученикам, громко сказал:

— Молодец Размахов!

Машина, сделав два витка штопора, перестала вращаться, стремительно понеслась носом вниз, но тотчас же, уменьшая угол, перешла в планирование, повернув к берегу...

Меньше чем через минуту хутора, разбросанные над обрывом не далеко от школы, скрыли ее от глаз группы.

— Да!.. Будь высота метров на двадцать меньше, был бы гроб!.. — проворчал Кашкин.

Кальвинский услышал, строго взглянул на него, но, ничего не сказав, быстро зашагал к стоявшему около ангаров дежурному санитарному автомобилю.

Когда через несколько минут Кальвинский, ученики и механики группы подъезжали к самолету, будто немного виновато стоявшему на свежей, черной пахоти, — Размахов, облокотясь о чуть-чуть присевший фюзеляж, жадно курил. И сейчас было как-то странно видеть эту машину, мирно покачиваемую ветерком, и ее молодого, несколько смущенного, но так же мирно дымившего папиросой, пилота: словно прилетели они из другого мира — из небытия.

Размахов, бросив папиросу, быстро подошел к спрыгнувшему еще на ходу Кальвинскому и отрапортовал:

— Разрешите доложить, товарищ инструктор: поздно увидел встречную машину, сорвался с виража... сломан костыль!..

Размахов замолчал, но потом смущенно, как бы извиняясь, тихо прибавил:

— Межу не заметил, Николай Петрович!..

Кальвинский, удивленно смотря на своего ученика, задушевно и ласково сказал:

— Ну, что же вы мне, товарищ, докладываете!.. Ведь я же не слепой, сам все видел!.. Не вы виноваты, Размахов... Вы молодец!.. Нашлись в минуту опасности, не растерялись!.. Молодчина!

И, взяв руку Размахова, все еще державшего под козырек, Кальвинский опустил ее и сильно, дружески пожал:

— Поздравляю вас с самостоятельным вылетом!

---

[1]) Положение рулей, необходимое для вывода машины из штопора.

Затем, взглянув на часы, он весело повернулся к ученикам:

— Ну-те, товарищи, полеты мы сейчас пока закончим. — Он пошел к автомобилю, но приостановился и, взглянув на Размахова, улыбнулся: — А костыль... чепуха!.. Вы, товарищ Чудров, позаботьтесь, чтобы к вечерним полетам костыль был готов, просмотрите машину, да и свечи кстати промойте! — приказал он больше для порядка механику группы, который и сам отлично знал, что нужно было делать.

Довольно попыхивая папиросой, Кальвинский сел рядом с шофером и уехал.

А ученики и механики, прежде чем приняться за уборку машины, еще долго тормошили, расспрашивали и качали Размахова.

Краткая и достоверная повесть о дворянине Болотове.

(По его Запискам составленная.)

В. Шкловский.

Предуведомление.

Записки Андрея Тимофеевича Болотова — одни из самых знаменитых русских мемуаров. Тем не менее я решился использовать материал этих Записок, так как они более знамениты, чем известны. Записки Болотова приблизительно занимают 231 печатный лист, если к этому прибавить еще 40 частей его «Экономического магазина» и I том «Памятника протекших времен или краткие исторические записки», то мы получим почти необозримый материал. При всей своей известности и цитируемости Записки Болотова мало известны. Историк Ключевский в своей статье «Воспоминания о Новикове и его времени» говорит, что Новиков боролся с плохим романом, с плохой книгой, и характеристику тогдашнего романа и сантиментальные песенки берет из Записок Болотова, цитируя отрывок из записи 1752 года. В качестве же примера плохой книги Ключевский приводит роман «Генриетта или гусарское похищение» в 3 частях. Пример неудачен, потому что эта книга издана Новиковым в 1782 году, а переведена Болотовым, причем перевод был заказан, правда по инициативе Болотова (т. II, стр. 944).

Таким образом блестящий историк не до конца вычитал весь болотовский материал.

Для меня важно не что говорит Болотов, а то, как он проговаривается. Мне хочется увидать в человеке тон эпохи.

Источники материала, введенного не из Болотова, я не оговариваю, чтобы не пестрить текста.

Глава первая.

О происхождении дворянина Болотова.

Дворянин Андрей Тимофеевич Болотов родился в 1738 году. Отец его был армейский полковник и мелкий землевладелец.

Рождение дворянина Болотова было осложнено следующим способом. Принимала его бабка Соломонида, и роды приключились около полуночи.

Старуха молилась и клала земные поклоны.

«Вы ведаете, — писал потом Болотов по чужим рассказам, — как старухи обыкновенно молятся.

Где-то руку заведет, где-то на плечо положит, где-то на другое, когда-то поклонится и когда-то начнет подниматься с полу. В одном поклоне более минуты пройдет».

В самую ту минуту, когда Болотову Андрею Тимофеевичу нужно было свет увидать, повитуха отправляла свой поклон, и попади крест ее в щель на полу между рассохшихся досок и так переверние ребром, что его вытащить никак было не можно.

Роженица зовет бабку к себе, а она: «Постой, матушка, говорит, погоди немножко, крест зацепил, не вытащу».

И между тем барахтается на полу руками. Вздумала скидывать крест с головы, но еще хуже сделала, голова не прошла и привязалась к полу. И так осталось повитухе только просить роженицу: «Погоди немного».

На крик их пришли люди и шнурок от креста перерезали.

Дело это было 7 октября 1738 года в субботу, в маленькой деревне «Дворянинове».

Рос Андрей Тимофеевич в деревне тихо, только зубы у него пошли странно, и один зуб пророс в десну, вышел в губу и начал прорастать и ее. А другой зуб вырос в небо, но говорить Андрюше не мешал. Сейчас считают такие зубы признаком вырождения. «Дворяниново» кормить хозяев своих в то время не могло.

Было в нем только несколько семейств крестьян. Кормился Тимофей Болотов от службы, и с ним вместе ездила его семья.

Это было время войн, попыток выйти к Черному морю. Дворянин должен был быть солдатом.

Глава вторая.

О смерти отца Андрея Болотова и о гавкающей собачке.

В походах и передвижениях достиг отец Андрея Тимофеевича мызы господина Нетельгорста.

Здесь он отдал в эту немецкую семью своего сына.

Андрей Болотов прожил здесь почти год, а так как в доме никто не умел говорить по-русски, то пришлось ему перенять язык.

Но скоро с полком пришлось итти мальчику в Петербург.

Так принужден он был оставить место, которое было ему полезно и приятно.

В походе Андрюша шел около городов в строю, и сам с маленьким ружьишком вел свой взвод. И через Нарву пришел полк к Петербургу.

Только в Нарву полк не пустили, потому что комендант крепости был в ссоре с полковником Болотовым и не пустил его в крепость, как в свой огород.

Из Питера полк пошел на Выборг, а мальчика отдали в пансион Форе.

В этом пансионе не было обыкновения многому учить. Учили на переводах с русского на французский язык Езоповы басни, историю совсем не проходили, а по географии учили одну Европейскую карту.

Из этого пансиона мальчик был вызван в Выборг. Здесь русские укрепляли старый замок, пристраивая к нему новую пристройку, для которой рвали камень из того кряжа, на котором стоял сам город.

Крепость стояла посредине морского рукава или узкого залива, и главная сила ее состояла из превеликой башни. Она и сейчас там стоит.

Андрей начал привыкать уже здесь к выстрелам, сам учился стрелять в цель и стрелял так, что из трех пуль тремя попадал в мишень, и из них одною прямо в сердце.

И в это время, пособоровавшись и причастившись, умер еще не старым отец Болотова. Мальчик о нем помнил мало, и я поэтому о нем рассказать много не могу. То, что приводил Болотов, — это одни похвалы покойнику.

Болотов доказывал этим, что он не захудалого рода.

Похоронами заведывал муж сестры Андрея Травин.

Гроб был обит сукном, украшен золотым галуном и позлащенными скобами. Колесница везена была цугом коней, покрытых черным сукном: несколько сот аршин крепа и других черных материй употреблено было на обвязку офицерских шляп, рук и шпаг и на покрытие барабанов. По обеим сторонам колесницы шли, как пишет Болотов, два генерала.

После похорон все были приглашены в наипросторнейший дом в самом городе, и все трактованы были столом, а потом по обыкновению одарены были золотыми кольцами. Этим кончилась вся печальная церемония, которая стоила весьма много, но дала Болотову то удовольствие, что он мог вспоминать о знатных похоронах.

По смерти отца Болотов получил отпуск в Петербург на 29 дней для прошения о должайшем отпуске.

Здесь произошло у Болотова серьезное горе. Пожитков у отца его было хотя не слишком много, но набралось всякой рухляди столько, что потребно было несколько повозок и более лошадей, нежели сколько у Болотовых тогда было.

«Несостоятельность и ветреность зятя моего, — пишет Болотов через сорок лет, — и излишняя его поспешность, а особливо обстоятельство, что у нас после погребения не осталось наличных денег, чтоб до Петербурга доехать, было причиною, что многие вещи были тогда разбросаны, а другие за бесценок проданы. Все наилучшее отца моего платье и даже полковничий его золотой шарф были превращены в деньги.

Но ничего так мне не жаль, как настольных часов, бывших у отца моего.

Они были особливого устроения, очень не велики и уютны и представляли собой небольшой продолговатый пьедестал, на верху которого лежал бронзовый и вызолоченный мопсик, гавкающий при всяком ударении часов и представляющий весьма хорошую и смешную фигуру. Вещичка сия была такова, что мне и поныне ее жаль».

Не только гавкающего мопсика лишился Болотов.

В сущности говоря, деваться ему было некуда — служить он не мог, и получил потому отпуск в деревню до шестнадцати лет.

Травин ехал на свою деревню и гнал лошадей, не обращая внимания на племянника. Единственное утешение Андрюши была банка с имбирным вареньем, оставшаяся еще от покойного родителя.

Лекари выписали варенье для лечения, но ничего не истратили.

Андрюша поприбрал его к себе и понемногу от скуки жустарил, потому что был с самого малолетства великий охотник до лакомств.

Зато у карманных часов, доставшихся от родителя, Андрюша перервал пружину, так как не знал, что нельзя часы заводить во время тряски.

Тряска была ужасная.

Был мороз без снега, и грязь дороги замерзла грудками. В кибитке метало из стороны в сторону, и нужно было лежать, закусив губы.

Реки еще не совсем стали, и путешествующие переезжали их, накидывая доски по льду. Из деревни сестры поехал Андрей к себе в дом и приехал целым, но грязным и усталым, и вскочило на нем тогда, как он сам считает, семьдесят больших и малых чириев.

Болотовская деревушка была самая маленькая. Помещики молодые вокруг не жили, потому что были на службе, а в деревне жили одни старики.

Ближайшим соседом был дядя, скупой до того, что он не давал соли на кухню, а держал соль под замком и солил пресные кушанья на столе собственноручно.

Это он делал так потому, что соль покупалась, а деньги тогда были очень дороги.

Болотовская мать была женщина тяжелая и сварливая.

Как-то повредила она ногу и на улицу потом не выходила, а сидела дома, одевши на ногу большую войлочную туфлю. В доме из гостей бывал только поп Иларион, человек умный и осанистый. Препровождал этот поп целый свой век в вечной и непримиримой вражде с другим попом Иваном.

Истратили они на эту тяжбу все свои деньги и умерли в бедности, хотя приход был богатый.

Дом Болотовых был самый старомодный, и хотя он был большой, но жить в нем было негде. Была комната матери и еще другая, а остальные покои были нежилыми. Было в доме двое пребольших сеней, из которых передние так были велики, что Болотов через несколько лет сделал из них две комнаты.

И в задние сени поместилось бы покоя два. Но стояли они совсем пустые. Из сеней был вход в переднюю или по-нынешнему залу.

Комната эта была холодная. Все украшение ее состояло из образов простых и в киотах. Ими была заполнена вся стена.

Мебель же состояла из лавок кругом стен и длинного стола, покрытого ковром.

И стены и потолок от старости уже потемнели и сделались кофейного цвета.

Дубовый пол был еще темней, и в комнате царствовала желтая темнота. Люди в этой комнате бывали раз в год, в Святую неделю, когда в ней служили молебен.

За этой комнатой следовала другая, уже жилая, звали ее угольная.

Была она и столовой, и спальной, и гостиной.

В ней было четыре окна и тяжелая сложенная из узорчатых разноцветных кафелей печь.

Печь эта не прилегала к стене. За печью был ход, туда и выходило устье печи. Чтобы топить, сперва лезли за печь, а потом поворачивали направо в темноте. Тапливали печь дворовые бабы поочередно и таскивали всякий день скрипящие по полу концами своими вязанки хвороста и с ним, залезши к устью, прятывались и завешивались, как в конуре. Стены в этой комнате были тоже темные, но пол от частого мытья белее, чем в зале.

В комнате стояло полдюжины стульцев, длинный стол, кровать и шкафчик, который нужно было скоблить ножом, чтобы узнать, был ли он когда-нибудь крашен. А сбоку была еще комнатка, она составляла и девичью, и лакейскую, и детскую, и в ней-то и родился Андрей Болотов.

Вот вам план и рисунок сего дома, сделанный самим Болотовым.

А дворянские хоромы с колоннами появились гораздо позднее, уже после того, когда при Петре III дворянство получило вольность от службы, а при Екатерине припало к государственным землям, а сверх того получило от государства большие деньги в долг.

До этого же покупных вещей у дворян почти не было, и вот почему Болотов так помнил всю жизнь гавкающего мопсика. Заморские вещи тогда были все наперечет.

Глава третья.

Жизнь в деревне, тазанье матери и отъезд в Питер.

Отпуск сержанта Андрея Болотова еще не был выправлен, когда он приехал в свою деревню. За отпуском послан был дядька его крепостной Артамон, как умнейший человек в деревне.

Сидел пока Болотов дома и упражнялся в рисовании и раскрашивании картинок. Раскрашивание называл он тогда гвазданьем.

Первые познания в этом искусстве получил он еще в пансионе.

Того, что называется талантом, у Болотова не было, но был он человек аккуратный и терпеливый.

И от великого прилежания рисовал он очень много.

Сперва нарисовал он и раскрасил Бову Королевича — героя тогдашних сказок. А потом нарисовал целый фрунт стоящих в ружье солдат и перед ними офицера с распущенными знаменами и барабанщиком с барабаном, а так как все эти фигуры были очень нарочито велики, то Болотов вырезал их и прилепил всем фрунтом к стене подле самого того места, где сидел обыкновенно.

Мать Болотова восхищалась своим сыном.

На Пасху приехал и Артамон и известил, что по долговременным хлопотам и многим трудам удалось ему упросить отпустить барина своего для окончания наук до 16-летнего возраста.

Наступило лето, и тут благонравие впервые оставило Болотова. Начались прогулки в рощу или пруды. Эти беспутные упражнения не понравились матери Болотова. Скоро исчезли все ее прежние похвалы, и начала она его уже и побранивать и неволею заставлять учиться.

Нередко стало случаться, что, поставив сына в ногах у своей кровати, принимались она его ругать и пилить, или, как тогда говорили, тазать, и продолжала такое тазанье целый час времени.

И так это было мальчику тяжело, что лучше бы она его высекла, но нужно было терпеть, потому что старуха была нравная и легкая на гнев. Тут Болотова выручил дядя, господин Арсеньев, выписав своего племянника в Петербург.

Дали мальчику в провожатые Артамона и другого молодого дворового Якова.

Оплакала Марфа Болотова своего сына и отправила. Было это их последнее свидание, потому что вскоре после того она умерла.

В Питере Болотова отдали учиться вместе с детьми господина Маслова, а за ученье было заплачено вот каким образом: Яков был отдан в работу на канатный двор и должен был содержать не только самого себя, но и своего барина вместе с его дядькой.

Таким образом ученье Болотову почти ничего не стоило.

Жил Болотов в доме своего дяди тихо, скромно, как бедный родственник. Сидел со взрослыми, слушал разговоры, потому что комнаты своей не имел и должен был ждать, пока все уйдут, чтобы лечь спать на диване.

По смерти матери пришлось Болотову вернуться в деревню, уже полновластным хозяином.

Привез он в деревню новое платье, синее суконное, с белыми большими разрезными обшлагами и белым же суконным камзолом и исподним платьем.

Пуговицы повсюду гладкие золотые, а петли по всем местам обшиты позументом, тоже золотым.

У бессольного дяди нашел Болотов несколько книг математических, печатных и скорописных, и среди них геометрию и фортификацию. Эти книги Болотов читал и переписывал. Охоту Болотов не любил, лоша-

дей боялся и кроме переписывания развлекался только ручным чижом, которого научил вертеться в колесе, к колесу этому приделав гремящий позвонок.

Писал Болотов много и даже начал списывать многотомное житие святых — Четьи-минеи.

Но к зиме его второй и последний раз в жизни одолела резвость.

Болотов увидел, как ребятишки на дворе играют в килку.

Килка — это кругленький отрубок, который гонят палками, и похожа эта игра на теперешний хоккей. Играли в деревне тогда в эту игру не только ребятишки, но и взрослые.

Завелся у Болотова и приживальщик. Но и приживальщика выбрал он с умом — из немцев для практики в языке. Правда, немец этот язык свой почти позабыл, но и сам Болотов знал мало. А между тем, от часа к часу, срок службы приближался. Пора было, оставив немца и килку, возвращаться в полк. Сперва Болотов надеялся заехать в Питер и попроситься на продление отпуска.

Дома было устроено совещание.

Приживальщик смотрел на ладонь Болотова и чертил с нее линии и на основании хиромантической науки уверял в разных благополучиях и говорил, что Болотов отлучается из дому не больше, чем на несколько недель. По хиромантической науке выходило ехать в Питер. Так и поехали, но путь был через Москву. Проехали через Москву. Доехали до Твери, и тут заговорил Артамон: «Ехать ли нам в Петербург, а не ехать ли нам прямо в полк. Забьемся мы в превеликую даль — без толку?». Болотов возразил: «Обоза-то и запаса мы с собой не взяли».—«Это ничто, сударь,— отвечал Артамон, — ехать нам в полк через Псков, извольте заехать к сестричке, а между тем извольте с мужиками отписать домой, чтоб запас и коляску везли за нами к сестрице, где мы их и дождемся».

Сестра Болотова была замужем за офицером того же полка, в котором должен был служить Андрей. Дворянство тогда еще не взяло той силы, как при Екатерине. Махнул Болотов рукой на хиромантию и с горем поехал в полк.

Глава четвертая.

Содержащая описание начала военной службы Болотова. Действие главы этой происходит в 1755 году. Глава эта неоспоримо доказывает пользу благочестия.

Молоденький сержантик приехал в свой полк в мызу Сесвеген. Не только полк стоял в нерусском месте, но и полковник был иностранец. Этот заместитель отца Болотова по происхождению был швейцарец или, как тогда говорили, швейцар и не умел говорить ни слова по-русски.

Он прозывался Планта де-Вильденберг. Сносились с ним офицеры через подпоручика Зелера, мужа любовницы швейцарца. Зять Болотова

приобрел уже к себе благоволение Зелера и его супруги, и полковник был к нему ласков, позволяя месяцами пребывать в деревне.

Но оказалось, что положение Андрюши сложное. Покойный отец его при записи сына на службу состарил его на один год, а отпуск Болотову был дан до 16 лет.

Когда же он приехал в полк, то по полковым спискам ему считалось 17.

Войска готовились к походу, по этому случаю в полк был прислан список произведенных в чины.

Ждал себе производства и Болотов. Но, выпросив список произвождения, тщетно он искал в нем свое имя. В другом же списке с досадой прочел: «За просрочку и неявление к полку — обойден».

Полк тогда стоял в Ревеле. Приятели Болотова торжествовали. Их произвели не в прапорщики даже, а прямо в подпоручики. А Болотову и свет был не мил. Решили, что нужно ехать в Петербург кланяться и просить о производстве. Полковой командир направил мальчика к генералу-поручику, потому что сам мог отпустить его только на несколько дней.

Ранняя мудрость всегда выручала Болотова.

Прямо к генералу-поручику он не пошел.

«Провидению, — пишет Болотов, — угодно было вложить в меня мысль, что иттить не прямо к генералу, а зайтить напред в его канцелярию и спросить, когда и как бы мне пред него предстать было лучше, и коль блаженна была для меня мысль сия.

С коликим смущением и горечью вошел я в оную канцелярию, с толиким обрадованием вышел я напротив того из оной.

По особому щастью и против всякого чаяния нашел я в самих правителях его канцелярии себе милостивцев и ходатаев. Они преклонили генерала к исполнению моей просьбы».

Путь от Ревеля к Нарве лежит вдоль морского берега, и морской ветер умеряет там летний зной.

Зрелище моря было для Болотова ново. Он смотрел то вдаль, то на берег.

Берег около Ревеля похож на каменную стену. У самой воды неширокая полоса сажен на 20 или на 30, поросшая лесом, а дальше утесистая крутая сланцевая гора. Дорога местами шла по краю этой горы, и тогда прибрежный лес казался кустами, а крутизна такой чрезвычайной, что нельзя было смотреть вниз без опасения обморока.

Болотов для того, чтобы посмотреть вниз, ложился на край горы, и то голова его кружилась. По сторонам дороги шли леса. В лесах росли грибы, что доставляло особенное удовольствие Болотову, так как время было постное.

В июле месяце доехал Андрюша до Петербурга.

Он разведал о жилище графа Шувалова. Дом этот и сейчас стоит в Ленинграде на Итальянской улице, но только тогда он был так покрыт

украшениями, точно, или как в то время говорили властно, его покрыли кружевами.

Болотов смотрел на дом с внутренним ужасом.

— О, дом, — говорил сам себе Андрей, взирая на великолепные палаты, — от тебя проистекло мое злополучие, исправишь ли ты оное или нет, и с печалью или с радостью буду я от тебя возвращаться.

С робостью спросил Болотов, куда надлежит подать ему пакет, ему ответили, чтоб он шел в дом шуваловского любимца господина Яковлева.

Смиренно пришел Болотов и к этому дому, вытащил из обшлага пакет с челобитной и отношением полка и вдруг с ужасом увидел, что пакет распечатан.

Каким это образом сделалось, неизвестно, потому что берег пакет Болотов, как глаза.

Горе было великое, но Болотов сообразил, что пакет можно подпечатать.

Побежал он в Гостиный двор благим матом, чтобы купить там хорошего английского сургуча. Купец удивился Болотовской поспешности, но к изумлению дворянчика взял за сургуч обыкновенную, а не тройную плату.

Схвативши сургуч, побежал Андрюша к себе в квартиру и кричал, еще не войдя в горницу, чтобы бежали скорей за огнем.

Но, чем более он спешил, тем медленней и хуже делалось дело.

В квартире не случилось ни одного огарочка свечи. Наконец принесли какой-то осколочек курящейся лучинки. Болотов схватился за сургуч, нет сургуча — пропал.

И сколько он ни говорил: «Господи помилуй», и сколько ни шарил по карманам, — нет сургуча.

Вздурился Андрей от горя и досады. Схватил шляпу и хотел бежать опять в ряды покупать, как слуга остановил его, сказав: «Постойте, сударь, не провалился ли он сквозь карманы,—мне помнится, что в одном была дырочка».

И действительно проклятый сургуч лежал в кафтанных фалдах.

Но горе на этом не кончилось. Проклятая лучинка надымила на всю комнату и погасла.

Начали вздувать новый огонь, опять прошло несколько минут. Наконец принесли огонь. Начал Болотов подпечатывать дрожащими руками, но сургуч закоптелся, да еще капнул мимо печати. «Ой, беды по бедам», закричал Болотов и, пустившись на отвагу, опрометью побежал к господину Яковлеву.

На счастье он застал его еще дома и не вышедшим из опочивальни. Болотов успел даже перевести дух и осмотреться.

Зал был полон людей.

Тут были и знатные особы и низкого состояния люди, и все с подобострастием дожидались выхода в зал любимчика графского, для того чтобы он принял их просьбы.

Изумление Болотова еще более увеличилось, когда он увидел, что самые генералы в лентах и кавалериях не осмеливались прямо войти в яковлевскую предспальню, но с уничижением спрашивали у стоящих подле дверей лакеев, можно ли им войти, и не помещают ли они Михайле Александровичу, как называлась сия особа.

Прождали Яковлева еще с добрых четверть часа, но, наконец, распахнулись двери, и графский фаворит вышел в зал в сопровождении многих знаменитых людей и по большей части таких, которые были старше его чином.

Не успел он показаться, как все сделали ему поклон не с меньшим подобострастием, как бы и перед самим графом. Болотов стоял посредине зала на самом проходе. И по природной своей несмелости уже суетился в мыслях, но случайно Яковлев первым посмотрел на него и сделал ему легкий знак.

Болотов подступил к любимцу графа трепетными ногами и подал письмо, трепеща, чтобы не заметили, что оно подпечатано.

Яковлев с величавой осанкой принял пакет, раздернул надвое пакет и бросил на пол. Сердце Болотова трепетало и обливалось кровью. Кругом все стояли в глубочайшем молчании и глядели на Болотова, так как Яковлев читал бумаги его долго и со вниманием.

Болотов трепетал. И молился высшему существу, такому, каким он мог себе его представить, т. е. более чем полным генералом.

Вдруг случилось чудо.

Яковлев, не дочитавши письма до половины, взглянул на Болотова и спросил:

— Не Тимофей ли ты Петровича сын?

— Его, милостивый государь мой.

— О, — сказал Яковлев, — батюшка твой был мне милостивец, и я никогда не забуду его к себе приятство.

Сказав это, Яковлев продолжал читать. Но на душе Болотова встало солнце и прогнало весь мрак его сомнений. Господин Яковлев, прочтя до конца челобитную, добавил:

— Хорошо, мой друг, ходи только к обедне, и чтобы я тебя всякий день здесь видел.

Болотов не понял, что эти слова значат, и стоял в замешательстве.

Принявши прошения, уехал и Яковлев. Просители провожали его. После отъезда Яковлева Болотова обступила целая толпа молодых сержантов. Оказалось, что это все люди, обойденные производством.

Они жили в Петербурге более месяца и ни того, ни сего получить не могли и были бы уже рады, если бы им отказали. Обтерли они уже все стенки в передней, и только им было добра, что ходить к обедне. Оказалось, что Яковлев был человек набожный, а кроме того забавник, и решил он пошутить с непроизведенными сержантами и играл со всеми ими невинным способом: он заставлял сержантов каждый день ходить к обедне и в ту же самую церковь, в которую сам ездил.

И сам присматривал за ними, кто из них богомольнее и смирнее.

А на утро они опять приходили к нему, и, когда Яковлеву было досужно, говорил он одним похвалы за молитву, а другим выговоры и осмеяние.

Если кто молился плохо, то назначал ему Яковлев встряхивать Невский, т. е. итти пешком на богомолье в Александро-Невский монастырь, что от Итальянской улицы не близко.

Или назначал Яковлев сержанту положенное число поклонов, да с тем, чтобы молился он в церкви перед ним. Люди сержанты были молодые, и им эта игрушка уже наскучила. Болотов был молод и смирен, он решил, что приказание нужно исполнять точно, и, ни мало не медля, прямо из передней пошел тотчас в ту церковь, где находился Яковлев. Он стал на таком месте, где Яковлев мог его совершенно видеть, и начал молиться наиприлежнейшим образом. Это возымело хорошее действие. Господин Яковлев примечал все движения Болотова до наималейшего.

Болотов молился аккуратно, как артикул метал.

По утру на другой день пришел Андрей в переднюю первым и в зале место занял, а вскоре пришли и другие сержанты. Яковлев вышел к ним в халате и начал с ними забавляться и публично хвалил Болотова, говоря, что хотя он и моложе всех, однако прилежнее всех молится богу.

Расспрашивал Болотова о матери, о полку и говорил с ним ласково и приятно, однако о производстве не упомянул ни единым словом.

Проводив Яковлева к обедне, побежали сержанты в канцелярию и справились, нет ли новых о них приказаний.

С радостью услышали они, что челобитные их отданы в канцелярию, и что дело только за подписью графа.

И так начал жить Болотов в Петербурге, питая сладчайшие надежды и ходя ежедневно к обедне. Так как все послеобеденное время делать ему было нечего, то ходил он по городу. Так попал он в Академию, где тогда торговали книгами, и там купил «Жиль Бляза». Эта книга тогда только что вышла.

Наконец приехал граф Шувалов из Царского села и решил сержантовскую судьбину.

Однажды, не зная еще о графском приезде, пришел Болотов очень рано на двор к господину Яковлеву. Не успел он войти в канцелярию, как бросились на него канцелярские служащие и начали щипать и сдирать с обшлагов его позументы.

Болотов понял, что̀ это обозначает, и с неописанной радостью уступил им эти лыки.

Тут вышел сам Яковлев и поздравил сержантов с производством. Причем заявил, что производит он всех за одного Болотова и его к молитве прилежности.

Болотов был произведен со старшинством наравне с прочими, но так как вакансии в его Архангелогородском полку все были заняты, то пришлось ему ехать сверхкомплектным.

Радость Болотова была велика.

Не успел он подойти к караульне, как первый же часовой, увидев его, как офицеру ружьем своим отдал честь. Это так понравилось Болотову, что он пошел обратно, и опять ему отдали честь. Он шел, выставляя свой темляк, чтобы все видели и знали, что он офицер и человек патентованный. Одно его огорчало, что гвардейские солдаты ему честь не отдавали.

Глава пятая.

Содержащая описание занятий гокус-покусным или фиглярным искусством, а также описание выступления армии российской в поход против короля Фридриха, многими называемого Великим.

Обратный путь Болотова к полку был благополучен. Только при переправе через одну из рек сорвалась лошадь с плота. Река была небольшая, но быстрая и стремительная.

Болотова сорвало с лошади, и осталось у него только силы кричать: «Ах, Яков, Яковушка, спаси».

Два раза подплывала добрая лошадь к берегу, но не могла выбраться из воды из-за глубины и крутизны берега.

Более ста сажен несло путников вниз по течению. Наконец Яков усмотрел кустарник на берегу и направил на него лошадей. Здесь было за что ухватиться, и лошади справились. Насилу вышли на берег, и тут случилось новая беда. Вода с обоих текла ручьями, но время было теплое, и не это Болотова испугало. В тороках у седла был у него сахар, и сахар этот подмок. Развернули его из бумаги, но оказалось, что сахарная голова растаяла почти наполовину.

Горе взяло Болотова. Что делать. «Ешь, Яков, — сказал он, — сколько можешь, и мне подай». Яков поел-поел, но скоро сказал, что больше не может, и ему уже тошниться начинает.

И Болотов поел и тоже съесть не мог всего.

Пришлось с горя отдать сахар проезжим чухонцам.

В полку Болотова приняли хорошо. Службы ему почти никакой не было и состоял он вроде как адъютантом при одном ротном командире, хорошем и всегда пьяном человеке. Если бы не белая горячка ротного командира и не черти и зеленые мальчики, которых он в своей комнате ловил, то жили бы офицеры в своей горенке мирно.

Офицер был князем и кроме белой горячки отличался чрезвычайной ленью, которая доходила до того, что он иногда по целой неделе не умывался и не чесал себе голову. А чтоб не одеваться, то целый день, даже без исподнего платья, в тулупе валялся на кровати.

Но и здесь Болотов нашел себе развлечение.

Один из унтер-офицеров полка знал гокус-покус или фиглярное искусство, которому научил его некий еврей.

Никак не соглашался он открыть Болотову все свои тайности, но когда Болотов обещал фокуснику сержантский чин, то искусник смягчился.

Трудно изобразить всю радость Болотова, когда он увидел и узнал, что все мнимые эти непостижимости составляли сущие безделицы и зависят единственно от некоторого проворства рук и от фальшивых инструментов.

Быстро научился Болотов этому искусству. Унтер-офицер стал сержантом, а в награду сверх того подарил офицеру список со знаменитой тогда трагедии г. Сумарокова «Хорев».

Фокусник сам умел ее читать и научил Болотова прокрикивать стихи и с жестами делать декламацию.

Тихая жизнь нарушена была только тем, что отправили подпоручика к Родервигу. Здесь была каторжная тюрьма, учрежденная еще Петром I.

Петр хотел устроить здесь также порт, соединив остров Рогер с берегом.

Работа каторжных состояла в ломании в тутошнем каменистом береге камней, в ношении их на море и кидании в воду, дабы сделать от берега до острова каменную широкую плотину, которую они называли мулей.

Но вот этого самого сделать было и не можно, потому что, как скоро от берега удалялись, то начиналась более чем тридцатисаженная глубина.

Дно морское было так гладко и каменисто, что никак нельзя было утвердить основание.

Одна большая буря раскидывала и сносила то, что в лет пять накидано было.

Со всем тем сделано было тогда сей мули более 200 сажен.

Впоследствии, при Екатерине, муля была почти готова, и императрица проехала по ней в карете, с четверкой лошадей в ряд, а после этого мулю опять размыло. Каторжных водили на работу, окруженных со всех сторон беспрерывным рядом солдат с заряженными ружьями.

А чтобы они во время работы не ушли, то была сделана в начале муле маленькая крепостца, в которой ставились часовые, а, кроме того, на мули были пикеты и команды.

Тюрьма расположена была в самом местечке. И состояла она из толстой стены, внутри которой была огромная связь, разделенная внутри на казармы.

Каторжников было около тысячи. Некоторые жили внизу на нарах, но большая часть спала на привешенных к потолку койках.

Среди каторжников было много мастеровых, которые занимались своими рукоделиями. От этого сильно наживались командиры, потому что те каторжники, которые имели больше достатка, пользовались и некоторыми перед другими выгодами.

Они имели на нарах собственные свои отгородки и даже каморочки и не хаживали по благосклонности командиров никогда на работу.

А на работах было тяжко. Стоять нужно было и каторжным и солдатам на ветре, дожде и снеге без всякой защиты.

Хуже других было среди каторжников сектантам, потому что велено было их заковывать в тройные железа.

Стоял Болотов тихо, смирно, за девицами не ухаживал, потому что ему казалось, что все дурно и стыдно, и был он сам не свой, когда бывал в компании с молодыми девицами.

Бегал от них, как от огня, и доходил иногда прямо до дурачества.

Смолоду Болотов любил разговаривать больше со стариками, дружил с ними и любовался их милым покоем.

За тихое поведение имел от хозяев Болотов всегда уважение, стол, комнату и содержание своей лошади. В долгие вечера отправлял Андрей Тимофеевич все ротные дела, а исправивши их садился за свой стол и начинал приватную работу. Он переводил книгу «Малослыханная и бедственная жизнь и похождения Якова Пикартуса, бывшего потом милордом в Англии». А потом, если оставалось время, играл со стариками в ломбер по полукопейке.

17 апреля 1757 года полк получил секретный ордер, чтобы ему немедленно выступить из своих канонир-квартир и итти в Ригу, как назначенное для рандеву всей армии место.

Болотов расстался с семейством, в котором жил, и выступил вместе с полком.

До Риги полк шел прохладно, но в лагере под Ригой было получено приказание, чтобы офицера все ненужные вещи оставляли и повозки облегчали.

Турили к этому и понуждали чрезвычайным образом.

Офицера, сошедшись, жаловались друг другу и говорили, что ежели и впредь все будут такие порядки, то толк не велик будет. Однако ропот не помог.

Начиналась великая война, называемая потом семилетней. Пруссия боролась с Австрией. На стороне Пруссии было подымающееся экономическое значение страны и новый военный регулярный строй. В борьбу против Пруссии вступила и Франция, а наконец и Россия. При российском дворе боролись послы, перенанимая армию российскую. И вся война потому носила странный и нерешительный характер.

Но в начале войны казалось, что дело будет решено скоро, так как Пруссия была окружена врагами со всех сторон.

Архангелогородский полк, вместе с Гренадерским и Ростовским, составили одну бригаду.

Армии было приказано итти церемонией в город Ригу и перейти по сделанному мосту через Двину-реку на отведенные на той стороне лагеря. У всех солдат воткнуты были на шляпы зеленые древесные ветви, как бы для предвозвестия будущих побед.

Перед армией маршировали собранные курьеры всех полков той бригады, с распущенными значками при предводительстве своих квартир-

мейстеров. Эта команда с разноцветными своими маленькими знаменами составляла первое великолепие шествия. Потом шел штат, и ведены были запасные лошади командующего бригадой генерала. Прекрасные попоны лошадей увеличивали великолепие. По всей армии у всех генералов попоны были одинаковые и хотя не богатые, но великолепный вид представляющие. Они сделаны были из вощанки, но расписаны и размалеваны разными красками и издали казались шелковыми. На попонах изображены были золотом вензеля и гербы генералов.

За генеральскими лошадьми шли пушки с ящиками снарядов. Затем ехал сам генерал в сопровождении своего штаба. За генералом шли полки церемонией, с распущенными знаменами, с барабанным боем и с военной музыкой. На гренадерах были кожаные и наподобие древних шишаков сделанные каскеты с плюмажами, что, конечно, увеличивало великолепие.

Болотов шел со своей ротой, он был полон убеждением в храбрости и непобедимости наших войск и мечтательным воображением о том, что русские войска по множеству своему могут заметать немцев шапками...

Глава шестая.

О походе русской армии, разорении мирных жителей, первых трупах и других военных предметах.

В походе войска шли медленно, только пройдут немного, вдруг закричат: «Стой». Трудно было двигаться по плохим дорогам, глубокими колоннами. Болотов ехал с переводным романом в кармане на смирной лошади. И, как скоро закричат: «Стой», немедленно принимался читать.

На 22 мая полк был уже на чужой польской земле, и тесто делали в мешках, а пекли хлеб в полевых печах, выкопанных наподобие нор. Со всем тем хлеб вышел порядочный.

К 28 числу, пройдя через Ковну и перейдя реку Неман, армия оставила свои обозы и, взяв провиант на трое суток, пошла вперед.

И 28-го, накануне Петрова дня, вся армия была построена на пространном поле в ордер баталии (в боевой порядок) в две линии. Оказалось, что это опять маневры.

Фельдмаршал проехал вдоль строя и любовался зрелищем многочисленного полчища народа, в его повелении находящегося. Он ехал с многочисленной свитой из множества генералов и иностранных волонтеров, а также нескольких десятков чугуевских казаков, гусар, кирасир и других конных войск. Бригадные командиры при приближении фельдмаршала скакали к нему и отдавали ему честь шпагой.

А бригады в то время производили гром на барабанах, играли во всех полках музыкой и преклоняли знамена.

Потом началась примерная стрельба.

По выстрелу сигнальной пушки стреляли полковые орудия, потом по вторичному сигналу стреляла вся армия по шеренгам, а по третьему

сигналу учинен был всей армией из пушек и мелкого ружья генеральный залп.

На следующий день парад продолжался уже по случаю благополучного взятия пограничной крепости Мемель.

Стрельба была столь велика, что нечаянно зажглись соседние деревни, и пожар чуть не уничтожил всю нашу артиллерию.

Стояли в лагере почти целых десять дней, давая тем временем прусскому королю оправиться.

Потом прошли немного и в другом местечке опять стояли четыре дня.

К 15 июня пришли к польскому местечку Вержболово. С этого места начиналась прусская земля. На прусской земле на ночь начали окапываться и строить бикеты и редуты, утомляя этим солдат до чрезвычайности.

Кроме того перед фронтом ставили рогатки.

Скоро начались уже и передовые стычки. При русской армии были казачьи части, а также отряды легких народов — конных киргизов и башкиров.

Эта легкая кавалерия не имела успеха при первых столкновениях с пруссаками, но причинила жителям армии великое зло. Войска, будучи рассылаемы всюду для разведывания о неприятелях, жаловались на то, что будто мужики из деревень в них стреляют. И потому не стали щадить ни виновных, ни правых, и во многих местах от жадности к прибытку начали производить большие разорения.

Жителей из селений не только разгоняли, но и мучали, били и грабили, а иногда и сожигали.

Слух об этих разорениях и варварствах рассеялся повсюду. Но разлакомившихся наших казаков после и унять не было способа, и причиненные ими разорения самим русским обратились во вред.

Пока же русские войска шли по большим дорогам, местами еще не разоренным. Деревни удивляли русских чистотой и хорошим расположением. Дороги повсюду были хорошие и в низких местах мощеные.

И так как еще не было произведено никакого разорения, то жители находились перед своими домами, а немецкие бабы и девки поили водою мимо идущих солдат.

Фридрих в это время был в Австрии, двигаясь, как всегда, по внутренним операционным линиям и кидаясь то на одного, то на другого противника.

Наши войска входили в страну почти без сопротивления. На третий день окрестности изменились — показались разоренные дома, в которых не было не только ни одного целого окна, но даже ни одной целой печи. Все было уже разграблено и увезено. И одни только перья и пух рассыпаны были на полу в избах, ибо наволочки казаки с собой увозили, вытряхивая перины наземь.

Скоро, за городом Гумбиненом, в котором приводили к присяге императрице Елизавете всех немцев, увидел Болотов первого неприятеля. Однако не живого, а убитого.

В лесу, на походе, сказали ему, что в стороне под кустом лежит тело.

Болотов с великими любопытством поскакал посмотреть. Под кустом лежал человек крупного роста и с большими усами. Лежал навзничь, совершенно обнаженный и от жары весь раздувшийся и отекший, как от водяной болезни, так что без ужаса и сострадания смотреть на него было невозможно.

Вести о грабежах поступали со всех сторон.

Женщины прятались от казаков в камышах, но их и там находили. Здесь увидел Болотов в первый раз виселицу и не сразу понял, что это значит.

Полк вывели во фрунт и окружили им какие-то сооружения. Солдаты увидели несколько скованных прусских мужиков. Преступление крестьян состояло в том, что они стреляли из-за кустов по нашим солдатам, и так как беспокойства эти были весьма часты, то определено было для устрашения прочих нескольких пойманных казнить смертью.

Повесили перед полком тогда двух, а одиннадцати человекам, преступление которых не было доказано, отрублены были на руках пальцы, после чего они были отпущены. Экзекуция не помогла делу, и поездки за сеном стали опасными предприятиями.

В прочих продуктах у армии не было недостатка. Скота и крупного и мелкого, а особенно гусей, было много. Барана покупали у казаков по 10 копеек, а гуся за 5 копеек и за 4. Это происходило потому, что жители, разбегаясь в леса, успевали угонять с собою только крупный скот.

В этих же местах встретились русские в первый раз с картофелем. Во всех ближних и дальних местах насажены были большие огороды, и так как он уже начинал поспевать, то солдаты скоро о нем прознали, и он в один миг очутился во всех котлах варимым. По непривычности к этой пище произошли в армии жестокие поносы, так что фельдмаршалу пришлось переносить на другое место свою палатку, а среди солдат умерло несколько сот человек.

Не нужно удивляться на те грабежи, которые производила русская армия. Это было в нравах тех времен и почти покровительствовалось. И до 1812 года в русской армии выражение «поднять на царя» обозначало разграбление какой-нибудь местности. И грабеж таким образом был освящен самым именем правительства. После 1812 года выражения изменились.

Глава седьмая.

Содержащая описание Эгерсдорфского боя. Так как это единственный бой, виденный Болотовым, то глава будет длинная.

Армию в походе можно сравнить с большим и многонародным городом. В таком городе человеку, находящемуся в одном углу, нельзя знать, что на другом краю делается. Самые предводители не могут в точности знать всех подробностей при баталии.

Общее смятение и замешательство, шум, вопль, густота дыма и повсеместная опасность осведомленности препятствуют. Эгерсдорфское поле высокое и ровное место, не столько широкое, сколько длинное: в ширину оно не более полуверсты, а в длину версты на полторы или на две.

С двух сторон окружал это место большой частый и густой лес, а с третьей стороны пересекал поле глубокий овраг с протекающей в нем небольшой речкой, впадающей в реку Ревель. Таким образом окружено это место почти со всех сторон, и выход из него только в двух местах: в одном краю, где между лесом небольшая прогалина, а на другом — между лесом и оврагом также небольшое пустое пространство шириною на четверть или на полверсты.

Место это, по тогдашним понятиям, было для боя удобно, по причине прикрытых флангов. На этом месте разбили лагерь. Неприятеля никто не чаял, и думали все, что он не иначе, как верст за сто.

Перед полуднем, однако, услыхала армия вдали три пушечных выстрела, а потом еще два. Армия насторожилась, но так как никакого шума и приказаний не делалось, то сочли войска выстрелы эти за наши. И тотчас же перестали о них думать.

И только через час времени сделалась в армии великая тревога. Началось ужасное скакание, гоньбы адъютантов и ординарцев и военное замешательство. Войска построились во фрунт и помышляли, что не иначе как неприятель уже наступает. Но ожидание не долго продлилось. Опять прискакали вестники с повелением, чтобы солдат распустить опять по палаткам и впредь уж слушать сигнала из трех пушек.

Только успели разойтись солдаты, в часу четвертом после полдня услышали все сигнал к тревоге.

Войска опять построились во фрунт, и все уже меньше боялись, чем прежде, думая, что опять распустят. Но приехали предводители бригад и вдруг повели полки с распущенными знаменами вон из лагеря.

Тут затрепетало сердце Андрея, и простился он с лагерными своими знакомцами жалобно и поспешно.

Думали все, что идут прямо к неприятелю и не только его увидят, но тотчас начнут с ним драться. Но, выйдя в поле, не приметили в оном ни одного человека и удивились в том чрезвычайно. Несмотря на то, становили все выведенные полки в порядок и построили их версты за две в две линии между обеими находящимися среди поля деревнями.

Построились, а потом, не сделав ничего, а только сожегши одну деревню, повели войска обратно в лагерь.

Ночь была тревожна. Солдаты спали уже усталые, потому что строй того времени был трудный и путаный. Произносились тогда двойные и тройные команды, например: «полурядами и четверть шеренгами, во фрунт, вперед и назад, а также назад и вперед». Или так еще: пополушеренежно, наружные трети рядов, вперед и назад, влево и вправо, а также вправо и влево, заходи».

Но утром забили не генеральный марш, а зорю обыкновенным порядком.

Тишина и спокойствие продолжалось до двенадцатого часу, как вдруг нечаянный пушечный выстрел обратил всеобщее на себя внимание.

Потом раздался второй и третий.

Опять повели войска с распущенными знаменами. С трудом продрались через тесные проходы в поле. Целая половина поля покрыта была многочисленным народом. Фрунты обеих линий были между собою на такое расстояние и в длину простирались так далеко, что концы не можно было никак видеть.

Две линии стояли неподвижно, а между ними скакали конницы, командиры, адъютанты, ординарцы и суетились военноначальники.

День случился прекрасный. Оружие блистало. Но пруссаки не пожелали принять боя. Войска стояли бесцельно. Стояли более двух часов, и день уже начал клониться к вечеру. Тогда, выстреливши несколько раз из большой пушки в лес и сжегши вторую деревню, повели военноначальники полки обратно.

Но вечер был тревожен.

Наши войска услыхали сигнальный вечерний пушечный выстрел в неприятельском лагере, а потом услыхали все, как били прусские барабаны вечернюю зорю.

К ночи был роздан по всей армии приказ, чтобы солдат всех вывести во фрунт, и чтобы полки в ружье ночевали, снабдив себя провиантом на трое суток.

Все заключили, что на утро лагерь снимается, и армия идет в поход.

Спали тревожно.

Войска Фридриха были для всех знамениты победами, порядком и оружием. Наши войска рассчитывали на многочисленность и секретные шуваловские гаубицы. Гаубицы эти возили при строе. Дула их были закрыты медными сковородами, замкнуты на замок и запечатаны.

19 августа предводители на военном совете единогласно решили, что неприятель не хочет дать баталии и боится показаться в поле и намеревается, очевидно, только защищать проходы через лес. Поэтому решили итти на неприятеля, обходя лес.

Решено было обоз оставить на месте и итти, взяв провианту только на трое суток.

Таковы были распоряжения с нашей стороны. Но пруссакам наши намерения обойти их кругом были ведомы, и они решили воспользоваться случаем и напасть на нас врасплох в то время, когда армия только что тронется с места.

И так утром армия русская двинулась. На узком проходе случилось к несчастию нашему протекать грязному ручью. Через этой ручей пробираться должны были передовые обозы, и так как при этом получали они небольшую остановку, то получилась теснота и замешательство. И вот в самое это время, когда войска с обозами были перемешаны, и узкий про-

ход, через который главной армии выходить надлежало, был забит, в самое это время тихая молва по всему войску и обозу начала разноситься, что неприятель наступает и уже близко.

Молва обратилась в общий шум, и слышен был уже крик: «Неприятель, неприятель!».

Действительно, Московский полк, который был от этого узкого места вправо, увидел неприятеля и, что удивительнее всего, недалеко перед собою. И никому неизвестно было, как неприятель сквозь свой дальний лес прошел, как на поле вышел и как успел построиться на пространном Эгерсдорфском поле.

Сделалось тогда всей русской армии и обозам смятение. Кричали: «Сюда артиллерию!». Другие кричали: «Конницу посылайте, обозы прочь!». Все с помертвелыми лицами что-то приказывали. Полки продирались через обозы вправо и влево, влево и вправо и без всякого порядка.

Одна дивизия все-таки под начальством Лопухина успела построиться. С большим трудом строились русские войска. Болотов выдрался к полю. Место его было на пригорке. Прусские мундиры ясно виднелись через кустарник, которым порос склон.

Сражение началось в начале 8-го часа. Погода была тихая, и солнце сияло, как позавчера.

Пруссаки наступали прямой линией, делая семьдесят пять шагов в минуту по артикулу. Наступление шло правее места, где стоял Болотов.

Пруссаки шли и, пришедши в размер, т. е. на действительный ружейный выстрел, дали залп. Русские не отвечали. Пруссаки, давши залп, не останавливаясь, продолжали наступать и, зарядивши на походе свои ружья и подойдя еще ближе, дали второй залп всей своей первой шеренгой. Русские не стреляли.

Уже у соседних полков пошел слух, что немцы заговорили наши ружья. И после второго залпа пруссаки продолжали наступать дальше, и в походе заряжали ружья, и, зарядив оные, дали третий преужасный залп.

И вдруг загорелся и с нашей стороны пушечный и ружейный огонь, но не залпами и без порядка, хотя и гораздо сильнее прусского.

С этой минуты и пруссаки перестали стрелять залпами. Огонь сделался с обеих сторон беспрерывным. И нельзя было уже отличить нашей стрельбы от неприятельской. Только можно было отличить шуваловские гаубицы по их особенному звуку.

Гаубицы в бою распечатали, и дуло у них оказалось особенное, не круглое, а овальное, для картечного боя.

Скоро от беспрерывной стрельбы дым так сгустился, что обеих сражающихся армий не было уже видно. Только самые кончики сражающихся фронтов не потонули в дыму и представляли собою зрелище трогающее. Обе линии находились весьма близко друг от друга и стояли в огне беспрерывно.

Наш фронт во все время баталии стоял непоколебимо.

И первая шеренга как села на колени, так и сидела.

Прусский же фронт был в беспрерывном движении.

Архангелогородский полк, к которому принадлежал Болотов, в баталии участия не принимал.

Прусские ядра ложились, не долетая до него, так как расположение полка было несколько в гору. Однако вдруг затрещал в другом влево стоящем полку мелкий ружейный огонь. Потом услышан был шум и стрельба, а в против полка стоящей батарее произошло великое замешательство. Кричали: «Сюда, сюда! Ворочай картечью, картечью!».

Пушки повернули, и началась стрельба преужасными залпами. Но неприятеля видно не было, и звук стрельбы вдруг исчез, потом и самый шум начал мало-по-малу утихать. Солдаты спрашивали, что случилось у едущих с левого фронта, и вот что узнали:

На самом левом фланге стояли донские казаки. Они поскакали атаковать стоящую позади болота неприятельскую конницу. Они загикали по своему правилу и опрометью наскакали на пруссаков, попукивая из своих винтовок. Но неприятельские кирасиры и драгуны стояли неподвижно, и казаки, не дойдя до строя, повернулись назад.

Неприятельская кавалерия погналась за казаками и, обскакивая болота, гнала их к нашему фронту. Наша пехота, видя скачущих на себя казаков, принуждена была раздаться. Прусская пехота, поэскадронно, гонясь за казаками, текла, как быстрая река, и вломилась в наш ряд.

Передний эскадрон уже прорвался за фронт и, рассыпавшись, рубил всех. Но батарея, по счастью здесь забытая, успела повернуть пушки и дала из них картечный залп. Батарее случилось выстрелить поперек скачущих друг за другом прусских эскадронов. Картечь, вырвавши почти целый эскадрон, разорвала тем стремление и скачущих принудила назад обернуться.

Пехота к тому времени сомкнулась, и прусская кавалерия погибла наижалостнейшим образом.

В остальной линии продолжался огонь жестокий, однако не с равными преимуществами. Неприятели имели более выгод, нежели наши. Их атака была ведена по сделанной наперед диспозиции. В тылу у них были резервы. Что же касается до наших, то они этих выгод не имели, ибо диспозиции никакой не было сделано, и все выдирались, как умели. И хотя наша армия была многочисленней прусской, но дралось с нашей стороны людей гораздо меньше, чем с неприятельской.

У неприятеля была целая линия, а у нас только одиннадцать полков.

Таким образом был прижат наш фронт к лесу.

Пруссаки в некоторых местах прорвались уже в самые обозы. Тут сделалось тогда наиужаснейшее смятение и бериберда.

Но тут же случилось непредвиденное для пруссаков обстоятельство. Наши стоящие за лесом полки, бросив пушки и ящики патронные, бросились через густой лес на голоса погибающих.

Прошло два полка — третий Гренадерский и Новгородский — и удалось им выйти в самое нужное место, туда, где разбитые полки дрались уже рука в руку с неприятелем. Свежие полки попали на то время, когда прусский строй в победе расстроился.

Полки, давши залп и подняв военный вопль, бросились в штыки на неприятеля, и это решило судьбу боя.

Стрельба ослабла, и дым рассеялся, и с места, где стоял Архангелогородский полк, вдруг увидел Болотов, что пруссаки неожиданно начали ретироваться.

А потом, бросив строй, побежали.

Тогда и левый фронт побежал прямо через кустарники и болота в кусты.

Солдаты бежали, смеясь и крича: «Ступай, ступай, наша взяла!». И так неожиданно и безначально кончилась эта битва нашей победой над пруссаками, почти единственной.

Но русская армия пруссаков на преследовала, а почему, о том в дальнейшем будет объяснение. Войска остались на старом месте, разбивая лагерь и разбираясь в обозах.

Севши на свою смирную лошадь, поехал Болотов осматривать место баталии. Весь пологий косогор, на котором стояла и дралась прусская линия, устлан был мертвыми телами: все пруссаки лежали уже голые, и с них не только чулки и башмаки, но рубашки были содраны. И непонятно даже было, кто это так успел спроворить, потому что время было чрезвычайно короткое, и баталия едва только кончилась. И тем не менее успели так этих людей обнаготить, что при всяком человеке лежала одна только деревянная из сумы колодка, в которой были патроны, и синяя бумажка, которой они были прикрыты. Убитые люди были крупные, здоровые. Маленькие и вверх взвихренные усы придавали мертвым вид военный и героический.

Глава восьмая.

Рассказывающая о странном нашем стоянии на реке Аале и о поспешном русских войск отступлении.

Неприятель после боя преследован не был, но на утро забили не зорю, а генеральный марш.

Выступили в поход ранним утром и пошли через лес узкими проходами. Целую половину дня тащились полки четыре версты, проходя лесами и кустарниками.

День случился жаркий, и духота такая, что не знали люди, куда деваться. Пуще всего досаждало всех то, что на каждом почти шагу полки останавливались и заставляли промедливать минут по нескольку. Не успеют сажен десять или двадцать отойти, как закричат: «Стой», и стоят полки, и пекутся на жару солдаты, а там опять двинутся шагов на пять, и опять стой.

Офицеры от жары пили воду с уксусом, но стоил уксус рубль штоф.

Отошли не более, как пять верст, и опять стали лагерем. На другой день опять заиграла музыка генеральный марш, и с остановками опять прошли версты четыре. И тут, выбравшись на поле, увидали берег реки Ааля. Через реку, шириною так сажен в десять или пятнадцать, мостов не было, а на другом берегу стоял на горе весь неприятельский лагерь.

Скомандовали: «Стой», и наша армия также стала лагерем. Неприятель выставил пикеты, а впрочем жизнь на том берегу вел тихую и мирную. Видны были разъезды, видно было, как пруссаки сменяют караулы на своих батареях и как яснятся их ружья на солнце. Ночь наши войска провели в худом покое, и только офицеры имели палатки. И те спали одетыми и даже в офицерских шарфах и знаках. Пушки были заряжены ядрами и картечью, и канонеры стояли с зажженными фитилями. Ночь случилась очень темная. Болотов в своей палатке заснул, и вдруг прибежали сказывать к нему, что в лесочке, находящемся за сто сажен от фронта, слышен шум и шорох.

Услышав это, все повскакали со сна и без памяти бросились к своим местам.

В густой тьме люди уже стояли в шеренгах. Шорох и шум в лесу продолжался. Уже прошло минут десять, уж прошло и больше четверти часа, разведка не возвращалась. Но вдруг раздались в лесу вместо условленного свиста смех и хохотание. Посланные начали возвращаться назад и сообщили, что вместо неприятеля нашли в кустах коров, бродящих привязанными на шеях жестяными погремушками. К утру, или, как тогда говорили, на утрие, был секретный приказ, услышав зорю, готовиться к генеральному маршу и, не снимая палаток и обоза не трогая, готовиться итти обходом. Сия хитрость или стратегма всех интересовала.

Реку перейти в тайности удалось. Неприятельский лагерь безмолвствовал. Оказалось, что лагерь его, виденный нами, был фальшивый и пустой, а прусская армия уже ушла к Кенигсбергу.

В армии был великий ропот, но Апраксин на военном совете сказал, что у армии нету провианта и фуража и подписал приговор о восприятии обратного похода к тем местам, где находились в заготовлении магазины. И армия отступила. Приказано было даже уменьшить число повозок, и чтобы у офицеров более одной повозки не было, а лишнее было повелено сжечь. Сказывают даже, что при отступлении брошены были пушки.

Дело в том, что императрица Елисавета занемогла и, как думают, не без отравы. Сама императрица, женщина уже не молодая, хотя и любящая носить мужское платье, мало принимала участия в государственных делах, интересуясь более шутами и несколькими сумасшедшими, которых она для забавы велела поселить во дворце, всех в одном коридоре. Говорят даже, что некоторые из этих сумасшедших были поддельные, из числа людей, стремящихся избежать наказания и попасть ко двору. При дворе шел торг — российский двор предлагал за заем Франции 30 000 штук солдат, Франция торговала у нас всю армию. Король прусский имел у нас свою

партию и за недорогую плату. Так граф Лесток был уличен в получении тысячи рублей от прусского короля. За эти же деньги Лесток отравил некоего Этингера, королю помешавшего. Так как ожидали после смерти Елисаветы на престоле Петра III, который был к Фридриху дружественен, то, узнав о болезни императрицы, Апраксин приказал отступать. Екатерина, жена Петра Третьего, впоследствии императрица, также к Апраксину писала, а что неизвестно, потому что попались только три письма, а остальные ей удалось уничтожить.

Итак, армия отступала. Повозки замесили дорогу, и солдаты ариергардного корпуса, в котором был Архангелогородский полк, шли по колено в грязи. Нельзя было нигде развесть и огонька для обогрения. Повсюду было мокро, везде вода и грязь глубокая и топкая.

Король прусский не удовольствовался отступлением нашим, а отправил за нами погоню, правда маловажную.

С горем шли наши войска до Тильзита. Тильзит — город изрядный, со строениями каменными и деревянными, и сколько с него ни брали провизии, товар в лавках еще был. Здесь фельдмаршал Апраксин решил праздновать день Эгерсдорфской. Но прусская погоня нас настигла, и пруссаки обстреливать нас начали с Тильзитского замка из пушек, забытых нами там по нечаянности.

Отступление наше убыстрилось и ухудшилось. Теплая погода вдруг переменилась и сделалась холодной и самой осенней. Мы попали в зазимье. Выпал снег. Болотов за великое счастие почел, что мог купить у казаков превеликий овчинный тулуп. Вместе с приятелем своим соединили они палатку и нагревали ее жаром в железных листах. Фельдмаршал жил в огромных ставках и теплых войлочных калмыцких кибитках. Сосед по деревне Болотова князь Горчаков пристроил Андрея Тимофеевича к обозу, и видеть положение пехоты Болотову пришлось только раз. Погода становилась час от часу хуже, и дорога гаже. В самую ночь проснулся фельдмаршал и, услышав, что не все еще обозы пришли, захотел послать туда еще одного ординарца. Князь Горчаков с сожалением пришел в болотовскую палатку и, разбудив хозяина, сказал: «Вставай, Андрей Тимофеевич, что делать, хоть и не хотелось бы мне вас потревожить, но велит самая необходимость. Не взыщите ради бога того на мне. Граф спрашивает теперь ординарца, а никого нет, кроме вас, и так пойдемте к нему». Досадно это было Болотову чрезвычайно, так как он под тулупом своим заснул. Но итти было необходимо, Андрей Тимофеевич застал фельдмаршала в огромной, богато внутри украшенной и жаровнями и спиртами нагретой, кибитке.

Апраксин лежал на пуховиках на кровати. Рядом с ним на другой кровати лежал лейб-медик.

Апраксин изволил слушать сказки о Бове Королевиче и о прекрасной королевне Дружевне от сидящего в головах у него за столиком гренадера. Прервав сказку, произнес Апраксин: «Слушай, мой друг, поезжай по дороге, сколько еще обозов по дороге, и все ли они переправились че-

рез реку. И буде не все, то сочти ты мне, сколько обозов еще не переправилось».

Приняв это повеление, надел Болотов сверх мундира овчинный свой тулуп и, укутавшись хорошенько в него и в надетую сверх того епанчу, взял в конвой себе двух казаков и пустился верхом в путь.

Не успели люди выехать из лагеря, как стали встречаться с ними погрязшие в грязи телеги. Болотов наезжал на лошадей, совсем уже издохших, и самих повозчиков едва в живе: стужа и мокрота совсем их переломили. Отъехав дальше, увидел Болотов лошадей по пояс в тине и повозчиков, от них в полуверсте лежащих без дыхания. Наконец, увидел он вдали зарево, а потом и пламя, осиявшее весь горизонт. Легко можно было заключить, что в ту сторону была и переправа.

У переправы горела прусская деревня, зажженная для освещения. Дворы крестьянские были огромные, крытые снопами и стоящие друг от друга в отдалении. И огонь со двора на двор переносили факелом.

Повозок несколько сот теснилось к переправе, и слышен был вопль, шум и треск. Все было в превеличайшем беспорядке и в такой тесноте, что не было никакой возможности повозки не только пересчитать, но даже глазом окинуть.

Потужив, Болотов сделал компанию прочим, погревшись у деревни, и пустился затем в обратный путь для донесения фельдмаршалу. Тот, не успев увидеть вошедшего Болотова, тотчас спросил: «Что, мой друг, много еще». «Очень много, ваше сиятельство», ответствовал Болотов и хотел начать рассказ. Но Апраксин отпустил Болотова, а гренадеру приказал продолжать. И гренадер продолжал тем же голосом:

—...И те пришед кликнуть прежних сорок человек, и никакого ответа от них не слыша, и они также один по одному начали опущаться, а Бова и тех сорок человек всех мечом перерубил до единого человека и человека на человека всех их поклал и по выходе тотчас побежал к царю...

Здесь можно кончить главу, так как сказка была длинная, и Апраксин вероятно заснул.

Глава девятая.

Рассказывающая о занятии российскими войсками столичного прусского города Кенигсберга и извещающая также о судьбе Болотова в дальнейшем.

Апраксин был вызван в Петербург на допрос и при допросе умер скоропостижно. Граф Бестужев, в том же деле замешанный, отправлен был в ссылку. Российский двор получил новые от иностранцев субсидии с приказанием двинуть войска, и против обычаев того времени война еще с зимнего времени началась.

Команда над армией, находящейся в Курляндии и Польше, поручена была генерал-аншефу графу Фермору.

И так как положено было учинить наступление, не дожидаясь весны, а тогдашним еще зимним временем, то военноначальник с нетерпеливостью дожидался, покуда море или, вернее, узкий морской залив, который известен под именем Курского гафа и идет вдоль берега, будучи отделен от моря узкой и длинной полосою земли, покроется столь толстым льдом, чтоб по нему можно было итить прямым и кратчайшим путем в Кенигсберг войску с артиллерией. Нетерпеливость графа Фермора была столь велика, что он приказывал приносить ему каждый день на квартиру лед для суждения о его толщине и крепости.

Войска Фридриха были в дальнем походе, и пятого числа января прусские войска перешли Курский гаф беспрепятственно.

На Кенигсберг был послан небольшой отряд из девяти эскадронов конницы и четырехсот пехотинцев при восьми пушках.

Город сдался, на условии соблюдения его вольности, и одиннадцатого дня января 1757 года, при звоне в колокола во всем городе и играни и на всех башнях и колокольнях в трубы и литавры, войска императрицы Елисаветы исполнили, войдя в Кенигсберг, возложенное на них поручение.

Андрей Тимофеевич Болотов в это время находился в польской Пруссии, на вольных квартирах, около города Гумбинена. А потом около города Таруни. Здесь имел он случай видеть польский отряд в великий пост. Поляки в великую пятницу, покрыв голову свою, чтобы никто их не узнал, и, обнажив спину, секут сами себя бичами и производят это служение богу с таким рвением и усердием, что у иных даже кровь течет по спине.

А вместо выносимой у нас плащаницы выносят у них большое резное распятие, кладут в церкви на пол, и женщины, а особенно старушки, подходя и становясь на колени, воют и бьются над ним, как над умершим человеком.

Все обряды эти Болотову не нравились по причине его благоразумия.

Уже растеплело, когда полк получил радостный приказ итти на Кенигсберг.

С веселием шел Болотов в составе всего полка, и не подозревая, что этот поход был последний в его жизни, и что с пришествием его в Кенигсберг кончалась болотовская военная жизнь.

С радостью, но без предчувствий увидел Болотов краснеющие уже вдали кровли кенигсбергских домов и возвышающиеся среди них пышные величественные башни.

Полк вычистил свое оружие, как стекло, надел белье чистое и мундиры самые лучшие.

Вшествие в Кенигсберг произошло в красный день после обеда, и хотя досталось Архангелогородскому полку войти в город с наихудшей стороны и итти все простыми и худшими улицами, однако и эти показались русским преузорчатыми.

Знамена были отданы на квартиру обер-коменданта. Роты были распущены по квартирам. Болотов не шел, а летел за ведущим его курьером и думал, что приведут его в наипрекраснейшую квартиру.

Радость Андрея Тимофеевича усилилась, когда он увидел главные улицы города и прекрасные дома.

Он смотрел на них, и все ожидал, что курьер его остановит и скажет: «Вот ваша квартира».

Но ожидание было тщетное, и курьер, проведя его через самые лучшие улицы, повел в глухие переулки, находящиеся между так называемыми шпиклерами, или огромной величины хлебными анбарами.

Каждый таковой анбар составлял предлинное узкое, но притом чрезвычайно высокое, этажей в семь вверх простирающееся, полукаменное здание.

Переулки между этими анбарами были совсем пустые и даже страшные.

С досадой сказал Болотов фурьеру: «Братец, куда же ты меня ведешь?»—«Да на квартиру, ваше благородие, она уже совсем близко». Слова эти Болотова поразили, а когда он увидел предназначенный ему дом, и принужден был лезть по крутой и темной лестнице на третий этаж с канатом вместо перил, и увидел комнату длинную, узкую, с двумя небольшими окошками, то понял Андрей Тимофеевич, что для наслаждения победой нужно иметь чин. Приходилось тут поставить свой чемодан.

Не удивляйтесь, читатель, что в жизни Болотова, ныне героя моего, так мало событий и приключений романтических.

Болотов был человек из средних дворян и сам человек обыкновенный. От событий он бегал и романов избегал. Поэтому пробыл тихо и долго, а всего с 1738 года по 1833.

Сама долгота жизни этого человека показывает, что не был он искателем приключений. И так, извинившись за рассказ свой скромный, как переулок между хлебными анбарами, я продолжаю.

На другой же день после прибытия Андрей Тимофеевич пошел осматривать город.

Особливо поразила его так называемая Кнейпгофская улица, которую наши войска за богатство ее сразу же прозвали Миллионной.

Кенигсберг был торговый город с университетом, с учеными людьми, жил в то время в нем, например, и по сейчас известный философ Кант.

Но Болотова в городе поражали и самые безделицы. Случилось ему с одной улицы на другую проходить маленьким скрытым переулком, наполненным лавочками с разным товаром. Так случилось, что в то самое время стоял перед одной из лавочек какой-то человек и рассматривал печатные картинки. Болотов был до них крайним охотником и, тотчас подойдя, начал их перебирать.

Нельзя изобразить, как обрадовался он, увидав несколько сот и разных сортов и одни раскрашенные красками, другие черные. Подпоручик забыл все на свете, сел себе на прилавок и положил все пересмотреть.

Не успел он начать это приятное упражнение, как лавочник, подавая ему еще одну стопку, спросил: «Вот не угодно ли еще першпективных видов». Першпективными видами назывались тогда рисунки, которые рассматривали в особом першпективном ящике сквозь стекло, отчего казались рисунки точно выпуклыми.

Кровь в Болотове закипела.

Немедленно решил он самому себе построить подобный першпективный ящик, а лавочник его известил, что у него есть и стекло, которое при том употребляется.

Тут же купил Болотов целые ящички с приготовленными в них в раковинах красками и другой рисовальной сбруей.

И рассудил он купить картинки нераскрашенными, а разгваздывать их самому на дому.

И так поступал он, беря с собой рисунки, даже на карауле.

Занятие это сохранило нравственность Андрея Тимофеевича, хотя и было в Кенигсберге много трактиров и биллиардов и других увеселительных мест, и женский пол в городе был подвержен любострастию, и господа офицеры знали любой винный погреб и адрес любого непотребного дома.

Сидя дома, занимался Болотов раскрашиванием, а также принялся за изготовление першпективного ящика. Тут стал он в первый раз инвентором, т. е. изобретателем. Бока и стенки ящика сделал он из толстой бумаги, а дабы они не могли коробиться, то края все укрепил тоненькими деревянными брусочками. Для соединения всех боков наделано было множество крючков, петелек и пробойчиков.

Всю наружность ящика своего раскрасил Болотов разными красками и улепил маленькими, вырезанными из картинок купидончиками, птичками и цветками. И, наконец, покрыл все лаком. Ящичек вышел и походный, и уютный, и не постыдный для показа.

Впоследствии ящичек этот, однако, разбил счастие Болотова, изменив его мнение о жене, но об этом мы расскажем в следующих главах.

Сверх першпективного ящика за два червонца, скопленных с жалованья, купил себе подпоручик другой хитрый прибор, называемый камерой-обскурой, посредством этого ящика можно было, наведя выдвижную трубку, получить изображение на шероховатом стекле и с легкостью обвести контуры.

По прошествии немногого времени однажды получил Болотов приказание явиться к бригадиру Нумерсу, а чтобы в полку его числили в отлучке.

Нумерс принял его ласково и, поговорив с ним несколько по-немецки, приказал, чтобы Болотов что-нибудь написал, и рукой его остался доволен. После сего привел он его в должную скучную и темную палату и представил тихому старичку Бруно. Здесь было приказано Болотову заняться переводами. Произошло это потому, что начальство русское, отправляясь в прусский город Кенигсберг, того не сообразило, что в городе этом жители говорят по-немецки, и, только расквартировавшись, начало

искать переводчиков, и во всем гарнизоне пока нашли одного Андрея Тимофеевича.

И так переменил наш герой ружье на перо и поход на сиденье.

Глава десятая.

О проживании Болотова в столичном городе Кенигсберге, о книгах, танцах, любви к природе, фонтанах и прочих частях немецкой культурности.

Полк дворянина Болотова в скором времени выступил в поход.

Болотова в полк спрашивали, но генерал его не отдал. Андрей Тимофеевич боялся, что полковой адъютант увезет его в поход самовольно.

На стражу при квартире поставлен был слуга Яков с тем, что если ночью начнут ломаться и делать гвалт, то Яков должен был немедля брызнуть к секретарю. Впрочем, ночь прошла спокойно.

Оставшись преждеупомянутым способом в Кенигсберге и отлучившись через то от полку, Андрей Тимофеевич начал думать о том, что теперь ему уже придется кормить всех своих лошадей, поэтому он решил их продать.

В беспрерывном чтении романов препроводил он всю тогдашнюю жизнь, и материя романная никогда ему не наскучивала.

А когда наилучшие романы были уже все прочтены, попались Болотову книжки знаменитого писателя Зульцера о красоте природы.

Не успел он их прочесть, как глаза его точно растворились, и он начал смотреть на природу другими глазами и находить в ней тысячи приятностей.

Он понял красоту небес, и травы, и облаков, подобных барашкам.

Смягчению нравов Болотова способствовало также то, что скоро он узнал о публичных немецких балах, на каковые может заходить даже посторонний и только должен платить музыкантам несколько грошей денег за танцы.

Танцовали на сих балах минаветы и режуисансы.

А ежели кому вздумывалось непристойное и неприличное предпринять, того выводили под руки со стыдом вон.

Научившись танцовать в городском доме на мещанских свадьбах, получивши долговременное упражнение в танцовании, так он наторел и наблошнился, что все ему танцуемые разноманерные танцы сделались знакомы, и начал он танцовать даже в доме губернатора Корфа, куда выискивали всех способных к танцу офицеров.

Здесь был армейский поручик Григорий Григорьевич Орлов, отличавшийся тогда буйным нравом и красотой. С ним подружился Андрей Тимофеевич, не входя, однако, участником в орловские забавы. Он жил в городе тихо и если заходил в трактиры, то только для чтения газет.

Особенно полюбились ему в городе фонтаны, мимо которых ему каждый день проходить случалось. Не редко останавливался подпоручик и любовался иногда с полчаса всею беспрерывно вверх бьющей и на себе золотой шар поддерживающей водой.

Частое видение сего фонтана вложило в него странную мысль: нельзя ли выдумать и сделать и для себя хоть небольшой фонтанец, который можно было бы возить всегда с собой и становить на полковых квартирах. Долго он выдумывал и, наконец, принялся за это дело и со множеством столяров, жестяников, оловянищников, слесарей и маляров в две недели сделал нечто чудесное. Штучка эта или игрушка удалась по желанию и достойна была действительно любопытного смотрения.

Весь фонтан со всеми своими принадлежностями вмещался в маленьком и раскрашенном ящике, имеющем в длину и в ширину 10 вершков, а вышиною 3 вершка.

При открытии этого ящика оказывался в нем прекрасный, маленькой, круглый бассейнец, украшенный вокруг 12 маленькими вызолоченными фигурками, изображающими отчасти дельфинов, отчасти лягушек.

Из всех их било таковое же количество маленьких фонтанчиков, соответствующих большому в середине, которого биение простиралось вверх более полутора аршин и производило приятный шум и плескание.

Приведение воды было из поставленного на потолке той же комнаты ушата.

Сделано было приведение воды жестяными трубками, хорошо скрытыми.

Трубки эти при сборке входили одна в другую, а при перевозке полагались в тот же ящик, отчего и происходила та удобность, что его всюду возить было можно.

На главную трубку, находящуюся посреди бассейна, наделано было Болотовым множество разных насадок, посредством которых можно было заставлять воду бить разными манерами. Словом, штука была изрядная, все канцеляристы не преминули притти ее посмотреть и возвысили из-за нее мнение свое о переводчике.

Сверх того, Болотов изучил окончательно гокус-покусное искусство и сделал для него нужные к тому инструменты.

Так жил мирно Андрей Тимофеевич, усваивая себе немецкие выдумки, а между тем шел 1759 год, и наступлением своим русские, наконец, разбили пруссаков в совершеннейшей удаче.

Фридрих бежал и спал один в опустошенной казаками и дверей не имеющей крестьянской хижине. Шляпа покрывала половину лица его, а шпага лежала обнаженной у бока.

Только то спасло Фридриха, что русские его после победы опять не преследовали.

В это время и у Болотова было бедствие — из Петербурга для перевода прислали студентов, и Болотова хотели откомандировать в полк.

Но Андрей Тимофеевич нужен был первому секретарю господину Чонжену, который был в переписке с немкой, а для переписки нужен был верный человек, потому что секретарь был уже женат, и Болотов писал секретарю записочки и билетцы, делая тем секретарю превеликое удовольствие.

И так как с этой стороны сделался Болотов крайне нужен, то и не захотел его секретарь отпустить, и остался он в канцелярии переводить со студентами вместе.

Так высшее существо еще раз спасло жизнь дворянина Болотова.

Болотов был вызван к генералу. С трепещущим сердцем, с побледневшим лицом прошел он туда, куда его звали, и издали уже увидел генерала, держащего в руках бумагу. Генерал без всякого сердитого вида и точно как еще с некаким сожалением сказал: «Что делать, Болотов, требуют тебя опять в полк». «Пропал фонтанец», подумал Болотов и сказал: «Воля ваша», и стал подходить для принятия бумаги.

Но генерал, увидев побледневшее лицо и крайнее в ногах дрожание своего канцеляриста, усмехнувшись, сказал:

«Не смущайтесь духом, Болотов, требовать вас хотя и требуют, однако мы вас и в сей раз не отпустим. Впрочем, прочтите бумагу-то и прочтите ее вслух нам, нет ли в ней еще иного».

Приказание Болотова удивило, и удивление перешло в радость, когда, развернув бумагу и начав читать, увидел он, что это было извещение о пожаловании его поручиком и требование, чтобы он на сей чин был приведен к присяге.

Возблагодарив бога, Болотов остался на прежней службе, и тут овладело им новое, сильнейшее искушение.

Смолоду был он прилеплен к богу и молился ему с усердием довольным и с таковой приверженностью к нему приехал в Кенигсберг. Но, получив случай к доставанию чтения множайших книг, начал в прочем числе читать он и книги вольнодумные, которые мало-по-малу стали вселять в него некоторые сомнения об истине всякого откровения и всякого закона, и чуть не сделался сам совершеннейшим атеистом и вольнодумцем.

Мучительное это состояние продолжалось несколько недель, но книжка, стоящая безделицу — прусский грош, что меньше наших двух копеек, его спасла.

При приходе в магазин увидел Болотов непереплетенную немецкую книжку, величиной в четвертушку, и из двух листов состоящую. Книжка эта была Августа Крузия и содержала в себе опровержение неверия. А так как нет ничего легче, как убедить человека в том, во что он верить уже перед тем расположен, то два этих малых листа убедили Болотова в существовании верховного существа, и он спокойно вернулся в канцелярию, к гвазданию картинок и приготовлению новых насадок на свой потешный фонтанец.

Глава одиннадцатая.

Содержащая горестное извещение о смерти императрицы и некоторые хозяйственные распоряжения.

Уже давно уехал в Питер добрый генерал Корф, пригревший нашего героя. Но Андрей Тимофеевич не пропал и при новом генерале. Новый начальник был скуп и требователен, из требовательности к службе он хотел отправить Болотова обратно в полк, но тут разбился у него образок святой Анны на ордене. Частные мастера за написание образка спрашивали пять рублей. Болотов произвел эту комиссию даром и был оставлен при канцелярии. Сие обстоятельство еще более утвердило Андрея Тимофеевича в его вере во всевышнее существо.

Второго генваря 1762 года новая весть всполошила всю канцелярию. Умерла государыня императрица Елисавета Петровна.

Все поздравляли друг друга с новым монархом, но поздравления эти были не столько с радостным, сколько с огорченным видом.

Все наслышались довольно об особенностях характера нового государя, и тайная связь его с двором короля прусского также была всем ведома.

Болотова ждало горе настоящее — его опять вызывали в полк, а полк находился в Чернышевском корпусе при австрийской армии, но шел слух, что приказано биться будет ему с самими австрийцами и что корпус не знает теперь, где у него тыл, где фронт и который фланг у него правый, а который левый.

Но радость ожидала дворянство. При восшествии на престол Петра Третьего последовал манифест о дворянской вольности. Неописанное удовольствие произвела сия бумажка в сердцах всех дворян.

До этого все люди в Руси были связаны службой государю. Дворянин имел поместья и крестьян за службу. От службы этой император дворян ныне освободил, а крестьян и земли всемилостивейше оставил.

Болотов решил, что немедленно выйдет в отставку. Пока же, узнав из письма приятеля Балабина, что в Питере по случаю смерти императрицы не хватает флера и крепа черного и сделался в нем недостаток и большая дороговизна, начал Андрей Тимофеевич посылать флер и креп в Петербург пакетами безданно и беспошлинно.

Это показывает нам, до какого высокого градуса Андрей Тимофеевич был человек для своего времени передовой.

Посылки в Питер к нужному приятелю укрепили дружбу и возымели желаемое действие.

Пришли в канцелярию к Болотову и сказали: «Ну, брат, теперь уж нечего делать, и ехать молодцу, хоть и не хочется, миновать никак нельзя. Прощай, брат Андрей Тимофеевич».—«Что такое!—спросил Болотов,—не опять ли требование?»—«Какое тебе требование,— сказал канцелярист,— целый указ пришел о тебе именно, да еще из самой военной коллегии».

Болотова подрало с головы до ног, взволновалась вся в нем кровь, и стеснилось в груди его так, что он едва мог переводить дыхание. А канцелярист подал ему указ. Дрожащими руками принял Андрей Тимофеевич эту бумагу и поразился новым изумлением, увидавши, что был он пожалован во флигель-адъютанты бывшему своему начальнику, кенигсбергскому губернатору генералу Корфу, и что повелевалось ему ехать немедленно в Петербург. Через новую должность получал Болотов и капитанский чин. «Господи, помилуй!» возопил Болотов и начал креститься.

Ехать нужно было немедленно, хотя на дворе был уже март, и глубокий снег напоился уже талой водой. Переезжать нужно было Мемельский залив по последнему льду. Трещины на льду были настолько велики, что лошадям приходилось через них перепрыгивать, и, если бы не слуги Абрашка и Яков, не проехать бы господину капитану.

Генерала Корфа в Петербурге Болотов застал чешущего волосы. Парикмахер завивал голову фон Корфа, а полицейский секретарь докладывал в это время о делах.

— Молодец Болотов, — сказал генерал, — что приехал до распутицы, постарайся и дальше поведением оправдать хорошее мое о тебе мнение.

Болотов кланялся и благодарил. Но еще лучше принял его с благодарностью за исполненные поручения господин Балабин, тут же служащий.

Генерал радовался встрече людей, а затем, осмотрев Андрея Тимофеевича с ног до головы, увидел, что на том не было шпор.

— Жаль! что нет на тебе шпор, а не то хотел бы я поручить теперь же маленькую комиссию.

Болотов извинился в том, сказывая, что он пришел пешком, и нет с ним теперь лошади.

— Лошадь безделица, — сказал генерал, — ею бы мы тебя снабдили, но постой, есть у меня для тебя и шпоры. Подай-ка, малый, мои малые серебряные шпоры господину Болотову.

Болотов стоял и, простирая свои ноги к слуге, одевавшему на него генеральские шпоры, мыслил о том, как бы получше исполнить свою комиссию. Смущения Болотова увеличились, когда генерал сказал: «Вот какое дело хотелось бы мне, чтобы ты, мой друг, во дворец съездил. Мне хочется, чтоб ты распроведал и узнал, что государь теперь делает и чем занимается».

Болотов обомлел — ехать сразу во дворец к государю. Генерал продолжал: «Дам я тебе полицейского, который проведет тебя на заднее крылечко, а дальше поступишь по моему наставлению. Как взойдешь ты на сие крылечко и маленькие тут сенцы, то войди в двери налево и в маленький покоец. Тут ты найдешь стоящего часового, ты и постой тут и подожди, покуда войдет какой-нибудь из придворных лакеев, и тогда попроси ты, чтобы вызвали к тебе искусненько Карла Ивановича Шпрингера, и вели сказать ему, что ты прислан от меня, и как он к тебе выйдет, то поклонись ему от меня. Но смотри же говори с ним по-немецки, а не по-

русски и скажи, что я велел распроведать о том, чем государь занимается и весел ли он, и буде он тебе прикажет подождать, то подожди».

С великим чувством и подобострастием приближался Болотов в первый раз к священному обиталищу своих монархов, и, если бы не полицейский чиновник, то не решился бы он войти на заднее крыльцо.

Но вошедши нашел все как по-писаному, а потом вызван был к нему и Карл Иванович. Карл Иванович, услышав, что генерал хочет, велел Болотову подождать и, вернувшись через малое время, сказал, что государь сегодня не гораздо весел. С этой вестью вернулся Болотов к генералу.

Так начал службу свою Болотов в Петербурге.

Уже прошло немало дней с того дня, как государыня Елисавета Петровна умерла с кровавой рвотой и судорогами, но новый монарх не овладел еще сердцами гвардии. Гвардия ходила недовольная в новых мундирах прусского образца. Болотову тоже пришлось заказать себе новый мундир на деньги, одолженные благодарным Балабиным.

В новом мундире присутствовал Болотов при зрелищах удивительных — шла гвардия, и иной раз случалось видеть перед строем шел низенький толстый старичок в мундире с золотыми нашивками со звездой и голубой лентой на груди. «Это что за человек?» спросил Болотов. старичка. «Это тебе не человек, это князь Никита Юрьевич». — «Князь Никита Юрьевич, — удивясь, подхватил Болотов, — какой же, неужели Трубецкой?»

«Точно так», отвечал мне князь.

«Господи помилуй, да князь Никита Юрьевич у нас первейший человек в государстве и генерал-прокурор».

«Так и есть, — отвечали Болотову, — он и ныне генерал-прокурор, но сверх того пожалован от государя фельдмаршалом и носит звание подполковника гвардии».

«Как же этак! — возопил Болотов, — мы считали Трубецкого дряхлым и отягощенным стариком, ведь он и во дворец и в сенат по нескольку недель сряду не ездил».

«Времена переменились, — ответил собеседник, — ныне и больные и небольные поднимают свои ножки и наряду с молодыми маршируют и так же хорошохонько топчут и месят грязь, как и солдаты».

Скоро и Болотов узнал, что времена переменились, ему приходилось целый день скакать ординарцем по городу, падать с лошади на скользких мостовых Петербурга, и служба генералу показалась ему хуже боевой.

Ко дворцу Болотов привык скоро и часто ходил осматривать его покои. Дворец был в беспорядке. Готовились переезжать в новопостроенное каменное здание. Тронная зала по стенам была вся заставлена неоконченными портретами покойной императрицы. На иных была одна подмалевка, на других уже выписано лицо.

Покойную государыню в последние годы ее жизни не мог успокоить уже ни один живописец.

Ей все портреты казались, что она или на них слишком стара, или ıа себя не похожа.

Императрица не хотела, чтобы времена переменялись.

Глава двенадцатая.

Содержащая описание борьбы дворянства за право лежать ıа канапэ, а также содержащая похвалу Болотовскому благоразумию.

Уже был готов новый Зимний дворец, но поле перед ним оставалось ›се застроенное и загороженное хибарками, избушками, шалашами и :арайчиками. Поле это простиралось почти до самой Мойки, а вдоль от Миллионной до Исаковской церкви. Для очищения всего этого дрязга ıотребно было много времени, но генерал Корф, хотя и немец, по полицейской своей должности глубоко понимал русское сердце.

Он через полицию опубликовал, что всякий, кто хочет, может итти ı брать себе безданно и беспошлинно доски, обрубки, щепки, каменья, кирпичи, бревна. Весь Петербург точно взбеленился. Со всех улиц бекали тысячи народа. И всякий бежал без ума и без памяти, а добежав, громсал, рвал и тащил, что ему попадалось под руки, а урвав бежал к ебе домой и снова возвращался.

Шум, крик, вопль, всеобщая радость и восклицания наполняли 'огда весь воздух.

Сам государь смотрел на сие зрелище из окна и не мог довольно ıахохотаться. И не успело пройти несколько часов, как от всего несметıого количества хибарок не осталось ни одного обрубочка и ни единой доцечки.

Так хорошо можно управлять городом, пользуясь характером национальным.

Государь жил теперь во дворце новом, против прежнего, гораздо :учшем.

Болотову приходилось часто дежурить в дворцовых покоях. Все :омнаты дворца набиты были несметным множеством народа и наилучшим бразом убранного. Но в комнатах почти не было стульев. Болотов слукил целый день на ногах. Уже давно он мечтал увидать государыню, но осударыни при дворе видно не было. О государыне шли разные слухи; о Болотов был благоразумен и лишнего не знал. И сколько раз ни бывал н во дворце, не приходилось ему видеть ни государыни, ни фаворитку Воронцову, о чрезвычайной непомерной любви к которой государя слыıал он еще в Кенигсберге.

Думал Болотов, что должна она быть красоты непомерной. Раз стоял н на дежурстве и увидел двух женщин в черных платьях и в екатерининких алых кавалериях (орденах), идущих друг за другом из отдаленных окоев государя.

Болотов думал, что это придворные дамы, но удивлением поразился он, когда ему сказали, что то были государыня и фаворитка.

До того видел Андрей Тимофеевич только портрет ее, а на портрете Екатерина была и моложе и стройней, а в натуре представляла она собой женщину низкую и дородную.

Еще более удивился Болотов, поняв, что вторая, еще более обрюзглая боярыня с злым лицом, была знаменитая Елизавета Романовна Воронцова. Молча подивился Болотов.

Караулы тянулись бесконечно, и скука и усталость переламывали молодого офицера. Во всех тех комнатах, где бывал он, не стояло ни одного стульца, а стояли только в одной проходной комнате одни канапэ, но и те обитые богатым штофом. И такие, что лечь на них Болотов не смел и помыслить. Комната эта была недалеко от государевых, и дворяне имели ту отраду и удовольствие, что могли всегда в растворенную дверь слышать, что государь говорит с другими, а также видеть все его деяния.

Но государя редко видеть можно было трезвым, потому что уже до обеда начинал он пить аглицкое пиво, а прочие его деяния были покрыты густым дымом.

Государь был великий охотник до курения и приказывал, чтобы возили за ним, куда он ни поедет, целую корзину голландских глиняных трубок и множество картузов Кнастера и с другими табаками.

Курили у него сразу по десятку трубок, комнаты были наполнены дымом густейшим.

После обеда развеселялся царь и вельможи, гремели они рюмками и бокалами, а потом шли играть прямо в сад, прыгали все на одной ножке и бились об заклад, кто кого собьет ударом коленки под задницу.

Адъютанту было не весело. Спать хотелось. В комнате не было ни одного стульца, стоючи же у стенки, спать невозможно, потому что подгибаются колени. Философствуя долгое время и размышляя, какой бы найти способ дремать, заглянул однажды Болотов на бывшую в той же комнате большую печь и находящийся за ней запечек, то есть пустоту между печкой и стеной. Совсем как у себя в деревне Андрею Тимофеевичу пришло в мысль испытать, нельзя ли протесниться в запечек и ущемить себя там так, чтобы проклятые колени не сгибались.

Тотчас же, как хороший товарищ, сообщил он об открытии своем другому полицейскому офицеру: «Ну, брат, пойдем-ка, я нашел, наконец, место, где можно дремать, и надобно нам только помогать друг другу». Товарищ осмотрел то болотовское открытие и сказал: «Хорошо бы, брат, но ну-ка тут заспишься, а государь и войдет и увидит, что тогда делать».

Но Андрей Тимофеевич отвечал: «Спать можно нам попеременно, а другой должен сторожить, коль скоро в столовой заворошатся и вставать станут».

Первым забился за печку Болотов, а товарищ стоял на страже, заслоняя его своей спиной. Скоро весть об этом открытии распространи-

лась, и адъютанты и ординарцы стремились на дежурстве перехватить друг у друга это место за печкой.

А между тем время шло, дым в государевых покоях стоял коромыслом, и Андрей Тимофеевич начинал смелеть.

И давно хотелось ему уже прикурнуть как-нибудь на штофных канапэ, но все не решался он это сделать, почитая их как бы священными. Но однажды, на дежурстве уже позднем, проходя по комнате, увидел он на этих канапэ придворного пажа, почивающего спокойно, как на кровати.

— Тьфу пропасть, — сказал себе Болотов, — какая диковина, если можно пажу, то можно и офицеру, лягу-ка я здесь, поставивши на дежурство товарища.

Смолвившись с другим офицером и поставив его на караул у дверей, подбежал Болотов к пажу, толкнул его и сказал:

— Государь идет, государь идет.

Бедный паж вскочил без ума и памяти, а Болотов плюх на его место, но, как человек, получивший заграничное воспитание, подложил под свои ботфорты платок, чтобы не замарать штофа.

Паж, увидя, что государь и не думал итти, попытался поднять обманщика, подбежал к нему и закричал: «Государь идет», но Болотов был спокоен и непреклонен. Тогда паж сел на канапэ у него в ногах и начал шпынять Болотова, трунить над ним и мешать наслаждаться сном приятным. Тогда Болотов сказал своему полицейскому приятелю:

— Господин офицер, пойдите сюда, возьмите этого щенка и отведите, куда следует.

Испуганный паж тотчас брызнул в сторону, и с той поры канапэ было завоевано.

А по городу шли слухи. Слухи тревожные. Русские войска уже сражались на стороне пруссаков, и колебались даже самые гвардейские привилегии.

Подумывал Болотов, что хорошо бы использовать вольность дворянскую и уехать в деревню, потому что генерал Корф считался любимцем государевым, и «если, — думал Болотов, — начнут кого бить, то первым достанется нам и Корфу».

И в это время встретился Болотову старый его знакомец еще по Кенигсбергу господин Орлов.

— Ах, Болотинька,— обратился он к Андрею Тимофеевичу, — где ты служишь, уж не в штате ли у генерала Корфа?

— Так точно, — ответил Болотов, целуя Орлова.

— Заходи-ка ко мне, братец, живу я тут близехонько, подле дворца на Мойке.

Болотов знал легкий винный и картежный нрав господина Орлова и, еще в Лифляндии проиграв сорок рублей, не решался подходить к кутящей компании. То Орлов пригласил его во второй раз. И второй раз не поехал Болотов, тогда Орлов нарочно приехал в третий раз и сказал:

— Есть мне крайняя до тебя нужда и крайняя необходимость поговорить с тобой.

— Господи, — удивился Болотов, — и какие у тебя дела могут быть!

— Право, нужда, ей-ей нужда и нужда крайняя.

— Да скажи здесь и теперь же. Ну, пойдем в дальние комнаты.

Орлов подумал и отказался.

— Нет, побывай ты у меня и как можно скорей. Лучше завтра утром.

Андрей Тимофеевич уж совсем собрался поехать к Орлову, а потом подумал, не на масонское ли какое собрание его совращают, и не поехал, а остался дома, хваля себя самого за благоразумие.

И только потом оказалось, что звал Болотова Орлов в заговор против Петра Третьего, и заговор этот удался, и господин Орлов сделался графом Орловым, а господин Болотов остался капитаном.

Место на канапэ в проходной комнате оказалось высшим достижением господина Болотова.

Болотов же решил, что такова была воля высшего существа и благодетельного провидения.

Глава тринадцатая.

В ней рассказывается о том, как господин Болотов удалился в деревню на свое пропитание.

Все делаемые напряжения не помогли бы Фридриху II, если бы не выручила его дружба Петра III.

Были начаты переговоры о вечном мире с королем прусским, и государь, опорожнив лишнюю рюмку вина, дошел до такого забытия самого себя, что публично, при великом множестве иностранных и русских знаменитых особ, стал перед портретом короля прусского на колени.

На берегу Васильевского острова против дворца были установлены огромные фитильные щиты иллюминации. Впереди, против сих щитов, сделаны были фигуры, изображающие Пруссию и Россию.

Фигуры эти сдвигались на салазках и, сдвинувшись, изображали над горящим жертвенником дружеское рукопожатие. Когда отгорели эти огни, то на том же месте произросло пальмовое дерево, горящее прекрасным зеленым огнем.

Рукопожатие было крепко, и дерево дружбы с Пруссией процветало настолько, что молва говорила, что корпус графа Чернышевского подарен королю прусскому навсегда.

Сверх того Россия должна была выступить в войну против Датского королевства из-за Гольштинских земель.

Английские, французские дворы спешно устраивали в это время русское против этих мероприятий мнение.

В городе было тревожно. Встревожился и штаб генерала Корфа. Прискакал на квартиру один из штабистов князь Урусов и, вбежавши, сделал всем низкий поклон и сказал задыхаясь:

— Ну, братцы, поздравляю.

— С чем? — раздались вопросы.

— А вот с тем, государи мои, — молвил Урусов, — что извольте-ка готовиться в путь.

— Куда это? — встревоженно спросили все.

— В заграничную армию.

— Неужели генерала посылают в армию.

— Какой тебе генерала, — отвечал Урусов, — генерал остается здесь и поехал теперь с государем обедать, а нам всем велено отправиться в армию и распределиться по полкам своим.

Несколько минут все молчали и потом вдруг заговорили враз и забормотали. Иной, не веря всему, говорил, что это шутки, другой говорил: «Что же это делать?». Сам Болотов только крестился, повторяя: «Господи помилуй, господи помилуй».

Дело подтвердилось. Положение было серьезное. Ехать за границу, в действующую армию и воевать неизвестно с кем. Решили выбрать предводителем Балабина, просить генерала, чтобы не посылали их в армию, а распределили бы где-нибудь по тыловым местам.

Генерал принял всех холодно, во время разговора одевался и отказал решительно.

Выйдя за дверь, Балабин сказал:

— Ежели нам так милостиво наотрез отказано, так не остается другого, как искать каждому себе выход. Ищите себе милостивцев и покровителей.

С горем пошел Андрей Тимофеевич к себе домой, оглянулся на улице, а генерал сидел в окне, уже причесанный, француз слуга его пудрил, и лицо генерала не изображало никакого волнения.

С печалью брел дальше Болотов, вспоминая немецкий гимн: «Бог моя защита и крепость», с горем зашел он в церковь. Службы не было, молиться не хотелось. Устало посмотрел Андрей Тимофеевич на стены и вдруг узнал их. Это была та самая церковь, в которой его манежил молитвами господин Яковлев.

— Постой, — воскликнул Болотов, — куда-то девался Яковлев, не поможет ли он мне! Может быть, сама судьба завела меня сюда. Пойду, ей-ей пойду и адресуюсь с просьбой.

Положил Болотов наскоро несколько земных поклонов и бегом вышел из церкви.

И вот опять знакомые улицы и скользкие деревянные тротуары. И вот он, знакомый дом Яковлева.

Вежливо поклонился Болотов армейскому офицеру, выходящему из крыльца этого дома, и спросил:

— А ныне кто живет в этом доме?

— Хозяин, сударь, оного, Михайло Александрович Яковлев.

Болотов обрадовался чрезвычайно.

— А не знаете ли вы, — спросил он, задыхаясь, — дома ли он теперь?

— Как же не знать, — отвечал офицер, — Михайло Александрович дома, и извольте итти прямо на крыльцо, а там зал, а оттуда в двор налево. Он сидит в кабинете своем и об вас ему сейчас доложат.

— Покорно вас, батюшка, благодарю, — сказал Андрей Тимофеевич, — но хотелось бы еще вас спросить, чем господин Яковлев ныне и служит ли еще и, буде служит, то где и при какой должности?

— Неужели вы, батюшка, того не знаете. Он, сударь, бригадир и заседает в военной коллегии и хотя вторым, но важнейшим из всех членов.

— Боже всемогущий, — произнес Болотов, — в руцы твои предаю дух мой.

И с этими словами взошел на истертые ступени яковлевского дома.

Взойдя на крыльцо, прошел наш челобитчик в зало, столь ему памятное. Тут не было ни одного человека.

На правой стороне новость — большие стеклянные двери, а за ними домовая церковь, которой тоже прежде не было.

Андрей Тимофеевич для верности и тут помолился. Потом пошел влево и только тут нашел лакея. Лакей пошел докладывать. Андрей Тимофеевич не смог сдержать нетерпения и сам пошел за лакеем.

Яковлев, увидя офицера, холодно сказал:

— Пожалуйста.

Болотов не мог произнести слова, только все кланялся.

— Постой, — произнес Яковлев, — дай-ка посмотреть твое лицо, как будто знакомое.

Андрей Тимофеевич вымолвил свое имя. Яковлев вскочил, обнял молодого капитана и сказал:

— Ах, боже мой, сын покойного Тимофея Петровича, как же, помню, мы с Балабиным еще тебя устроили к Корфу. Ну, как служишь, генерал горячий?

— Ах, батюшка, Михайло Александрович, — нас ведь от него отняли и велено отправить нас в армию. Вы меня в прошлый раз прямо из мертвых воскресили; воскресите, батюшка, меня и ныне и избавьте меня от армии.

Яковлев задумался.

— Предписание, друг мой, сделано строгое, дело невозможное, а невозможного и сам бог не требует. Однако ты Тимофея Петровича сын, так скажи, куда же ты хочешь, если не в армию?

— Батюшка, Михайло Александрович, если бы только можно было, то я бы никуда не хотел, а желал бы удалиться в свою деревнишку, на свое пропитание.

— Это всего лучше, — подхватил господин Яковлев, — молись прилежнее богу, а сам постарайся, чтоб генерал ваш в представлении своем о вас не поминал ничего об армии, а вместо того промолвил бы только, что он просит военную коллегию об учинении с вами по желанию вашему. А желания сии чтоб объяснены были против имен ваших в приложенном к представлению списке.

Откланявшись, задом вышел из комнаты Болотов и, повернувшись к стеклянной двери домовой церкви, жарко помолился.

Бойко бежал он по тротуарам к господину Балабину. Балабин был человек опытный и, выслушавши все, понял правильность диспозиции.

— Ну, спасибо, Андрей Тимофеевич, при тебе, может быть, и нам всем хорошо будет. Яковлев всеми делами ворочает, а что касается до генерала нашего, — продолжал он, — так уговорить его написать я беру на себя. Тут дело такое, что я ему на горло наступлю.

Придя на квартиру, Болотов время провел уже радостней. И снились ему ночью не армия и война, а сельские приятности. Утром, придя в дом генеральский, нашел он там уже всех своих бывших товарищей в собрании, перед дверью генерала, а за дверью был слышен балабинский уговаривающий и генеральский недовольный голос.

Вскоре вышел Балабин от генерала и сказал:

— Было хлопот довольно, отговаривался генерал всем и всем, говорит, что и не выйдет и подымут на смех, но ничего—бумага в военную коллегию подписана, и теперь пойдемте, господа, генерал велел всех вас к себе представить.

Офицеры пошли к генералу и много его благодарили.

Корф обратился по-немецки к Болотову:

— Так ты хочешь домой, мой друг, на свое пропитание?

— Домой на пропитание, ваше высокопревосходительство.

— Благоразумный ты человек, Болотов, и дай тебе бог получить желаемое.

С этими словами он отпустил всех.

Через полчаса господа офицеры были уже у Яковлева. Опросив всех, он велел им пообождать, покуда коллегия найдет для них праздные места.

— А что касается до вас, господин Болотов, то вы извольте об отставке вашей, в силу указа о вольности дворянства, подать в коллегию особую челобитную, да вот постойте, я велю ее вам и написать.

И господин Яковлев велел вахмистру отвести челобитчика к повытчику.

Все присутствующие были удивлены такою заботою и вниманием.

Повытчик сидел в самой крайней комнате. Вахмистр передал ему поручение. Повытчик не ответил ни слова, а только дал знак рукой, что вахмистр может уйти. Болотов сам довольно служил в канцеляриях и правила знал.

Отвернувшись к сторонке, достал из кошелька рубль и, всунув его повытчику в руку, произнес:

— Поспеши, мой друг, челобитную написать и будь уверен в благодарности.

Повытчик вскочил, ударил себя кулаком в брюхо, скосил рот и вдруг начал брызгать слюной изо рта, пытаясь произнести что-то.

— Из-из-из-из-изы-из-из, — а там, — су-су-су-су-су-су-су, а потом: то-то-то-то-то-то.

Болотов обомлел, но повытчик - заика сладил со своим языком и произнес, наконец:

— Извольте, сударь.

Дело у повытчика не заикалось, и челобитная была подана в тот же день.

Через четыре дня назначен был уже для просящихся в отставку смотр.

Этот смотр сей для многих просящих был неблагоприятен. Один за другим выходили люди с мрачными лицами. Болотов трепетал. Дрожащими ногами вошел он в зало. Его осмотрели с головы до ног.

Председатель генерал-поручик Караулов произнес: «В отставку еще рано». Кровь в Андрее Тимофеевиче заледенела. Но господин Яковлев заговорил скороговоркой:

— Он и просится на свое пропитание, так для чего же и не отпустить нам его?

И, не дождавшись ничьего ответа, бригадир громко произнес, обратившись уже к Болотову: «С богом, с богом, коли на свое пропитание». Остальные члены коллегии промолчали.

Болотов вышел с пренизким поклоном. Однако указ об отставке задержался почти на месяц. Уже были куплены лошади для отъезда, и упакованы вещи, а паспорта еще не было.

Между тем земля в городе, казалось, горела.

Только 14 июля документ был получен. Болотову казалось, что он идет по воздуху, и ноги его не меньше, чем на аршин, от земли возвышаются.

Однако отставной капитан (майорского чина при отставке не дали), не преминул зайти в ту церковь, из которой произошло все благополучие, возблагодарить вышнее существо и заплатить священнику целый рубль.

Наскоро попрощался Болотов с генералом и уехал из города, боясь попасть под обух.

Отъехав от Петербурга, остановил Болотов свою кибитку и смотрел на смутный туманный город.

— О, город, — сказал он, — обстоятельства очень дурны, в коих я покинул тебя. Слава богу, что я уплелся из тебя благовременно.

С этим словами Болотов сел в кибитку.

Глава четырнадцатая.

В которой описывается возвращение господина Болотова в деревню «Дворяниново».

С заездами к родным и с гощением в Москве ехал Андрей Тимофеевич домой.

И вот, наконец, в теплый, тихий сентябрьский день коляска, на хорошо смазанных колесах, покатилась по уже хорошо знакомым полевым дорогам.

Вот уже и знакомые березовые рощи, а вот и дом. Какой он старый!

Люди бегут навстречу коляске, вот уже узнали Болотова, целуют руки.

Андрей Тимофеевич вошел в дом. Уже повечерело, и показался ему дом и малым и дурным. Стены потемнели, и потолок почернел, а передняя комната со множеством образов в киотах и без них больше походила на часовню, чем на жилье. И запах какой-то пустынный. Кликнул Болотов старого своего Артамона, того, кто был ему еще дядькой. Пришла Алена, жена его.

— Батюшка, — говорит, — помер Артамон уже неделю.

— Куда как жалко мне твоего мужа, — ответил Болотов старухе, — но воля божия над всеми нами. И постарайся-ка, Алена, чтобы мне было чем поужинать.

— Так, батюшка, — ответила Алена и ушла.

Пока готовили, снова прошел Болотов по пустынным и гнилью пахнущим комнатам.

Ходил, подымал окошки для впуска свежего воздуха и размышлял, как же ему расположиться.

Ночью помещик спал плохо, потому что в доме оказались крысы.

Утром встал он чуть свет и пошел смотреть свои сады. Прежние пруды показались лужицами, сады заросли всякой дичью, строения обветшали.

Грустно вернулся Болотов к себе домой.

Дом Болотова одревнел и врос в землю, так что из иных окон можно было рукою достать до травы. Дрань, которой были покрыты крыши, поросла густым зеленым мохом. И с крыши торчала только одна полуразмытая дымовая труба с галочьим гнездом.

Двор маленький, поросший травой.

Почти у самых хором амбары из толстых бревен. Когда-то амбары были крыты тесом, но все сгнило, и тес заменили соломой.

Рядом с амбарами вход в сад господский, и вход этот летом запечатывался восковой печатью, чтобы никто к яблокам не подходил.

Ворота барские с толстыми резными вычурами на вереях и большой калиткой. Над воротами широкая тесовая кровля, и доски теса уже

слились под зеленым мохом. Около ворот людская изба, здесь жил приказчик.

Красного окна для света в этой избе не было. Свет шел из одного черного окна — оно же служило для дыма. Сады были засажены старинными одичалыми яблоками и заросли березой и осиной. В саду черная баня. Вообще радости во всем этом было мало.

Во всей болотовской деревне при «Дворянинове» было только три двора, да в деревне «Болотове» два, да в «Тулеине» — шесть.

Земля разбросана вся клочками, а в других дальних деревнях — где один двор, где два двора и только в Тамбовской губернии в одной деревне — 10 дворов.

Мебелей в доме никаких, посуды никакой, и нужно было жить.

А покупки делать с деревенских доходов. Цена же на рожь была рубль четверть, а не то и восемьдесят копеек, овес 80 коп., масло — 1 р. 80 к. пуд, сахар 10 рублей пуд.

Деньги были вообще дороги.

В деревне получил Болотов известие о происшествии в Питере — революции. О том, что Орловы стали графами, а император Петр III умер от желудочных коликов, что крики его перед смертью были слышны даже в Ориенбаумском саду.

По смерти Петр III похоронен был в Александро-Невском монастыре без дальних церемоний.

Гвардия, произведшая переворот, жила несколько дней и ночей.

И даже в одну ночь пожелала удостовериться, жива ли их новая государыня.

Государыня изволила ночью встать, на балкон выйти и гвардии кланяться.

В Петербурге спешно сочиняли гербы для лейб-компанейцев, на участников переворота лились милости. Болотов сидел в своей деревне, из-под дверей дуло, и Андрей Тимофеевич размышлял, что не всегда благоразумие немедленно вознаграждается.

Итак, оставалось одно — заниматься сельским хозяйством.

Имение было мало, разорено, рощи сведены на дрова. Жить зимой в имении было пока почти невозможно, и Андрей Тимофеевич перебился в Москве по гостям.

Но вот наступила весна, и не успели начаться первые тали, как Болотов уже был в своей деревне. Солнце с каждым днем подымалось все выше, все горячее, помрачалась белизна полей, началась половодь, и с ребра горы видно было, как широко разлилась речка.

Болотов решил переделать свои сады и перестроить свой староманерный дом. Вскоре он произвел первую перестройку. Стены дома обил холстом, и сам разрисовал под обои. Прорубил новые окна, поставил печи и тоже разрисовал. Сад переделал и превратил в регулярный еще в старой манере.

Посередине сада сделал решетчатую беседку и к ней провел дорожки,

На работы эти были собраны все крестьяне и крестьянки.

В это же время начались посадки плодовых деревьев. Садовником велено было быть старику Сергею, по прозвищу Косому. Этот добрый служитель ходил в походы еще с покойным отцом Болотова.

На старости лет приказано было ему жениться и быть опять крестьянином, а теперь Андрей Тимофеевич взял дядю Серегу обратно в дом для садоводства. Дядя Серега по замысловатости своей еще предупреждал все болотовские мысли, делая различные изобретения.

Рука Сергея и насадила болотовские сады, а потом Сергей, стоя прислонившись спиною к стене, руководил Болотовым в его первых экономических упражнениях, говоря так с ним по многу часов.

Жизнь Болотова установилась. Вставал он почти с восхождением солнца. Вместо чая пил навар из травы буквицы, приправляя его сливками и медом вместо сахара. Завтракал Болотов гречневой кашей и за обедом ел тоже все простое и непокупное. Так установилась его жизнь, и только одно смущало молодого дворянина — одиночество. Нужно было жениться, а знакомых почти не было.

Домов-то кругом дворянских было достаточно, потому что господа дворяне уже начали в дома свои возвращаться, но иные уж слишком на много богаче были Болотова, а другие слишком просты. Все это удерживало Болотова от поспешности. Со всем тем начала бывать в его доме сваха из немок, по прозвищу Ивановна. Сваха сообщила Болотову, что есть у нее для него подходящая невеста, но сожалела, что была та еще слишком молода, минуло ей только двенадцать лет.

И так приходилось думать о другой.

Тут приехал однажды к Болотову лакей в незнакомой ливрее и пригласил его от имени соседа князя Долгорукова в гости.

Долгоруких видел Болотов в Москве. И девушкой там одною очаровался.

Девушка эта была не Долгорукая, а приятельница их — жила у Долгоруких госпожа Бакеева с двумя дочерьми. Соседили Долгорукие от Болотова всего в двенадцати верстах. Спешно поехал Андрей Тимофеевич к соседям и вдруг увидел у них молодую Бакееву. Ему и в голову не приходило, что Бакеевы могут приехать с княжеской семьей в деревню. Болотов так смешался, что не мог даже слова вымолвить. Сердце его взволновалось в первый раз в жизни. Девушка в сельском платье показалась ему ангелом.

Вернувшись домой, Болотов ночь не спал, хотя крысы из дома были давно выведены.

И тут Болотов зачастил к соседям. Уже его считали женихом и присватывали его старухи, а он все не решался говорить.

Наконец, пригласил он госпожу Бакееву с дочерью в свое «Дворяниново».

Болотов очень старался устроить угощение наизнаменитейшим образом.

Гости приехали веселыми, но скоро Андрей Тимофеевич заметил, что нареченная невеста его всем недовольна. Приехала она не одна, а захватила с собою француза гувернера Долгоруких. За обедом молодая Бакеева ничего не ела. Повел гулять ее по садам Болотов. Сады ей не понравились. Привел он ее к беседке, называемой Храм удовольствия, она не восхитилась. И, на все смотря, оглядывалась к французу с презрительной улыбкой. Все это расстроило хозяина до чрезвычайности и положило вдруг конец его увлечению.

Но потребно было много философии для того, чтобы отказаться от своей единственной любви. И только осенью позвал Андрей Тимофеевич немку Ивановну и сказал ей:

— Я решил посвататься за твою запасную невесту, хоть она и молода, так ей, значит, некогда было заразиться модным духом и пышностью светской жизни. Может быть, по молодости ее удастся мне приучить ее к себе и ко всему тому, что я люблю.

Ивановна ответила, что невеста хоть молода, но велика ростом, и конференция эта кончилась тем, что Ивановна поехала распознать мысли матери, расположены ли они девочку замуж отдать, если кто ее будет сватать и, например, такой человек, как Болотов, слух о котором шел уже по всей округе.

Глава пятнадцатая.

С описанием свадьбы Болотова, т. е. сперва сватовства и колебаний его, а затем и обряда бракосочетания.

Четыре раза сменялись на стенах города Кенигсберга орлы. При Елисавете Петровне утверждены были на них российские двуглавые орлы. И так стояли они до 26 июня. 27 числа, по воле императора Петра Третьего, двуглавые орлы были сняты и были поставлены между них прежние прусские одноглавые. 4 июля явились на стенах, по воле Екатерины II, опять российские орлы. А после 9 июля с Фридрихом сторговались, и на стенах навсегда утвердились опять орлы германские.

События мира внешнего слабо долетали до Болотова. Дворянство пока обживалось в своих усадьбах напрочно, готовясь требовать себе новые милости.

Болотов это время потратил на сватовство. Со свадьбой было почти уже решено. Пора было ему уже и посмотреть на свою невесту.

Спал в день перед отъездом к невесте Андрей Тимофеевич плохо и тревожно. Но видел сон, казавшийся ему важным.

Приснилось ему, будто находится он с невестой вместе в какой-то компании, и некто, указывая ему на девушку, говорит:

— Ну, вот твоя невеста, смотри ее себе, пожалуй.

Болотов всмотрелся. Сидит девушка годная и изрядная и не так уж малая.

Проснувшись, Андрей Тимофеевич наклонен был полагать, что в сне этом есть нечто чрезвычайное.

Дом невесты был небольшой и не слишком прибран. Жила невеста с матерью своей, женщиной тихой и разумной.

Всмотрелся Болотов в невесту. Видит образ и все черты ее, похожие на те, что видел он в сновидении. Однако, сколько ни старался всмотреться, не видел в девушке этой чего-нибудь пленительного или милого.

Лицо невесты было такое детское, что нельзя было и представить ее в супружестве.

Однако не было в этом лице ничего для Болотова противного или отвратительного, и он находился в нерешительности.

А уже надо было ехать домой, потому что на дворе собиралась метель, и ветер уже драл снега низом.

Дома ждала Болотова сваха Ивановна.

— Ну, боярин, были ли?

— Был.

— И видели?

— И видел.

— Ну, как показалась вам моя Александра Михайловна и матушка ее Марья Абрамовна?

— Марья Абрамовна кажется мне боярыней умной и степенной и не старой, а вот Александра твоя Михайловна девушка ростом довольно великая, но уж больно молода. Чтобы полюбилась она мне, того не могу я сказать. Но мне она нимало не противна.

— Ну, и слава богу, — отвечала Ивановна, — а полюбить полюбится. Хорошо, что не противна.

Тридцатого мая 1764 года был сговор.

Приехал Болотов в старинный домик невесты своей. Домик был мал — три только комнаты, разделенных между собой сенями. Окна почти вросли в землю, и крыша дома покрыта мхом не зеленым, а седым. Единственное украшение дома составляли тесом покрытое крыльцо и узкий цветник с черемухой.

Все это не очаровывало Болотова, но он не говорил никому, что у него на сердце.

Войдя прямо из сеней в комнату, увидел он ее наполненной множеством разряженных гостей, и так как многие из них были молодые, то искал жених глазами, которая же из них его невеста. Сперва он принял за невесту самую из девушек молодую и удивился несколько на то, что она так переменилась.

По учтивости однако подходить к невесте сразу нельзя было, а нужно было посидеть.

Болотовский дядя, посидев с ним минуты две, встал и от имени его сделал брачное предложение. И тут же пошли за невестой и вывели ее.

И оказалось, что это не та девушка, а другая и не такая уже тонкая, как думал Болотов, и с лицом более приятным.

Все встали и начали поздравлять обрученных.

Вышел приготовленный священник для обмена колец, и в эту же минуту загремел тихий гром весенней грозы, и полил сильный дождь, что почтено было всеми благоприятным предзнаменованием.

Вечерний стол прошел оживленно, и жениха с невестой посадили вместе.

Есть им не приходилось, столько их поздравляли и столько им приходилось в ответ кланяться.

На другой день невеста дарила, по старинному обычаю, людей Болотова, а он ее дворовых людей потчевал водкой.

Погода стала ненастная, и три дня не был Болотов у своей невесты. На третий день приехал с утра чем-то рассерженный и тревожный и застал невесту с матерью, нимало его в этот день не дожидавшимися.

Невеста была не прибрана, тоже тревожна, ласки Болотову не оказала не малейшей, а он на нее не мог и смотреть без принуждения.

С горем уехал Болотов и всю дорогу думал о том, нельзя ли как-нибудь отказаться от свадьбы. Но что было делать и какая невеста после того за него бы пошла.

А на дворе была буря, и кибитка заблудилась на недалекой дороге, вязкой, как в метель.

Измученным приехал Болотов к себе в деревню, без мысли заснул, а проснулся веселым, погода была хорошая, и решил он, что все образуется.

Свадьба была скромная, без мотовства, простая дворянская. Погода стояла наилучшая, июльская. В саду играли волторнисты. Это в первый раз слушали музыку деревья садов «Дворянинова».

Возвестили, что везут приданое. Приданое было, хотя и небольшое, так как невеста была сирота и переходила к мужу со всем своим имуществом, а платья шить ей было нельзя по той причине, что она еще росла.

Однако привезли приданое, по обычаю, на многих телегах цугом, только на каждой телеге стояло по малу.

Кровать вносили торжественно и церемониально.

Гости съехались еще за день. Переночевали, потом пообедали раненько и поехали в церковь.

Андрей Тимофеевич был почти вне себя и был в великом колебании.

Когда все кончилось, и поцеловал он в первый раз жену свою, то раздались со всех сторон поздравления, и начались взаимные рекомендации гостей, вступивших между собой в новое родство.

Из церкви торопились, чтобы попасть засветло.

К дому приехали, однако, в сумерки. Волторны приветствовали свадебный поезд уже издалека. На крыльце встретили молодых с хлебом-солью. Стол бы поставлен глаголем, и за ним, хоть и тесно, разместились все гости.

За столом молодые, по тогдашнему обычаю, ничего не ели. После ужина отвели молодых за так называемые сахары, т. е. за стол, уставленный разного рода конфектами. А потом отведена была невеста в спальню и раздета была гостями из знатнейших.

Тогда был очень древний обычай, чтобы гости ждали, когда фактически совершится бракосочетание.

Дружка ждал даже за дверью и кашлял, спрашивая: «Готово ли?».

Андрей Тимофеевич был человек деликатный и не хотел задерживать своих гостей. А гостям нужно было ждать иногда по нескольку часов, и ложиться спать было обычаем запрещено.

Так и продумал все это время Андрей Тимофеевич, только как бы не затруднить дорогих гостей.

Но все прошло благополучно, и гости не долгое время должны были сидеть молча, а сейчас же могли пойти к новобрачной и принести ей свои поздравления.

На другой день был так называемый княжий пир, который прошел уже веселее. А потом пошли разъезды по гостям. И тут началась уже совместная жизнь с женою, и начали молодые друг к другу привыкать.

Тут судьба нанесла Болотову жестокое огорчение. Он показал супруге першпективный ящик с картинками, но она посмотрела на эту диковинку с совершенным хладнокровием.

Храм удовольствия тоже ее не очаровал, и вообще, казалось, она имела характер самый хладнокровнейший.

Единственное то утешало Болотова, что много из того, что искал и желал он в жене своей, нашел он с тещей, а ее матерью, женщиной умной и согласной восторгаться болотовскими диковинками.

Глава шестнадцатая.

Содержащая в себе начало хлопот о земле, а также описание великого медицинского открытия и подробный рассказ о недобросовестности лекаря.

Теща болотовская любила книжное чтение, и к ней же адресовался Андрей Тимофеевич со всякими домоводственными разговорами. Чтение экономических книг, особенно иностранных, образовало Болотова. Больше всего интересовался он вопросами садоводства.

Скоро начал он пользоваться и плодами рук своих. Деревья переболели и начали подниматься. Цветники великолепствовали множеством цветов. Кроме того, придумал Болотов отдергивать силой и сажать на грядки молодые отрасли, которые вырастают подле пней и главных стволов больших плодовых деревьев.

Этими отрывками насаживал Болотов целые грядки.

Но домоводственные заботы Болотова вдруг приняли характер почти воинственный, потому что в стране происходило событие чрезвычайное.

Новая императрица по вступлении своем на престол обратила внимание на государственные земли. Очень много государственных земель

подарками ушло к любимцам и придворным, но главная площадь их перешла к дворянству следующим не прямым образом.

Государственные земли уже в большой части своей были захвачены дворянами, но владение это не было никак оформлено.

Издан был строгий указ, чтобы все те, кои завладели государственными лесами и землями, объявили о себе в комиссию о засеках с точным указанием, кто и сколько именно завладел казенными лесами и не желает ли он их купить. Еще было написано в указе: «ежели кто, имея у себя в завладении такие земли, не объявит, и после о том узнано будет, то у таковых описаны будут их деревни, половина коих отойдет в казну, а половина доносителю».

У Андрея Тимофеевича с дядей его Матвеем Петровичем в таких обстоятельствах находилась деревушка за Тамбовом. Людей там было довольно, а земли было на обоих только 10 четвертей, но была рядом степь длиною 40 и шириною в 30 верст. Эту-то степь и пахали крестьяне.

С другой стороны, если об этой степи заявить, да на свое имя закрепить, то получалось не горе, а великое прирощение.

Решено ехать было за Тамбов.

Ехали через Епифань, а от него на Раненбург. Ехал Болотов не спеша. Осмотрел и женину деревушку и, наконец, выехал через пески и лес в необозримую, ковылем поросшую степь. Степная деревушка Болотова состояла не из дворов, а из хибарок, утопающих в навозе. Землю в тех местах не удобряли, разве только под коноплянники, и навоз вырастал в горы. Лачужки были такие, что в них надлежало не входить, а влезать.

Взяли дворяне разумнейших из крестьян, сели на коней и выехали в степь искать краев завлаженной земли.

Степь утомляла глаза широтою. В степи видны были только бесчисленные стоги сена, а больше ковыля и не кошеного.

Желание было узнать, где здесь частновладельческие земли и где здесь вольная степь. Но этого никто не знал. Всего достовернее было одно, что распахано земли раз в десять больше, чем следовало по крепостям. И распахана она чересполосно с соседями.

В засечную комиссию решили показать наобум, что завледели Болотовы из этой земли — Андрей ста десятинами, а Матвей 75-ю десятинами. А сверх того хотят купить еще 500 и 300 десятин. Границей этой земли, по особому счастью для Болотовых, указали они овраг. Этот естественный рубеж помог им потом в бесчисленных спорах с соседями. Надеялись, что землю будут продавать не дороже, чем по гривеннику за десятину, и поэтому большинство указывало себе в покупку несколько тысяч десятин.

Болотовы, как люди бедные, были умереннее.

Обратно ехали благополучно, но потеряли, однако, около города Данкова лошадь, которая на плетневом мосту сорвалась в Дон и стащила бы за собой всю коляску, если бы кучер не успел обрезать постромки.

В Дворянинове Болотов начал жить уже просторнее. Прирубил сени и затеплил зал, а в старой кладовой устроил ткацкую, потому что было уже куда тканье продавать. Зима была благополучная, только на соседа попа Илариона напали разбойники и в бою убили брата его диакона.

За зиму эту сделал Болотов великое открытие. Случилось ему занедужиться, и жар жег его немилосердно. Лежачи подумал Андрей Тимофеевич, что хорошо было бы ему чихнуть, может быть, это и помогло бы. В самую эту минуту попалась нечаянно ему на глаза торчащая сбоку из сенника тоненькая былинка. Андрей Тимофеевич вытащил ее и поковырял концом ее у себя в носу. Опыт удался весьма счастливо, — Болотов чихнул и перекрестился. Чихнул вторично, и через несколько минут почувствовал, что жар приметно уменьшается. Тут Болотов погрузился в размышления характера философского:

«Чханье производит во всей внутренности нашей особливого рода революцию и некоторого рода удар и на полсекунды останавливает даже всю кровь в ее беге и движении, и самая сия полусекундная остановка по законам движения делает великое уменьшение в скорости. А так как от сей скорости движения происходит и жар самый, то должен и он уменьшиться некоторым градусом».

Отчихавшись Болотов почувствовал себя многим лучше. Случай этот он считал достойным быть записанным в летописях и в истории медицинской. Для чихания советовал Болотов пользоваться трубочкой из бумажки. Средство это он всем советовал и впоследствии утверждал даже, что отчихался от чумы. Но поверили в это средство только верный слуга Авраам и на все согласная теща. Прочие же люди ни чиханием, ни толченым песком, которым увлекался потом Болотов, лечиться не хотели и потому переносили жестокие болезни.

Особенно сильно болела жена, и Болотов на нее за это сердился.

Пока шли бумаги о тамбовской земле, пока созревал план о генеральном межевании, съездил Болотов по вызову одного из дядей своих в Москву. И тут увидел и иное врачевание. Умирал Матвей Петрович, не дождавшись государственных земель.

Дядя умирал, родственники его решили послать за лекарем Генишем, и так как человек животнолюбив, то дядя сам этому не воспрепятствовал. Доктор явился с видом важным.

— Карашо, карашо, — сказал он, щупая слабый пульс больного, — о, карош, карош, перемена добрая, надо скорей дать ему микстурка для подкрепления натура. Пожалуйт бумаг и перо, мой тотчас напишет.

Написав рецепт, доктор прибавил:

— Пошлит скорей Варварска аптек. Там только есть эта вещь.

Гонец в Варварскую аптеку был отправлен. Доктор выпил рюмку водки, поговорил о городских новостях и получил полуимпериал.

Андрей Тимофеевич вежливо подошел к господину Генишу и спросил по-немецки:

— Что вы скажете о состоянии больного?

— Ничего, кроме того, что не доживет он до сегодняшнего вечера и через несколько часов отправится в путь свой.

Болотов остолбенел от негодования. В это время приехал человек из аптеки и привез с собой штоф с лекарством. На рецепте было написано, что принимать нужно через два часа по столовой ложке и стоило лекарство семь рублей.

— Сукин ты сын, — сказал Болотов доктору (по-немецки), — сам говоришь, что больной не доживет до вечера, а выписал дорогое лекарство в таком множестве, что его хватило бы и на месяц. За что только платим мы вам деньги?

Глава семнадцатая.

В этой главе рассказывается о великом межевании и Болотовской, при том обнаруженной, хитроумности.

Ж на Андрея Тимофеевича забеременела. Это подвинуло Болотова на новые литературные упражнения: он начал писать книгу «Детская философия».

Одновременно было получено в болотовском имении известие об основанном в Питере «Вольном экономическом обществе».

Болотов получил случайно первую часть трудов этого Экономического общества. В книге было объявлено, что Общество состоит под особым покровительством императрицы. А к концу книги было приложено 65 вопросов, на которые можно было человеку, знающему деревенскую жизнь и сельскую экономию, ответить без большого труда.

Болотов решил торопиться, чтоб его с ответами кто не предупредил.

Для этого вызвал он своего приказчика и начал его обо всем расспрашивать и сказанное записывать. Приказчик стоял у притолоки и, спрятав обе руки в рукава овчинного тулупа, как в муфту, рассказывал Болотову о сельской экономии.

Андрей Тимофеевич все писал да оглядывался, не слишком ли гордый вид имеет старик.

Написать о сельской экономии было, впрочем, легче, чем завести ее на своей земле.

Имение было совершенно запутано чересполосицей, и полевые земли были даже не в разделе.

Но в конце 1755 года вышел манифест, произведший великое потрясение дворянских умов. Это был манифест о генеральном межевании, о котором мы уже упоминали. Одновременно было издано и извещение о ценах на государственную землю. Тут дворянство ахнуло, потому что цена ему показалась чрезвычайной. Повелено было брать по рублю с десятины, а за десятину строевого леса 3 рубля, а если земля была завлажена самовольно, то брать втрое.

Деньги были тогда дороги, и денег было мало.

Болотов, например, со всех своих деревень в год имел 480 рублей, однако и с этих денег ухитрился он при экономии купить раззолоченную карету, обитую внутри алым триком, за 50 рублей.

По случаю генерального межевания Болотов, наконец, нашел своему изобретательству применение, сделав собственноручно деревянную астролябию.

Деревню жены Андрея Тимофеевича уже межевали, и астролябия пригодилась тотчас же. Межевание прежнее и старинная русская геометрия были самые жалкие. Треугольник у нас считали, например, по площади равным произведению сторон, а не половине произведения основания на высоту.

Потому значила в землемерном деле что-нибудь только запись естественных рубежей, но рубежи эти часто бывали спорны.

Деревня болотовской жены уже была обмерена кругом, и все границы определились, остался только маленький промежуток земли, примыкающий к селу Хомякову. Весь этот участочек сам Болотов называл воротцами, и протяжение границы было только 10 сажен. Но тут догадался Болотов заспорить и объявить, что ему из Хомяковской земли за этими воротцами принадлежит полтораста десятин.

Дело было явно неправое, но Андрей Тимофеевич рассчитывал, что в хомяковской даче должно оказаться много лишней земли, и при споре это выплывет, а тогда придется или платить за эту землю втрое или уступать заспоренное Болотову, только чтобы не было огласки.

Земля хомяковская оказалась строевым лесом, и Болотову самому было неудобно ее захватывать.

Все соседи кругом считали дело Болотова несбыточным и нескладным, но, однако, хомяковским мужикам пришлось уступить и подать полюбовную сделку. Попытались они ночью срубить со спорной земли лес, но Болотов подал жалобу в межевую контору и взял с них еще за это срыву.

Внутри своего имения Болотов новой своей астролябией пока размежевался с родственниками. Межевать было трудно. Для раздела леса, например, приходилось лес рубить и делить бревнами.

Трудно было разделить и болотовских двоюродных братьев. Наконец, разделили, но в разделе забыли об одном небольшом хмельнике.

Спор дошел до драки, и братья дрались в самом хмельнике и всю посадку вытоптали.

Жизнь, казалось, еще раз вызывала Болотова в круг дел общественных.

Вышел в свет знаменитый Екатерининский наказ, и были произведены выборы в депутаты в комиссию для сочинения проекта нового Уложения.

Депутаты должны были быть от дворянства, купечества и даже от государственных крестьян.

Болотов очень боялся, как бы не выбрали его, поэтому он сказался больным и на выборы не поехал.

В комиссии собравшиеся люди, хотя и признали Екатерину «матерью отечества», но говорили много о нуждах своих и недовольствах, и кончилось это тем, что комиссия была распущена на время и более не собрана.

Болотов рад был, что не принимал участия в этом, как он говорил, ералаше.

За то получил он из Экономического общества печатный диплом с большой восковой печатью. Диплом этот удостоверял, что Болотов избран в члены Общества. Сперва это сильно утешало Болотова, но потом оказалось, что члены Общества не имеют ни особой формы, ни какой другой выгоды, приносящей привилегии, и с годами Болотов начал выражаться об Обществе уже иронически, тем более, что число членов умножилось, что Андрею Тимофеевичу было неприятно.

Сейчас же думать приходилось уже не о дипломах. Получено было извещение из Тамбовской губернии, что дело с покупкой государственной земли оказалось спорным, и соседи утверждают, что земля эта не государственная, а их собственная, и что в тех местах нет никакой пустопорожней государственной земли. В этом месте болотовские записки принимают характер несколько таинственный: он то утверждает, что ковыльная степь в тех местах была, то говорит, что ее там не было, то плачет о своей святости, то говорит, что пришлось ему употребить и волчий рот и лисий хвост.

Действительно, земля была как бы и не государственная, но купчая была довольно старая, а главное, что соседи тоже заняли чью-то землю, и в тех же местах указывали, что она государственная.

Сообразивши это, Болотов решил добром увидать соседей, чтобы они ему дозволили где-нибудь взять в одном месте землю, и если его к степи прильнуть не допустят, то устроить всем великие хлопоты, показав всем объявления копии, где соседи сами называли ту землю дикой.

Приехавши к Тамбову, Болотов увидел, что план его имеет некоторую надежду на осуществление.

Степь была вся пестрая от запашек, каждый брал землю, где хотел, считая место между запашками своим. А местами, действительно, торчали и кусты ковыля.

Дело было спорное, и нужно было только сговориться с господами дворянами.

С этими мыслями остановился Андрей Тимофеевич в своей деревушке. Уже два года были в той стороне большие недороды. Избы стали еще как будто ниже, потому что крыши пошли на корм скоту, навозные кучи стали выше, и все деревни были в глубоком упадке.

Болотов остановился в избушке с небольшим в сажень. Дверь была высотой в аршин и та расколотая на-двое. Спешно велел Андрей Тимофеевич прорубить небольшое окошко и затянуть его бычьим пузырем. Он собирался отсиживаться в деревне долго и даром соседям не сдаваться.

Глава восемнадцатая.

Продолжающая описание земельных споров в степи и подробности генерального межевания в деревне.

Главным врагом Болотова по земельному спору был господин Рахманов, помещик крупный и потому несговорчивый. Рахманова запугать было трудно, он прямо сказал, что земля не дикая, и купить ее Болотову было невозможно. Оставалось одно — об ошибке молчать, межевщика не брать и пахать землю пока на смелость. Но для этого нужно было согласие соседей.

Главный спорщик Рахманов с мужиками, шутами и приказчиками в дождь и ветер поехал делиться с Болотовым. Дележ был плохой, Андрею Тимофеевичу оставалось только соглашаться.

Шуты шпыняли и издевались над ним, а Рахманов вел примерную межу через землю, которую Болотов уже привык считать своею.

— Это не дикая степь, а покос! — кричал Рахманов.

— Хорошо, — отвечал Болотов и тянул в свою сторону.

Калякая и споря, все озябли. Шуты уже не шутили, а бубнили жалобно и уговаривали барина согласиться, и кое-как Рахманов уломался, но эта разделка не была окончательной, и через несколько лет, приехав домой, Болотов увидал свою землю распаханной и разодранной соседями в клочки и начал новую волокиту.

Спора, впрочем, Болотов не боялся, зная доводы бесспорные. Сам он рассказывал о воеводе Коломине.

Жил воевода, жил и состарился и лежал он уже при смерти, и тут принесли ему подписывать одну квитанцию. Коломин уже не имел силы говорить и дал только знак рукой, что он без взятки подписать не может. И до тех пор подписывать не приказывал, пока на грудь ему не положили целковый. Когда целковый был положен, Коломин закрыл глаза с видом утвердительным, вытянулся и умер.

Так жили пока дворяне, но дело уже шло к перемене. Начиналось новое время, и новая цена на землю, и новая дороговизна. Барщина все время росла, и появились вместе с новыми ценами на труд новые утеснения.

Рассказывает Андрей Тимофеевич — сосед его отдал одну девку в Москву учиться плести кружева. Девка на горе свое работу переняла хорошо. Когда возвратилась она домой, то заставили ее господа работать весь день, а в вечер еще по две свечи просиживать.

Девка убежала в Москву в мастерицы, ее отыскали и посадили в железо и заставили опять плести.

Через некоторое время освобождена она была на слово, что не уйдет. Было ей только семнадцать лет, и от великой работы и тоски отважилась она опять уйти, и опять была отыскана и была закована в кандалы, и на шею ей была одета рогатка наперевес, и при всем том принуждали ее рабо-

тать и днем и вечером. И ночевать ходить в холодную избу по снегу босиком. Проработав несколько месяцев, пыталась девка резаться, но рогатка помешала ей перерезать горло.

Хозяева пытались спасти девку, ценя ее золотые руки.

Когда разрубали топором железные заклепки рогатки, то горло кружевницы второпях еще надрубили. Прожила она еще в кандалах месяц и умерла, наконец, потому что рана начала заживать, и рубец задушил бедную кружевницу.

Болотов считал всю эту строгость чрезмерной, и сам впоследствии наказывал людей менее убыточным способом.

Время было тревожное, и у соседей Болотова, Вяткиных, убили саму госпожу Вяткину с дочерью за строгость собственные ее люди.

Но более беспокоило Болотова кровное дело генерального межевания.

Пока Болотов проверил домашней своей астролябией свою землю, подсчитал ее, и оказалось по связанию фигур, что земли и половины нет того, что ожидали, а между тем споров с соседями не было, и землею Болотовы владели спокон веку спокойно. Оставалось одно — заспорить при межевании с кем придется и, может быть, и удастся у кого оторвать, если окажется у соседа примерная земля. Так и было сделано, и Болотов заспорил со всеми соседями. Соседи были дворяне крупные, закупившие на свою сторону межевщика, Хитровы и князь Горчаков. С князем Горчаковым было спорное дело о лесе, и в этом деле сам Болотов более чем сомневался.

Было, однако, заспорено, и рубежи были указаны, и оставалось ждать решения.

Дело с землею тогда было темное, и даже расстояние между деревнями неизвестно. Болотов придумал мерить расстояние так: измерил он обод заднего колеса своей одноколки и узнал, сколько раз должно было обернуться колесо в четверти версты. Оказалось, что шестьдесят. Тогда посадил он на крыло своей одноколки мальчика из дворовых, привязал к спице колеса красную тряпочку и велел мальчику кричать, как только колесо обернется шестьдесят раз. И по крику сейчас же делал зарубку. И что же оказалось? От деревни Дворяниново до Каледина считали восемнадцать верст, а оказалось ровно двадцать четыре.

В ожидании дел строил Болотов себе новый дом уже с кафельными печами в 23 окна, с уборной и гостиной.

В это же время родился у болотовского двоюродного брата ребенок, и как ни был занят Болотов, а пришлось ему ехать на крестины. Крестить торопились, потому что дите было очень слабое.

Дите лежало тихонько и изредка только рыгало, и когда опустили бедного мальчика в холодную воду, то прекратилось в нем дыхание и вынули этого младенца из воды мертвым.

Андрей Тимофеевич очень случаем этим был смущен, так как думалось ему, что крещение было закончено уже над мертвым младенцем, что, конечно, грех.

А в теплой воде крестить было нельзя, так как по канону вода должна была быть беспримесной, а тепло считалось за примесь, и Ломоносов с этим напрасно спорил.

И так по прошествии этих значительных и незначительных случаев вычертил Болотов план своей земли и земли своих родственников на бумаге, сверил, и что же оказалось?

Вместо половинного недомера, из-за которого он уже заспорил землю у всех соседей, оказался перемер в 400 десятин.

Холодный пот прошиб Болотова. Такое количество земли потерять? Это было полное разорение. Вызвал Андрей Тимофеевич соседей своих, Михайла Матвеевича и Матвея Никитича, для тайной конференции. Показал им план.

— Что по оному плану выходит? — спросили дворяне.

— Ничего я вам прежде не скажу, покуда вы не дадите мне святейшей клятвы никому того ни под каким видом не сказывать и даже вида не давать.

— Клянемся и божимся, — ответили соседи.

— Друзья, — сказал тогда Болотов, — у нас оказалось много излишней земли в примере.

— Как же нам быть?

— Скрывать наивозможнейшим образом и твердить, что в наших далях и пустошах недостаток великий и при будущем межевании не зевать и не сморкать носа левой рукой, а употреблять все средства для удержания своего примера.

Так и решили.

А кругом уже шли межевые слухи о том, что соседи точат зубы на болотовскую землю, и волостные мужики говорят, что Болотовы захватили у них земли видимо-невидимо.

Глава девятнадцатая.

Содержащая описание генерального межевания, споров и разбор значения слова кокошить.

Тревожное время продолжалось. Происходили странные вещи. Шли невероятные слухи, которым Андрей Тимофеевич отчасти верил, а больше не верил.

Рассказывали, что в имении под Тулой старуха, обратившись в черную собаку, воровала детей и держала их дома, высушив в коробке.

Слухи были нелепые, но старуху сперва колесовали, а потом четвертовали.

Андрей Тимофеевич не придавал значения слухам, а занимался сочинениями экономическими и при помощи садовника своего, а также немецких книг напечатал несколько статей в журнале Вольного экономического общества.

Великое болотовское прилежание заменяло для него способности. Писал он так много, что у него болела от сидения грудь.

Но писание, тем более еще пока неоплачиваемое, не занимало всего времени доброго помещика.

Он готовился к межеванию, прикидывал планы при помощи домашней астролябии и закармливал землемера, как свинью.

Дело усложнялось тем, что с соседями болотовскими предки его заключили, очевидно, какие-то тайные сговоры и разделили неправильно занятую землю. Потому границы поместья не совпадали с естественными урочищами. Земля пропала у волостных, они ее и искали.

Уже в болотовском лесу был пойман мужик, который шарил между деревьев, отыскивая какие-то ямы. Болотовские родственники хотели мужика сечь, но Андрей Тимофеевич знал тонкую воинскую политику и отпустил пленника, не сделав ему никакого оскорбления.

В назначенный день Болотов и сосед его Хитров выехали на межу. На меже их уже ждали волостные мужики с возом черных спорных и белых бесспорных столбов.

С Хитровым Болотов спорить не стал. Дальше начиналась линия волостных.

Андрей Тимофеевич дрожал, что тут и пойдет спор.

Но на болотовское счастье поверенные волостных были все пьяненькие и с самого начала прозевали и линию пустили неверно.

За день прошли немного и для Болотова благополучно. К вечеру межевание было прервано дождем.

Несмотря на удачу свою, Болотов спал неспокойно и тревожно и во сне видел серебряные деньги, хватал их, но они оказывались фальшивыми, натертыми ртутью.

Проснувшись, Болотов проверил сон по самому лучшему немецкому соннику и удостоверился, что серебряные деньги означают серьезные дела, и обман, и слезы. Смутно пил свой травяной чай с медом и молоком Болотов в это утро.

Особенно наводило его на сомнение то, что овраги, по которым шла межа, давно уже назывались не так, как в старину. Сверх того упоминалась в писцовых книгах одна просека, идущая через всю гвоздевскую пустошь.

Если бы мужики сообразили, что просека эта ныне стала проезжей дорогой, то они бы сразу отхватили у Болотова весь пример.

В сомнительных чувствах ехал Болотов со своими двоюродными братьями на место межевания. Издали было видно, что дело неладно. Мужики ходили по болотовской земле, шарили, искали, шумели. Рядом со вчерашней вехой стоял воз с одними черными столбами.

Болотов бросился к старикам уговаривать, вспоминать свое с ними смирное соседство, но мужики были глухи и нечувствительны. Разгорячившийся Гаврило Матвеевич, сосед и родственник Болотова, закричал:

— Посмотрю-ка я, как-то волостные ко мне в дачу с сего времени толкнутся, и дурак я буду, ежели не укокошу первого, кто мне попадется в руки.

Один из мужичьих ходатаев закричал понятым:

— Слушайте, господа понятые, вот господин хочет убить до смерти человека, и было бы вам это известно.

Гаврило Матвеевич струсил. Дело выходило кляузное. Но тут в драку орлом влетел Андрей Тимофеевич.

— Из чего заключил ты, — сказал он, — что сродственник мой хочет убить до смерти человека? И как ты смеешь трогать так благородного человека. Что такое значит укокошить? Еще и не знаю, почему бы это значило убить? Я кокошу, ты кокошишь, он кокошит... Слово темное, и на это все надобен еще лексикон. И по-моему глагол этот ничего не обозначает, и слово это вообще не русское.

Ходатай обомлел от этого рассуждения и тотчас сплыл в сторону.

Болотов уже навсегда получил о нем дурное мнение.

Волостные повели спорную линию по своим сказкам, прямо через лес, но на старую дорогу не попали, так как направление было взято неправильно. Пограничная линия их два раза пересекла речку, чего по писцовым книгам не было, но и со всем тем спором волостные взяли из болотовской земли только двести шестьдесят десятин.

На утро межа вышла уже в места, где Болотовы чужой земли не захватывали, тут распелся Андрей Тимофеевич, показывая всем урочища и ямы, и следы.

Вскоре по межевому делу понадобилось ехать в Серпухов. Дело это было не простое, потому что в лесу сильно разбойничали. Для проезда догадался Андрей Тимофеевич одеть слуг в форму как бы военную — казакины с красными отворотами, сверх того люди были вооружены шашками и ружьями и похожи были для несведущего человека на солдат, если не полевых, то хоть гарнизонных.

При въезде в лес Андрей Тимофеевич дал людям следующее приказание: кучеру приказано было на случай нападения гнать лошадей, а бросать ворам в глаза сухой песок, для того нарочно приготовленный. Одному из слуг велено было стрелять, другому рубить палашом, а третьему биться рогатиной. Ехали через лес с обнаженным оружием.

По дороге стреляли в воздух из пистолетов. В лесу действительно видели нескольких человек, которые стояли на закраине, опершись не то на дубины, не то на рогатины свои. Разбойники напасть не решились, и болотовский отряд проехал благополучно.

В Серпухове дворян уже ждал межевщик, и здесь Болотову, который знал, сколько за ним примеров, пришлось дать одному соседу десять, другому двадцать десятин, только для того, чтобы подписать полюбовную сделку.

По вечерам играли в кидалки и в новоизобретенную карточную игру «Акулину».

Глава двадцатая.

О тысяча семьсот семьдесят первом чумном году, возмущении Москвы и чортике картезианском.

Год 1771-й первоначально ознаменовался победами над турками и потому казался благополучным. Болотов получил за этот год от Вольного экономического общества золотую медаль с поясным изображением Екатерины за свои экономические сочинения. Медаль эта стоила тридцать пять червонцев, и выдана была за сочинение «Наказ для управителя, как ему управлять в небытность господина в деревне».

Вся награда за это сочинение была назначена в семьдесят червонцев, но Болотов разделил по присуждению с другим соискателем Рычковым.

В это время Болотов готовил новую работу о семипольи, или о так называемом копельном хозяйстве, которое он видал сам в Германии.

Зимою спуталась совершенно погода — на Рождество прошла Ока, Москва осталась без провизии, зимою стояли туманы, и пошли слухи о чуме. Чума появилась, как говорят, через офицера, приехавшего из армии, действующей против турок. На фронте чума была ужасна. Рассказывают, что к воротам одной крепости раз прибежал солдат в полной форме и кричал, что-то размахивая ключами, и его звали в крепость, но он не входил. Тогда на стену вышел комендант и спросил, в чем дело. Солдат закричал через ров, что он из гарнизона соседней крепости, и гарнизон весь умер, он остался один в живых, запер крепость и принес ключи.

Вот какой была чума на фронте.

Чума двигалась. Средств против нее не знали. Говорили, что помогает от нее нюхание чесноку, другие говорили, что больше помогает уксус четырех разбойников.

Болотов надеялся на чиханье.

Москва носила черепаховые наперстники, по одну сторону которого была вделана скляночка с дегтем, а с другой — баночка с толченым чесноком. Пока же что Москва разбегалась. Жили тогда в Москве тесно, грязно и бедно. В первую очередь вымерла почти вся суконная фабрика у Каменного моста. Москву окружили карантинами, но дворяне умудрялись разбегаться.

Болотов находился в великом смущении и размышлял уже о том, как когда-нибудь историк будущих времен будет раскапывать остатки его усадьбы, мерить овинные ямы, смотреть на пни деревьев и никогда не узнает, каким замечательным человеком был Андрей Тимофеевич.

Пришел слух, что умер уже человек в соседней деревне. Все очень испугались, но тревога оказалась ложной, и приехавший мужик умер, как сказали, не от чумы, а от старости.

Но вот новый слух и слух достоверный — в соседней деревне чума.

Все испугались, но уже не так сильно, как в первый раз.

В гости перестали ездить. Приехали раз к соседям, а у соседей сидит беглец из Москвы, к вечеру же у тещи болотовской был жар, и появилась краснота на ноге, но не от чумы, а от мнительности.

Ездить по дорогам стало опасно — на дорогах стояли заставы, деревни не впускали к себе людей, или нарочно распускали слух о том, что у них уже чума.

Тут еще появилось странное поверие — говорили, что для того, чтобы избавить местность от чумы, нужно только бросить зачумленную вещь на дорогу, и чума перейдет к тому, кто вещь подымет. И по дорогам валялись зачумленные платки, шляпы, тулупы.

Сейчас мы знаем, что действительно чума через вещи передается.

И тут в Москве ударил бунт. Из Москвы уехали дворяне и ушли все, кто были побогаче. Зачумленный город был окружен карантином. Помощи ниоткуда никакой не было. По улицам ездили черные чумные телеги, собирая трупы. Рассказывали, что нарочно мазали люди ладони ляписом и, когда появлялись синие пятна, то здоровых людей объявляли чумными и имущество их грабили. Какой-то поп у Варварских ворот объявил, что чума произошла по воле иконы божьей матери на воротах. Не служили этой иконе молебна тридцать лет, за это бог решил послать на Москву каменный дождь, а потом передумал и решил наслать трехмесячный мор. Услышавши об этом, народ кинулся служить у ворот молебны. Для сбора денег поп поставил не кружку, а сундук с дыркой для бросания медяков.

Священство во время чумы отличалось вообще корыстолюбием, переходящим даже в мужество. Сам Болотов не мог добиться того, чтобы в соседнем с ним селе священники не отпевали чумных и не хоронили их при церквах. Панихиды пели, деньги собирали.

Архиепископ Амвросий пытался прекратить службу у ворот и хотел конфисковать сундук с деньгами; об этом городская полиция, получающая от богослужения свою долю, попов известила, вооружились кузнецы, работающие на Варварке, вопль и крик разлились по городу, как вода.

Все, даже дети, бежали вооруженными. Воинскую команду смяли и уничтожили, а архиепископ бежал. Толпа нашла его в Донском монастыре и убила, конечно, не только из-за одного благочестия.

Вооруженная, безначальная толпа разбила и разломала церковь, иконы, сосуды, престол, изорвала антиминс. Так во время лондонского восстания, поднятого против католиков, приняли участие в борьбе подмастерья против мастеров, а на суде оказалось, что среди восставших были и католики. Толпа решила штурмовать Кремль, занять Успенский собор, а дальше что — неизвестно.

Жил в Москве некий генерал Еропкин, человек давно уже положенный на покой, и мундир его лежал уже в сундуке вместе с другими вещами, пересыпанными нюхательным табаком. Услыхавши о бунте, Еропкин вспомнил единственное, что он знал: что надо стрелять. Сел Еропкин на старую белую лошадь и стал собирать разрозненные воинские команды

и стягивать их к Кремлю. Спасские, Боровицкие и Никольские ворота на своих вереях уже не имели воротищ и запереть их было нечем. Затворы были только на воротах Вознесенских.

Еропкин перед другими воротами велел поставить пушки. Толпа была уже перед Кремлем.

Старый генерал выехал к толпе и сказал: «Разойдись». Стар он был настолько, что толпа его не тронула, а только ответила ему: «Уходи, старикан, а то с лошади стащим».

Еропкин въехал в Кремль. Толпа пошла на приступ. Еропкин велел стрелять. Растерянность в городе была полная. Команды тоже ничего не могли сделать, но стрелять они умели. Первый выстрел был дан над головами. Второй залп в толпу. Ядра летели до Ильинки, уничтожая толпу. Народ побежал, оставя на месте горы трупов.

Чума продолжалась.

Еропкину Екатерина послала первейшие ордена империи.

Чума не уменьшалась, но Москва уже умирала тише. Зашитые в смоляное одеяние каторжники с крючьями ходили по Москве, собирая трупы.

На еропкинскую славу приехал в Москву граф Орлов. Орлову в Москве делать было нечего. Однако он остановился в Головинском дворце, выказывая тем свою храбрость и патриотизм. От великой топки дворец загорелся и сгорел. Впоследствии Орлов за храбрость свою получил великие награды.

Чума продолжалась.

Вокруг болотовской деревни шли с водосвятием, но и водосвятие не помогло — в соседних деревнях мерли.

Была уже осень, яблочный урожай в тот год случился большой, но и яблоки девать было некуда. Пробовали делать из них сидр, но не умели.

Тоска воцарилась в болотовском доме.

Однажды Болотов почувствовал озноб и жар и решил, что чума к нему прильнула. Со страхом удалился он в свою библиотеку и начал щекотать себе соломинкой нос. В немногие минуты жар, как казалось, спал. Утром Болотов проснулся, считая себя от чумы исцеленным. Однако, как человека добросовестный, он заметил, что в тот же день у него оказался понос, чем и объяснился жар.

В тоске и в чумной осаде Болотов все-таки находил себе развлечения.

Он в стеклянную банку налил воду и слепил из воска чертенка с горбом сзади и спереди. Банку он затянул пузырем. При нажиме на пузырь чертенок шел вниз. Когда Болотов руку отпускал, чертенок всплывал. Это та самая игрушка, которую сейчас зовут американским жителем.

В ту пору игрушка эта была великим чудом. Болотов ее показывал знакомым, те сочли американского жителя самым обыкновенным живым чертенком и читали хором: «Да воскреснет бог и расточатся врази его».

К этому времени наступила зима, и чуму как оборвало.

Глава двадцать первая.

Благополучие Болотовское, княжеское предложение и другие обстоятельства.

Без малого шестьсот человек составляли число подданных Болотова, и он считал положение свое благополучным. Сад и хмельник процветали, и Болотов начал даже сочинение о благополучии человеческой жизни и о средствах к приобретению оного. Одновременно он записывал свои душевные переживания в книжку под названием «Духовная кунсткамера».

Литературная слава Андрея Тимофеевича росла, и хотя он сам обижался на то, что после золотой медали получил серебряную, но слава вдруг начала приносить ему неожиданные прибытки.

Как-то сидел Андрей Тимофеевич в своем кабинете над книгой, и вдруг колокольчик за окном заставил его поднять голову. К дому подъезжала тройка. Из кибитки вылез человек небольшого роста, плотный собой.

Болотов посмотрел, человек ему казался странным, не то он какой благородный, не то из офицерского ранга, не то иного какого.

Между тем гость вошел, поклонился учтиво и спросил:

— Не Андрея ли Тимофеевича Болотова я вижу?

— Так точно, но осмелюсь взаимно спросить, с кем имею честь говорить?

— Я, сударь, Шебышев.

— Имя ваше.

— Лев, Петров сын.

— А достоинство и чин ваш.

— Секретарь, сударь.

Болотов провел господина Шебышева в гостиную. Гость на предложение сесть не сел и вместо того достал из кармана и подал письмо, запечатанное большой печатью с изображением орденов.

Болотов распечатал письмо, — оно было от князя Гагарина.

Писано было в этой бумаге, что князь приторговывает и хочет купить для государыни, т. е. для графа Бобринского, недалеко от Дворянинова лежащую Киасовскую волость, состоящую в четырех тысячах душ.

Князь просил волость эту совместно с секретарем осмотреть, а если эта волость будет куплена, то предлагал Болотову принять на себя над ней управление с четырехстами рублями жалования, казенными лошадьми для езды и приличным количеством хлеба для содержания.

Краска выступила на лице Андрея Тимофеевича, и руки затрепетали. Он ответил, однако, спокойно и политично:

— Все это хорошо; и все не худо, но, батюшка ты мой, я и своим состоянием доволен, людей и деревень хотя и немного у меня, но тем более остается у меня свободного времени для занимания науками и другими упражнениями, которые меня увеселяют.

— Все это хорошо, — в ответ подхватил господин Шебышев, — но поверьте, что и у князя вы много свободы иметь будете. Князь милый и невзыскательный человек.

— Но помилуйте, где лежит эта волость, что я и о имени ее никогда не слыхивал?

— В Коломенском уезде, на большой дороге из Москвы в Каширу, шестьдесят верст от Москвы, а потом в сторону верст тридцать.

Мысль о том, что, может быть, и в самом деле Апухтин уйдет, да и это предложение сейчас не безвыгодно, овладела Болотовым, и он решил ехать смотреть волость.

На другой же день Андрей Тимофеевич с Шебышевым в путь отправились и к вечеру были уже в Киасовской волости, что за рекой Окой.

Киасовка принадлежала княгине Белосельской. В деревне стоял большой барский дом с каменным низом, но дурно и беспорядочно построенный.

Посмотрели ревизские сказки, отметили новорожденных и умерших, осмотрели сады — сады были запущены. Напротив того, пруды прекрасные и полные рыбы.

Посмотрели бумаги. Оказалось, что имение еще с соседями не размежевано, и межевые споры очень сомнительны. Не понравился Болотову и местный народ — грубый, тананакующий, говорящий с наступом. Поехали в Москву докладывать князю.

Князь велел Болотову отпустить лошадей в Дворяниново, а самому остаться у господина Шебышева разбираться в делах. Решено было ехать сперва к землемеру и до покупки еще решить земельные споры.

Квартиру Болотов имел на Козьем болоте. Жарко в ней было так, что заниматься приходилось в одном белье, да еще тут донимали мухи. На дворе еще жарче, и только в конюшне нет мух, но смрадно.

Не одни мухи беспокоили Болотова — слух о Пугачеве шел по Москве гулом. Говорили все и говорили въявь о невероятном успехе бунтовщика, о армии, которая шла уже на Москву. Болотов знал, что вся, как тогда говорили, подлость и чернь будет на стороне Пугачева. Особенно боялся Болотов слуг своих, почитая их первыми и злейшими врагами.

Дом главнокомандующего тогда Москвой князя Волконского был уже обставлен пушками. Болотов был в ужасе, сидя в грозной Москве без лошадей для бегства. Андрей Тимофеевич считал себя уже погибшим, но вот князь решил поехать. Сели в карету, выехали в поле, и в поле как будто немного полегчало.

Осмотрели волость, заехали к межевщику Бакселю, и тут Болотов на изумление князя развернул всю свою межевую образованность. Болотов решил, что имение со спорами покупать не стоит, и что нужно предложить самой княгине Белосельской очистить землю от споров. Замечено было, что и межевщику приятнее будет разговаривать с Белосельской, чем с Гагариным — доверенным императрицы.

Поехали в Москву, в дороге несколько ободрились, узнали, что Румянцеву удалось заключить с турками мир, и с этим миром уже прискакал в Москву какой-то именитый чиновник, значит армию можно будет направить против Пугачева.

Сам же Пугачев, оказалось, не идет на Москву, а повернул на Саратов. Думают, что по причине недородности подмосковных мест.

Дворяне получили передышку.

Княгиня Белосельская была разведенной женой и жила на своей воле. Были у нее друзья, трое братьев Салтыковых, которые так хорошо прикроились к ее слабостям, что имели на управление дел доверенность и жили у нее безвыходно.

Шел слух, что они вплели ее в какую-то особую им одним известную секту. Во всяком случае сейчас они хотели продать имение княгини Белосельской за наличные деньги и торопились. Вертел всей этой машиной младший и умнейший Салтыков, Борис Михайлович. Не успел князь вернуться в Москву, как послал за Салтыковым.

Салтыков прилетел немедленно. Князь заявил, что волостью он доволен и одно только нашел дурное, но такое, что его от покупки удерживает.

— Что же такое? — спросил Салтыков.

— Спор межевой, — ответил князь и прибавил, — да расскажите лучше вы, Андрей Тимофеевич.

— Очень хорошо, — ответил Болотов и начал объяснять, в чем дело.

Но Салтыков перебил слова его:

— Когда так, ваше сиятельство, то нельзя ли, чтоб Андрей Тимофеевич пожаловал к нам, и самой княгине объяснил бы все дело, обстоятельно все рассказав.

И с этими словами господин Салтыков схватил Болотова и повез на княгинин двор.

Княгиня была не весьма преклонных лет и приятного вида. Она приняла гостя с отменной лаской и попросила рассказать о споре. Болотов спросил лист бумаги, чернил и перо, начертил абрис спорного участка и указал смежные и спорные земли.

Несколько минут продолжалось полное безмолвие, так все были оглумлены болотовскими словами. В молчании подали фрукты и варенье, княгиня заговорила с Болотовым затем о постороннем, а господа Салтыковы ушли совещаться.

Потом ушла и княгиня. Отсутствие продолжалось добрые четверть часа. После этого вышел Борис Михайлович Салтыков и сказал:

— Так как мы видим, что межевые дела вам в тонкости известны, то просим вас дать нам и совет.

— Если хотите скорейшего окончания этого дела, то надобно не пожалеть убытков для преклонения благосклонности межевщика и всей межевой конторы.

— А если бы вы съездили с нами, батюшка.

Это предложение было для Болотова неожиданно, но Салтыковы взялись за дело горячо, съездили к князю и получили его согласие.

Глава двадцать вторая.

Содержащая описание красот природы.

Лицо Салтыкова было мужественно и привлекательно.

Ехали в большой четырехместной карете. За городом разговорились, сперва о пустяках — о погоде, о дороге, потом начали чувствовать друг к другу симпатию. Болотов захотел испытать даже силы и душевные свойства своего соседа.

И так как по счастью выехала карета на высокое место, с которого видны были прекрасные места, то рассудил Болотов употребить самые их поводом к особенному разговору и орудием испытания, чтобы пощупать у Салтыкова пульс с этой стороны. Для этого, приняв на себя восторженный вид, начал Болотов будто бы сам с собой говорить:

— Ах, какие прекрасные положения мест и какие разнообразные прелестные виды представляются глазам всюду и всюду. Какие приятные зелени, какие разные колера полей. Как прекрасно извивается и блестит речка сия своими водами, и как прекрасно соответствует всему тому самая теперь ясность неба и этот вид маленьких рассеянных облачков.

Говоря эти слова, из книги Зульцера о красоте природы заимствованные, примечал Болотов, какое впечатление произведет это на его соседа, и не останется ли он бесчувственным.

— Прекрасно, — ответил сосед, — я сам люблю увеселяться красотами натуры и знаю драгоценное искусство утешаться всеми ее красотами и изяществом.

— Надеюсь теперь, — воскликнул Болотов, — проводить время свое в дороге без дальней скуки. Натура поможет нам прогонять ее. Станем говорить о ее красотах и утешаться совокупно.

Повосхищавшись природой, новые друзья приехали к межевщику. Сперва вошел к нему Болотов и сказал, схватя за руку:

— Друг мой, Баксель, если вы нам в сем случае поможете, то и дела ваши не останутся без благодарности существительной,—разумеете?

Затем Болотов вышел, и землемер поговорил с Салтыковым. Когда Болотов опять вошел, то глаза землемера блестели от удовольствия.

В Серпухове остановились на несколько дней. Кормили межевщиков, поили винами, сластили фруктами, конфектами и вареньем.

Пуншевая чаша установила окончательное дружелюбие. В Москву за провизией все время скакали новые курьеры. Зато, когда Салтыков и Болотов являлись в межевую контору, то все секретари и чиновники сбегались к ним с приветствиями, а так как имение покупалось сверх того для самой государыни, то дело решалось молниеносно.

В Москву возвращались друзья радостно и так быстро, что сердце Андрея Тимофеевича замирало, как бы колеса коляски не разлетелись в дребезги.

— Ба, ба, уже возвратились, — воскликнул князь, — и неужели все кончено?

— Кончено, — ответил Болотов и пересказал все краткими словами.

Но, пока составляли купчую, прошло еще три дня. Сумма, платимая за волость, простиралась до 120 тысяч рублей. Болотов устроил Салтыковым весь платеж серебром. Деньги считали целый день, отпуская их из одной из княжеских кладовых.

Везли деньги в фуре, запряженной десятью лошадьми. В это же время Болотов получил инструкцию на управление Киасовкой.

Задумчиво и устало вечером вышел подышать прохладным воздухом Болотов на улицу. Но не успел он отойти несколько десятков сажeней от своей квартиры, как вдруг встретилась с ним скачущая почти карета, и сидящий в ней закричал кучеру: «Стой». Из кареты вышел Салтыков и обнял Болотова.

— Я к тебе, мой милый и любезный друг, — сказал он, — мне хотелось еще раз с тобой проститься и вручить тебе вот знак княгининой благодарности за труды и старания, а от себя жертву моего к тебе дружества.

С этими словами Салтыков засунул Болотову в карман запечатанный конверт, а в другой небольшой сверток бумаги.

Болотов подумал, что ему вручают какую-нибудь безделицу и начал отказываться с горячностью.

— Для чего княгине убыточиться, одно удовольствие от дружбы и увеселительная наша прогулка служат мне наградой.

С этими словами выхватил Болотов из-за пазухи сунутый пакет и стал Салтыкову его в руки втирать. Но Салтыков опять всунул пакет в болотовский карман и сказал:

— Человек ты любезный, но не богатый, и тебе, моему другу, это сгодится.

Сказав это, Салтыков прыгнул в карету и закричал кучеру:

— Пошел!

Болотов стоял посреди улицы без шапки и оцепенело смотрел вслед исчезающей из глаз кареты. Он развернул сверток — в свертке было триста рублей золотыми империалами.

— Господи, — воскликнул Болотов, — какое множество золота.

С неизобразимым любопытством разорвал Андрей Тимофеевич пакет, думая, что в нем находится какая-нибудь вещичка.

Пакет был наполнен ассигнациями — здесь была тысяча рублей.

Такой суммы никогда Болотов не имел в своих руках, и по тогдашним ценам денег сумма была огромная. Сообразив все обстоятельства, Болотов почел дар этот не иным чем, как даянием бога и действием пеку-

щегося о благе провидения и пошел домой, будучи весьма доволен, что никто сего происшествия не видел.

Этот дар провидения убедил Болотова, что служба у князя не без выгоды, самые же деньги легли в основу болотовского капитала. Сколько было получено от Салтыковых господином Шебышевым, — неизвестно.

Глава двадцать третья.

Болотов вступает в должность управляющего, служба его. Описание набора улан, дворянских волнений и дворянского торжества.

С горем прощался Андрей Тимофеевич с полями и рощами любезного своего имения. После молебна поехал он со своими боярами в Киасовку.

Киасовский помещичий дом был большой, но странный, не уютно расположенный. Верхний этаж не имел печей, в нижнем этаже печи были, но у печей не было труб. Произошло это так: план верхнего и нижнего этажа были сделаны отдельно, а когда дом построили, то оказалось, что в верхнем этаже трубы вышли посредине комнаты. Тогда их сняли.

Лето было опять тревожное — шел 1774 год. Рассказывали, что Пугачев уже под Коломной. Был приказ вооружать народ. Плакали боярыни.

— Погибнем мы, как черви капустные. Здешние бородачи передушат нас, как бояр понизовских. Какая беда, и не лучше ли было бы нам сидеть дома, все-таки надежней и лучше.

— А мне так кажется, — ответил Андрей Тимофеевич с обычным своим благоразумием, — что здесь мы меньше подвергаемся опасности, нежели дома, там наши люди нас знают, и были бы нам первыми злодеями, а здешним мы еще не нагрубили, и наше дело тут сторона.

Между тем пришла строгая повестка, чтобы с каждых ста душ наряжали по два человека — одного пешего, одного конного. Приказано было также печь сухари.

Этих наспех вооружаемых людей приказано было называть уланами. Снаряжались люди на войну, итти никто не хотел. Решено было послать тех, кто от прежних рекрутчин освободился членовредительством — рубкой пальцев и другими, как тогда говорили, бездельничествами. Но нужно было и отправить этих людей.

Сход решил дать помогу каждому пешему по одному, а конному по три рубля в неделю. За лошадь платить шесть рублей, а за седло — полтину. Тут же согласились освободить от рекрутчины одного богатого мужика и взяли за это с него двести рублей срыву.

Собравши улан, Андрей Тимофеевич решил произнести им приличную нотацию. Болотов произнес:

— Помните, что вы не чьи-нибудь, а самой государыни. Так деритесь же хорошенько и не постыдите себя перед всем светом трусостью.

Затем, обратившись к самому ражему и бойкому из уланов, Бо-
тов произнес:

— Вот эдакому как бы так не драться — один десятерых может рать.

— Да, — сказал на это улан, усмехаясь: — стану я бить свою атию, а вот вас, бояр, готов десятерых посадить на это копье.

Оцепенел Болотов, но проглотил эту горькую пилюлю, сказав лько:

— Дурак и сукин сын, что ты мелешь.

Потом спросил, записал имя его для памяти, сказав:

— Хорошо, братец, хорошо, но ступай-ка, ступай, может быть, бе и не удастся, а там мы посмотрим.

Мужик и сам понял, что проговорился неосторожно, и пошел с проми, повеся голову.

Болотов имя его запомнил и впоследствии каждое наказание для го утраивал.

Пришел уже не слух, а весть наверная, что тревога была пустая, о Пугачева гонят. Погубила Емельяна осень и полевые работы, на котое расходились крестьяне из его армии, как ни пытался держать он их водными караулами. Погубила Емельяна рознь между киргизами и шкирами, между казаками и степными народами и рознь в самом креьянстве.

Болотов по прошествии опасности как вырос, и хоть трудна была у осень в нетопленном доме, но он успел построить себе маленький домик не вымерз.

Будучи по натуре мягкосердечным и разговорчивым, Болотов на естьян имел жестокость изобретательную, особенно после Пугачевского нта.

Привели раз к нему в Киасовке двух воров, воровавших и пойманх вместе. Допрос Болотов вел с веселостью и ласковыми словцами, но и допросе он никак не мог согласовать между собой их слова и признания. Один говорил то, другой — другое. Болотов увещевал их, затем призал их попеременно сечь. Сек более часа. Оба остаются при своих объявниях и клянутся. Уже и спины не хватает, опять секут. Дали передых, гом опять настилка; боясь, чтобы бездельников этих непомерным сечеем не умертвить, отчего хозяйству был бы убыток, вздумал Болотов отребить над ними особую хитрость.

Он велел скрутить им руки и ноги и бросить в натопленную жарко ню, накормив перед этим насильно самой соленой рыбой. Приставив огий караул, Болотов морил их жаждой до признания. Наказание он не считал окончательным. Он велел, раздев воров, вымазать их дег и водить с процессией по всем улицам села. Маленьким же ребятишкам ло приказано стоять на мосту и бросать в воров грязью, а всем крестьяи приказано было стоять около изб для смотрения.

Так отдохнул Андрей Тимофеевич от страха.

Другим делом Андрея Тимофеевича была поездка в Москву для переговоров с князем о повышении оброка. До Болотова платили в Киасовке четыре рубля с тягла, а Болотов считал нужным, чтобы платили шесть рублей с тягла.

Москва вся была занята одним только Пугачевым. Пугачев, уже замученный допросами и цепями, сидел в тюрьме перед казнью.

Болотов справил свои дела и хотел уже ехать в Киасовку, когда за ним заехал знакомый офицер.

— Андрей Тимофеевич, да куда же ты едешь?

— Назад на свое место.

— Да как же ты это, братец, уезжаешь от такого праздника, к которому люди пешком ходят.

— От какого такого?

— Да разве ты не знаешь, что сегодня станут казнить Пугачева и не более, как часа через два.

— Очень хорошо, братец, — сказал Болотов, наскоро вылез из кибитки, пересел в сани офицера и поехал на Болото.

Друзья нашли уже всю площадь на Болоте и всю дорогу к ней от Каменного моста установленной бесчисленным множеством народа.

Болотовский приятель знал всех полицейских офицеров и, подхватя Андрея Тимофеевича, летал с ним, ища удобнейшего места для смотрения.

Вскоре друзья увидели Пугачева, везомого на высокой колеснице, окруженной конным войском. Повозка была высокая и совсем открытая.

Все замерли и смотрели, и тихий шопот и гул раздался в народе. Колесница ехала медленно. Болотову смотреть было некогда. Он спешил к самому эшафоту, чтобы найти себе удобное место.

Эшафот был окружен сомкнутым тесно фронтом войск с заряженными ружьями. Внутри фронта была обширная площадь, куда не пускали никого из простого народа. Но товарища болотовского господина Обухова, как офицера, пропустили, при нем же и Болотова пропустили без задержания. К тому же они были дворяне, а дворян и господ пропускали всех без задержки.

И вскоре собралось внутри круга дворян превеликое множество — зрелище это было истинное торжество дворян над их общим врагом.

Болотов стал у эшафота не более, как на три сажени с восточной стороны. Эшафот был четырехсторонний, вышиною более сажени, обитый снаружи тесом. Лестница была с южной стороны. Посредине помоста был столб с воздетым на него колесом и с утвержденным на нем железной острой спицею.

Вокруг эшафота, на расстоянии саженей двадцати кругом, было поставлено несколько виселец не выше саженей четырех. К виселицам были уже приставлены лесенки.

Узники, назначенные для казни, стояли и лежали у подножия самого эшафота.

Не успела колесница подъехать к эшафоту, как Емельяна сняли с нее и почти внесли на помост, поставя у края. Внизу у помоста на лошади верхом стоял знаменитый московский полицеймейстер Архаров. Секретарь стал рядом с Емельяном на помосте, и началось громкогласное и расстановочное чтение.

Болотову было время насмотреться на Емельяна. Пугачев стоял в длинном нагольном овчинном тулупе, почти в онемении. У него борода была небольшая, волоса всклокоченные, и показался он Болотову совсем не похожим на Петра Третьего.

«Как можно было сквернавца сего почесть Петром III?» — думал Андрей Тимофеевич.

С этими мыслями Болотов оглянулся. На лестницах у виселиц уже стояли осужденные к смерти с тюриками, т. е. мешками, на головах и с петлями на шеях.

Толпа за фронтом войск молчала. Народ думал, что будет еще Пугачеву милостивый указ, того же боялись и дворяне. Но коль скоро кончилось чтение, то сдернули с Пугачева тулуп и платье и повалили на плаху. По приговору должны были обрубить у него сперва руки и ноги и только затем голову.

Болотов стоял в трех саженях от крови и ждал достойной мзды Пугачеву.

Вдруг произошло нечто неожиданное, — палач вдруг взмахнул топором и сразу отрубил Пугачеву голову. Кровь брызнула, и Болотов услыхал, как чиновник кричит на палача:

— Ах, сукин сын, что же ты сделал! Ну, скорей теперь руки и ноги.

В тот самый момент пошла стукотня и на других плахах, и в миг очутилась голова Пугачева на железной спице наверху столба, а отрубленные члены и кровавый труп на колесе. А в ту же самую минуту столкнуты были с лестниц и все висельники, и, оглянувшись, Болотов увидал их висящими и лестницы, отнятые прочь.

Превеликий гул от аханья, стона и иного восклицания раздавался в народе.

Потом части трупа начали развозить по разным частям города, потом жгли их и пепел рассеивали по воздуху, но Болотов уже возвращался домой, переполненный мыслями и образами виденного поразительного зрелища.

Глава двадцать четвертая.

Содержащая описание того, каким образом был нарушен Болотовский покой.

Несколько дней в киасовском доме проведены Болотовым в подробном рассказе домашним о казни Пугачева. Но однажды утром пришли к Болотову и сказали, что на двор привадили спасские крестьяне и желают его видеть. Солдат команды, постоянно стоящей в Киасовке, доложил:

— Пришли люди во множестве, рычат и мурчат и предводителем у них не староста, а какой-то Роман.

Поразился Андрей Тимофеевич смущением, услышав такую неожиданность, сердце в нем, как голубь, затрепетало. Однако, не подавая вида, сказал он солдату:

— Пойди-ка ты, любезный, задами в свою команду, чтобы люди на всякий случай были готовы.

А сам подошел к окну. На дворе было более ста крестьян. Приходилось выходить на крыльцо. Крыльцо было высокое, аршина на два выше земли. Вышел Андрей Тимофеевич и тихонько спросил:

— Чего вы, мужички, хотите?

— К тебе-ста пришли! — закричали мужики.

Такой неучтивый ответ смутил Болотова еще более, однако он имел дух скрепить свое закипевшее сердце и, даже засмеявшись, сказал:

— Это я и без того вижу, а вот зачем пришли?

Тут вышел Роман.

— Велишь ты платить оброка нам по шести рублей с тягла, а другие государевы крестьяне платят меньше. Да и в Богородицкой волости платят только по четыре рубля с тягла, а за что же с нас больше?

Эти слова вывели Болотова из терпения.

— Бездельник! — закричал Болотов, — как ты смеешь так говорить!

Но Роман ответил с упорством:

— А ты что за боярин, что с тобой не говорить? Мы твоему приказу не верим и такого оброка платить не хотим.

— Да ведь вас кнутьями передерут.

А Роман прямо в глаза Болотову:

— А мы не хотим.

— Ах ты, сукин сын, — начал Болотов и простер уже вперед свои руки.

Но Роман сам вбежал на крыльцо и закричал:

— Я-то не сукин сын, а вот про тебя я сейчас докажу. Бить ты меня хочешь, но это как бог кому поможет.

И с этими словами Роман схватил Болотова за ворот.

Тут сердце Болотова заледенело. Услышал он только писк в окнах, — то кричали его домашние.

Но капрал вывернулся неизвестно откуда между Болотова и Романом и столкнул мужика с крыльца, а из комнат на крыльцо вышли солдаты с обнаженными саблями и закричали:

— Не подходи, изрубим.

Все стояли оцепенев. Но дело было еще не решенное.

Тут сообразил Андрей Тимофеевич, что нужно в этом деле иметь лисий хвост и волчий рот. И начал с хвоста.

— Что вы, — сказал он, — затеяли, и разве я оброк сам придумал? Выберите вы двух или трех почтенных людей, которым поверить можно,

и спросите князя — сам ли он назначил оброк или я придумал. Да попросите князя тихохонько об убавке оброка и еще чего захотите.

Тут тотчас все зашумели и начали выбирать депутатов.

Тогда сказал Андрей Тимофеевич:

— Схватите Романа и держите крепче.

Солдаты связали Романа, забили ему рот платком, а на ноги наколотили тяжелые колодки.

Тут вздохнул Андрей Тимофеевич спокойно, пошел в свой кабинет и начал писать рапорт князю о событиях в самых живейших красках.

Время было еще очень тревожное, и потому депутаты из Москвы были отпущены без всякого оскорбления, только Роман был отдан Болотову на полную волю.

Болотов велел бить Романа плетьми, но не столько, сколько хотел, потому что боялся с ним связываться. Роман вытерпел наказание, не сказавши ни слова, ни вопля.

Но этим дело не кончилось.

Болотов приказал богатым мужикам деревни за Романом следить и скоро узнал, что Роман что-то говорил о государыне и о том, что она скоро в Москву приедет.

Потом узнано было, что ездил Роман к знакомому ему дьячку, очевидно, для составления челобитной. За Романом был послан следить солдат, а у дворца была поставлена засада. Не успел Роман со своей челобитной показаться, как засада его схватила.

За пазухой у мужика нашли челобитную с жалобой и на Болотова, и на самого князя Гагарина. Тогда князь велел закованного Романа отправить в самые отдаленные края Сибири.

И стало в волости тихо, и снова начал Болотов заниматься ботаникой и лечить своих знакомых недорогими травами.

В Киасовке же удалось ему разбить не плохой сад с газонами, прудами. Летом приказывал Болотов даже отправлять в лес множество людей и ребятишек для набирания светящихся Ивановых червяков. Так как животные эти почти неподвижны, то Андрею Тимофеевичу пришло в голову укладывать ими края куртин, дорожки, и ночью любоваться этой тихой иллюминацией.

Развлекалась и другими иллюминациями и сама государыня Екатерина. Был заключен мир с турками, и хотя по этому миру после многих усилий получили мы только очень небольшую часть Крыма или вернее даже берега Азовского моря с Таганрогом и Керчью, но торжества были очень большие.

На Ивановскую колокольню поднимали колокол в несколько тысяч пудов весом. Колокол по причине его большого веса поднимали не канатами, а поставили на превысоком костре, сгороженном из нескольких тысяч крест-на-крест рядами положенных бревен. И колокол стоял на одной высоте с тем местом на нижней колокольне, куда хотели его повесить, и уже отсюда его воротами перетащили на колокольню. Все улицы

в Кремле были уставлены войсками. Государыня шла под балдахином в порфире и большой короне. Земля стонала от звука и звона колоколов. Зазвонил новый большой колокол, и казалось, что качается от звона вся Ивановская башня, и многие боялись даже, что она рассыпется.

На Ходынке был построен павильон наподобие крепости. А кроме него другое полукруглое здание, составленное из открытых лавок в восточном вкусе. В этих лавках сидели люди в восточных костюмах. Товары были колониальные, и все это должно было изображать богатство завоеванного края.

Холм посредине Ходынки представлял часть Крыма. Большой павильон — город Эникуль, круглое здание — крепость Керчи, а полукруглое — Таганрог. Ходынское же поле изображало Азовское море, и поэтому на нем были построены корабли с мачтами и флагами.

Болотову все это мало понравилось, он считал неправильным, что поле не распахали, поэтому оно не было похоже на море с его волнами.

Кроме того был построен большой театр, а около театра круглые качели и шесты для лазанья. Но в театр мало кто шел, потому что был слух, что построен он непрочно и может развалиться.

Государыня сама сидела в павильоне, называемом Керчь, и сперва обедала, а потом играла в карты, а дворянству было разрешено ходить по всем комнатам, поэтому вокруг карточного стола стояла толпа и смотрела, как играет их обожаемая казанская помещица.

Многие же и здесь не были, а простояли весь вечер перед лавками, надеясь, что из этих лавок товар дворянству будут давать бесплатно, так они и простояли даром.

Потом был сожжен огромный фейерверк. Горели щиты: один фитильный с огнями разных цветов и другой прорезной, освещенный сзади множеством вращающихся сзади огненных колес. Потом жгли ракеты большими пуками сразу в двух местах, пуская огни навстречу друг другу. Фейерверк такой назывался павлиньим хвостом.

Семьсот ракет павлиньего хвоста воспламеняли все небо и сыпались горящим дождем. Дворянство торжествовало.

Глава двадцать пятая.

Болотовское благополучие продолжается.

Князь и в дальнейшем не оставил своего управляющего благотворениями.

Однажды Андрей Тимофеевич получил очень толстый пакет. В пакете были разные приказы по волостным делам и копия с доклада князя Гагарина государыне. На подлиннике были собственноручные отметки государыни. Один из последних пунктов содержал похвалы Болотову и просьбу о прибавке жалования сверх четырехсот еще двухсот рублей и перед

этой просьбой было всемилостивейше начертано: «Это зависит от воли вашей».

Этим Болотов был обрадован до чрезвычайности.

По прибавке денег не стал он увеличивать свои издержки, а с благоразумной бережливостью сохранял.

Подарок, полученный от Салтыкова, Болотов не истратил, а за проценты отдал киасовским мужикам, среди которых были и довольно крупные торговцы. Проценты Болотов считал умеренными, величину их сосчитать не трудно из слов самого Андрея Тимофеевича что за полтора года капитал удвоился, что Болотов считал явным божьим благословением.

Одну только роскошь позволил себе господин управляющий — он на собственный кошт у типографщика Гиппиуса напечатал первую часть сочинения своего «Детская философия».

Осень прошла в приготовлении к печати второй части «Детской философии» и в копании прудов. В один из последних дней месяца октября получил Андрей Тимофеевич новый толстый пакет.

— О чем бы таком, да еще нарочным?

И, любопытствуя, распечатал пакет тут же на месте.

Князь в коротких словах писал, что богородицкий управитель умер, и на место его назначен Болотов. Мысли Болотова перепутались. Богородицкое место было несравненно выгоднее киасовского.

— Ах, — произнес Болотов возведя взор свой к небу, — не явное ли это действие святого промысла, великий боже?

— Ах, воля твоя да будет святая.

После этого Андрей Тимофеевич запел: «Я был молод и состарился, но не видал праведника оставленным и детей его просящими хлеба».

Радостный побежал Болотов домой к жене и теще, которые занимались в это время обычными своими рукоделиями. Переведя дух и приняв спокойный вид за дверями, Болотов вошел и сказал:

— Как бы вы думали, сударыни, обо мне, и чем бы вы меня почитали.

Обе женщины молча смотрели Болотову в глаза.

— Нет, право, скажите мне, — произнес веселясь Болотов, — чем вы меня почитали? Ведь бессомненно управителем киасовским.

— Конечно, — сказали женщины, начиная опять работать.

— Ну, так знайте ж, что вы во мнении своем ошибаетесь, и моя милость не есть уже управитель киасовский.

Женщины всплеснули руками и враз воскликнули:

— Кто же ты теперь такое?

— А вот что, — я управитель, но не киасовский, а богородицкий.

И тут началось великое ликование.

Спешно передавал новый богородицкий управитель свои дела вновь назначенному преемнику. Преемник был обыкновенным дворянчиком, без всякой философии.

Нагрузил Андрей Тимофеевич не только всех казенных лошадей, но и всех приведенных из деревни собственных, и в Богородицкое пошел

целый обоз с разной рухлядью, картинами, с великим множеством ящиков, с картузами, набитыми лечебными травами.

Дорога еще не установилась. Сани шли где по снегу, где по грязи, где по голой земле. И вот показался Богородицк. Это был город не город, село не село, но место во всяком случае многолюдное. Посредине Богородицка была площадь, на площади стояла вчерне отделанная церковь и несколько каменных зданий, а позади них немалой величины каменный дом, называемый даже дворцом.

Дом для управителя был покрыт тесом, и весь он наподобие замка оброс мазанками, сараями и службами, покрытыми отчасти тростником, отчасти дерном. Дом был уже истоплен, и Болотов въехал в него, как в рай.

Наспех познакомился Болотов со своими подчиненными, тремя канцеляристами, лекарем и архитекторским помощником. И тут сразу же явились к Андрею Тимофеевичу наилучшие из тамошних купцов с кульками, набитыми всякой всячиной.

Встарину Богородицк был городом с деревянной рубленой стеною и воеводой. А потом заведен был в Богородицке большой казенный конский завод, и тогда было уничтожено воеводское городское управление и жили под управителем, а потом и завод уничтожили, а волость сделалась собственностью императрицы, и из бывшего правления основано было особое волостное. Купцы получили свою ратушу, но зависели, главным образом, от управителя.

Болотов принял купцов, как людей, хотя и не состоящих у него в команде, но от него зависящих. Купцы кланялись ему рыбой, что по постному времени было и понятно. Поговорив с купцами, Болотов проследовал в башню, где была расположена канцелярия.

Там стояла уже выстроенной воинская команда в двадцать человек солдат, а в одной из боковых комнат стоял сундук с денежной казной и над ней часовой с обнаженным тесаком. В другой комнате стоял стол, на столе было красное сукно, и стояло зерцало. Зерцало — это особый ковчежец, содержащий в себе приказ об открытии данного учреждения. Тут Болотов понял, как он возвысился. Он умилился и сказал:

— Доставила-таки судьба мне случай сидеть за красным сукном и зерцалом.

Тут же увидел Болотов жалкенького человека в простом нагольном тулупе.

— Это что за человек? — спросил управитель.

— Это стекольный подмастерье Вильгельмсон.

— Да какой он, — русский, что ли?

— Нет, немец.

Болотов заговорил с подмастерьем по-немецки, и заговорил довольно изрядно.

Жизнь в Богородицке была тихая и привольная. Дела были налажены старым управителем Апухтиным, так что не требовали поправлений и перемен.

Надлежало только искоренить воровство. Главный вор оказался понамарем. Хотя понамаря должны были наказывать и по духовной линии, понамарь вздумал ерошиться.

— Я тебя не боюсь, я тебе докажу и выпорю тебя, сколько моей душе угодно.

И выпорол, конечно. Правда, при встрече архиерей начал было Болотову выговаривать, но потом сам улыбнулся и махнул рукой.

Для предотвращения ссор мужиков между собой Болотов запретил драки и велел при получении оскорбления ехать к себе жаловаться. Если это приказание исполнялось, то он жалобщику выдавал обидчика головой, и тот имел право обидчика по щекам бить и даже сечь, сев ему на голову.

Для Болотова эти сцены служили так сказать развлечением, и он говорит, что происходящее у него на судах исторгало из его глаз иногда слезы удовольствия.

Вильгельмсон тоже пригодился Болотову. Прежде всего он обучал сына болотовского немецкой азбуке и чтению. Кроме того вклепывали на него разные истории, и был он у Болотова изрядным полушутиком, хотя все его за бесхитростную простоту любили.

Но главным занятием и улучшением Андрея Тимофеевича навсегда остались сады и фонтаны. А так как рабочих он всегда мог послать, сколько хотел, то и начал Андрей Тимофеевич в Богородицке в большом виде делать то, что делал в малом виде когда-то на подоконнике своей кенигсбергской квартиры. И в этих занятиях и прошла его зрелость, и подошла старость.

Глава двадцать шестая.

Болотов знакомится с приватным человеком Новиковым.

Дворяниново ушло для Болотова совсем на задний план. Наезжал он туда редко, с огорчением видел запустение садов, но хлопотать о Дворянинове было невыгодно, выгоднее было служить управляющим и судиться со степными соседями о новой земле или искать случая через какие-нибудь «воротца»—участок земли, прилегающий к казенной степи, продраться дальше в свободную землю. К тому же Болотов начал издавать журнал «Сельский житель», правда, журнал шел не очень сильно, число подписчиков достигло всего только 80 человек, но в деле литературном Андрей Тимофеевич, как и в садовом деле и в деле построения разного рода беседок, был бескорыстен. Он не мог не писать.

В Москве набиралась уже в Университетской типографии 2-я часть «Детской философии». Шел 1779 год. Университетская типография перешла в приватные руки Николая Ивановича Новикова.

Новиков был уже прославлен, как издатель нравственного и сатирического журнала «Живописец». Сейчас он развивал деятельность необычайную.

Николай Иванович вводил печатание книг большим тиражем, а также оплату рукописей. Болотова принял он с лаской и благоприятством и предложил ему продолжать издание «Сельского жителя».

— Очень хорошо, — ответил Болотов, — я от того не отрекаюсь, и если вы принимаете на себя печатание издания, то я на то согласен тем охотнее, что у меня есть довольно материи, для печатания заготовленной.

Решено было издавать журнал с 1780 года, и не по одному, а по два листа в неделю. Уже Ригер, переплетчик и университетский книгопродавец, издавая болотовский «Сельский житель», платил ему за годичный труд двести рублей в год, беря за номер журнала в год четыре рубля. Журнал был анонимный.

Новиков предложил Болотову четыреста рублей годового жалования, что получалось за сто приблизительно листов — четыре рубля лист. Болотову плата эта показалась чрезвычайно высокой, сверх того посоветовал Новиков Болотову присылать статьи к нему по отдельности, давая уже ему право располагать листы журнальные, т. е. Новиков принял на себя и верстку, и отчасти редактирование. Журнал было решено переименовать в «Экономический магазин».

Журнал выходил при «Московских Ведомостях» с 1780 по 1891 год, и всего составилось сорок толстых томов. Полное название его «Экономический магазин, или собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских строений, домашних лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных и небесполезных городским и деревенским жителям вещей в пользу российских домостроителей и других любопытных людей образом журнала издаваемой».

Этот журнал почти целиком наполнен разного рода переводами и похож на то, что в наших журналах называется отделом смеси. Статейки совсем небольшие, тут есть и статьи о позолоте, и заметки об ученой лошади, которая умела выпивать рюмку вина, не пролив ни единой капли, и о прочих редкостях. Журнал был не агрономический, а действительно скорее домоводческий. Помещал в нем Болотов и собственные свои статьи.

Человек Андрей Тимофеевич был дотошный и мелочной, любящий изобретать и копаться, например, заметил он однажды, что на книгах иногда появляются желтые пятна, и что эти желтые пятна имеют свойство увеличиваться. Первое средство, которое Болотов предложил было, пятна эти ножем вырезывать, и так перепортил он великое множество книг, а потом он напечатал в журнале способ эти пятна обводить карандашом, уверяя, что за карандашную черту пятно дальше не идет.

С книгами вообще Болотов обращался по-своему, картинки, например, он из них вырывал и вклеивал их в одну книгу, в которой было более тысячи вклеек. Трудоспособность и трудолюбие Андрея Тимофеевича были даже вредоносны, потому что он пустяками мог людей довести до гибели, но Новиков сумел занять Андрея Тимофеевича полезным делом.

И так материальное положение господина литератора и управителя ›лее чем упрочилось, а через объявления о выходе журнала он почувствовал себя как бы возведенным на пьедестал.

В это же время Андрей Тимофеевич успел написать пьесу «Честозал», и собственные его дети эту пьесу разыграли.

Год выхода журнала прошел благополучно. Через год Андрей Тимофеевич посетил своего издателя. Новиков жил недалеко от Торговых ядов, и Болотову удобно было каждый день у него обедать.

У Николая Ивановича каждый день обедало несколько человек, казывающих ему большое уважение. Болотов больших дел не знал, и для го Новиков был прежде всего арендатором типографии, и общее уважение, кружающее Новикова, Андрея Тимофеевича несколько даже удивило.

Николай Иванович говорил со своим сотрудником ласково. Андрей имофеевич сам тогда ободрился и сказал:

— Трудов моих много, и писать мне приходится множество, не ибавите ли чего-нибудь за мою работу?

— Хорошо, — сказал Новиков, — прибавлю вам на первый случай рублей, а там посмотрим, как пойдет дело наше, и если число пренуметов увеличится, то я еще прибавлю.

Новиков предложил также переводить книги — духовные сочинения сподина Тидена, но книги для перевода были трудные, более понравилась ›лотову книга, купленная им на Ильинке у господина Ридегера, — это был мецкий роман под заглавием «Генриетта, или гусарское похищение».

На следующее утро, встав рано, провел Болотов несколько часов мыслях над новокупленной книгой, а также в размышлениях о том, что кое сам Новиков, и нет ли в сообщничестве с ним какой опасности.

После обеда Новиков вызвал Болотова в свой кабинет и спросил:

— Не принадлежите ли вы к какому-нибудь ордену?

Андрей Тимофеевич пришел в ужас. Он решил, что на него хотят ложить узду и завлечь его в недозволенное предприятие. Новиков жду тем говорил о «вольных каменщиках», о братстве, дружестве и агоденствии. Все слова эти Андрей Тимофеевич старался даже и не слыть. Наконец, Андрей Тимофеевич перебил хозяина:

— Батюшка, Николай Иванович, дружбу, приязнь иметь я с вами гов, но от предлагаемого вами покорнейше прошу меня уволить. Не вы рвый стараетесь преклонить меня в масонский орден или в другие секты общества, но я дал с молодых лет на себя зарок не вступать ни в какое кровенное общество.

— Но почему же?

— А потому, что, зная существенно один наш христианский закон, маю, что нам и того достаточно, что мы, христиане, исполнять по нему язаны.

Новиков замолчал, потом сказал уже холоднее:

— Орден наш не противен христианской вере, и среди нас оной ›ы почитатели.

— Знаю я, — перебил Болотов, — но я ни в какие общества не пойду, а вот что касается почтения и дружбы, то вы со своей стороны мною будете всегда довольны, а о прочем перестанемте говорить.

— Ну, что же, — сказал Новиков, — что с вами делать. Продолжим просто наше дружество.

Этот случай сделал Андрея Тимофеевича особенно осторожным, и он перестал приезжать к Новикову по вечерам, так как вечером тут собирались молодые люди, видимо, коротко между собой знакомые, и все имело вид сокровенного собрания.

В тот же приезд предложил господин управляющий Новикову издать роман «Генриетта», Новиков согласился, сказав:

— Сего рода сочинения и книги несравненно скорее с рук сходят, чем степенные.

Новикову приходилось издавать романы, потому что серьезные книги часто не проходили и в двухстах экземпляров.

В тот же приезд познакомился Андрей Тимофеевич со знаменитым стихотворцем господином Херасковым, но и Херасков заговаривал с Болотовым об отвлеченных материях и как будто сбивался на разговор о тайных обществах, и Андрей Тимофеевич положил в отношении с ним принимать всевозможнейшую осторожность.

Иное впечатление, чем вельможа Херасков, произвел на Болотова славный в тогдашнее время стихотворец Костров. Он удивил Болотова своим бедным видом и дурною фигурой. Болотов жалел даже, что ему случилось узнать его лично.

Костров был поэт замечательный и большой знаток латинского и греческого языков. Переводы его и сейчас не устарели, но Болотову он не мог понравиться уже по самому своему происхождению, — Костров был всего-на-всего сыном экономического крестьянина.

С этими мыслями вернулся Андрей Тимофеевич в любезное свое Богородицкое. Он вез с собой не малую кладь книг, которые Новиков предложил ему на комиссию для продажи в Туле и других провинциальных городах, но книги не пошли, а Болотову пришлось заняться немедленно по приезде иным делом, а именно ловлей кошек, потому что через Богородицк должен был проехать наместник, который, как говорили, кошек так боялся, что при одном виде их падал в обморок.

Поэтому приказано было всех кошек изловить и запереть.

Глава двадцать седьмая.

Неожиданное Болотовское возвышение и весть о гиршфельдовских иррегулярных садах.

Новиков советовал даже Болотову наплевать и расхаркать на князя Гагарина, донимавшего Андрея Тимофеевича разными комиссиями, а вместо этого заняться литературой, но произошло событие необыкновенное, которое Болотова со службой примирило.

Уже пятый год издавался «Экономический магазин», и книга о благополучии под названием «Путеводитель к истинному человеческому счастью» печаталась.

В этот самый сентябрь 1783 года получил господин управитель от нового своего командира Давыдова извещение, что он представил его к чину, будучи у императрицы в Царском селе, и что государыня на это ни слова не возразила и с тем согласилась, и что граф Безбородко сообщил таковое именное повеление генерал-прокурору 20 августа и уведомил о том через письмо князя Вяземского, бывшего тогда генерал-прокурором сената, а господин Давыдов одолжил Болотова заблаговременной присылкой копии.

Перо выпало из просвещенной руки. Будучи хорошим семьянином, Андрей Тимофеевич побежал из кабинета к своим домашним для сообщения этой радости. А для сделания чувствительного сюрприза понес им и самую копию с письма Безбородко.

Жена и теща в это время по обыкновению занимались наблюдением за тканьем и бумажку болотовскую в руки брать не хотели, думая, что в ней содержится какая-нибудь неприятность.

— Ты уж лучше сам читай, батюшка.

Наконец, взяла в свои руки письмо матушка теща. Прочтя до половины тихомолком, вдруг опустила бумагу и воскликнула, обращаясь к жене Андрея Тимофеевича, а к своей дочери, и сбежавшимся внукам:

— Сударыня, Андрея Тимофеевича государыня пожаловала чином, и тебе полно слыть уже капитаншей и ты теперь госпожа ассесорша и штабс-капитанская жена.

И так как было это в утреннее время, то сейчас же подали завтрак и бутылку шампанского, а после завтрака Андрей Тимофеевич побежал подписывать бумаги новым своим званием.

Так поднялась болотовская слава, как какой-нибудь воздушный шар.

Подъем же воздушного шара Болотов видел в следующем году в Москве за Сущевским валом. Пускал шар француз. Народу собралось множество, одного дворянства несколько сот человек.

Посредине был круг, обведенный толстой веревкой, а в середине круга осьмиугольная башня из рогожных щитов, внутри которых наполняли шар горячим воздухом. Несколько сот карет стояло вокруг всего большого круга, утопая в бесчисленном множестве черного народа.

И вот через несколько часов появилась из верха башни верхушка огромного полосатого шара, сделанного из тафты двух цветов. Шар подымался из башни, как луна из леса. По несчастью, уже при самом отрезывании шара, тафта загорелась, и шар поднялся в темном дыму. Однако полету шара было не менее пятидесяти саженей. Поднявшись на такую высоту, шар полетел в сторону и упал тут же за каретами.

Рисунок этого события Болотов впоследствии сделал по памяти. Прямо могу сказать, что подъем дальнейший Болотова, если не считать

его богатения, был не велик, и умер Андрей Тимофеевич в 1833 году тем же самым коллежским ассесором, т. е. в чине этом он пробыл 50 лет. Что помешало чиновней удаче Болотова, я сейчас расскажу.

У Новикова получил Болотов экземпляры своей книги о благополучии. С наслаждением прочел Болотов также и весьма лестное для него объявление о выходе этой книги. Нужно было готовиться к отъезду в деревню. И тут-то купил книгу об английских иррегулярных садах, написанную господином Гиршфельдом. Книга была с рисунками, с изображением дорожек, садовых зданий.

Болотов дышал жаждой построить такой сад. С трудом дотерпел он до святой недели, и как только от снега обнажились берега и вершины холмов, Андрей Тимофеевич пошел осматривать эти еще холодные влажные места. Так приступил он к своему важнейшему труду.

Тут же был учинен наряд с волости множества работных людей без лошадей и с лошадьми и розданы были уроки, кому возить камень, кому сравнивать горы, кому горы насыпать и кому делать дорожки. Для дорожек снимали дерн до глины и потом засыпали дорожку песком, поливая его водой из ушата.

Тут же Болотова ожидала великая радость. Как только он дошел до одной горы и велел с нее снять дерн, то гора та оказалась состоящей из мраморных песков мягкого песчаника, испещренного разными жилками. Над мраморными песками Андрей Тимофеевич задумался и пока принялся за водопады.

Для водопада нужно было вести воду за две версты по рыхлому грунту через горы, но Болотов не устрашился никаким трудом и воду провел. Из воды вышел водопад, маленькие водоемы и шумки, совсем маленькие водопады с приятным журчанием.

На горе с мраморными песками Болотов велел высечь несколько пещер, а всю наружность горы обтесать наподобие развалившегося замка.

В саду был устроен и фонтан. Для фонтана вода была перепроведена из поставленной на высоком помосте сорокаведерной бочки; воду в бочку наливали руками.

Кроме того на одной горе было сделано обманное здание, в перспективном виде. Земля была усыпана где белым песком, где желтым, кровля укладывалась кирпичным щебнем, ворота и окошки углем. По саду были рассажены кустарники, которые темным своим листом как будто отрезали низ деревьев.

Сад требовал все новых и новых трудов. Уже по весне оказалось, что дорожки нужно чистить, а с изобильно посаженной черемухи снимать паутину руками ребятишек чуть ли не всего города Богородицка.

И вот, наконец, приехал сам господин наместник.

Еще на дороге заметил он обманное здание и воскликнул, вместе с едущим с ним землемером:

— Что это за здание, Андрей Тимофеевич, и как мы его не видели?

— Ваше превосходительство, здание это дня за три совсем не существовало, и воздвигнуто служебными духами для доставления вашему превосходительству приятной минуты при воззрении.

— Ну, Андрей Тимофеевич, — сказал наместник, — этот сюрприз для меня отменно приятен.

— Желание угодить вам, ваше превосходительство, было моим наставником, — отвечал управитель.

После этого господин наместник осмотрел лесочки, шумки, дорожки, земляную улитку, т. е. кучу земли, в виде огромной улитки обделанную. После этого был завтрак с осмотрением садовых книг и с выбором будущих зданий. Просмотрены были все пять частей гиршфельдовских книг, потом наместник осматривал болотовскую церковь с богом Саваофом, написанным на зеркалах, и с бумажными вазами.

Наместник был тронут и растроган и велел продолжать садовые строения.

Болотов был человек затейный. Кроме книжки записок вел он еще ежедневный дневник, и нужно сказать, что в дневнике он был суше, строже и честней, чем в записках. Вероятно, записки сразу предназначались для чтения. Но он был рукодельник и украшал записки свои, как церковь и леса, и умел придавать пустякам ненужное значение.

По отъезде наместника Болотов принялся из старой погребной ямы делать пещеру, пещеру он отделал сперва деревом, дерево заклеил камнями и раковинами, раковины сверх того были вызолочены и посеребрены.

Кроме того, по сырой штукатурке стены были покрыты битым стеклом и слюдой; в стенах были сделаны отверстия, а в своде был срублен фонарь с четырьмя оконцами, и на фонаре стояла мраморная статуя. входов было в грот четыре — две настоящие стеклянные двери и две фальшивые зеркальные. Против окон был поставлены зеркала вкось, в этих зеркалах отражался весь город.

Трудились над этим сам Болотов, штукатур, маляр, переплетчик, садовник и сын Болотова два месяца.

Грот был закончен с великолепием. К концу года Болотов получил за все это великолепие еще прибавку к жалованию — 150 рублей. Теперь он получал в год одного управительского жалования 750 руб., а имение, купленное в Тамбовской губернии почти за пять пальцев, одними арендами угодий давало ему восемьсот. Все это приводило Болотова в великое утешение, и он даже стал придумывать по сему случаю разного рода ребусы:

П Д
з е

что означало: «Большой покой на земле — великое добро есть». Но не все было добро над землею, и в семейной жизни утешал его только сын его Павел — Пай, прилежный работник со слабыми глазами, и теща, всегда согласная восхититься зятем.

Жена же Болотова скучала и страдала невоздержанием к пище, отчего сильно худела. Сверх того она имела суетливый и заботливый нрав и хотя никогда не болела так, чтобы лечь в кровать, но рядом с веселым и занятым мужем всегда находилась в мрачной ипохондрии.

Глава двадцать восьмая.

Продолжение рассказов о надворных работах, а также описание катастрофы, с Болотовым случившейся.

Наместник осматривал сады с удовольствием, особенно понравился ему меланхолический черный памятник с белыми надписями, стоящий в укромном месте сада. Это было уже второе лето существования нового сада, и Болотов пустился к этому времени на новые хитрости.

Сперва думал он поставить среди сада башню вроде развалин и оплести ее плющем — все это тоже для меланхолии. Уже сделаны были для этого два сруба, и нужно было только нагромоздить их один на другой.

И тут новая идея пронизала мозг Болотова, как ток электрической машины. Видел он в гиршельдовской славной книге один эстамп, представляющий некоторого рода пышные, но уже начавшие разваливаться триумфальные ворота, с двумя комнатами по сторонам. Тут решил Болотов, что такие триумфальные ворота на вершине сада и что можно будет в комнатах таковых устроить хорошенькие беседки или даже каменные купальни. И тут сообразил Болотов, что если приготовленные два сруба поверху соединить аркой, то и получатся нужные ворота.

К утру снаряжены были уже подводы и плотники, и в неделю вся работа была произведена. Раскраску производил сам Болотов, и новое здание, по его мнению, представляло собою наипрекраснейшую садовую сцену.

Сама природа как будто покровительствовала Андрею Тимофеевичу. Он приказал сделать широкую и песком усыпанную дорогу для подъезда к этому зданию. И вот, стоя на этой дороге, саженях в семидесяти от здания, закричал раз Андрей Тимофеевич одному из рабочих:

— Федот!

И вдруг ворота по прошествии двух секунд наияснейшим образом выговорили то же слово:

— Федот.

— Ба! — воскликнул Болотов, удивясь такому прекрасному эхо,— это что-то мудреное и нечто удивительное, такого прекрасного эхо я не слыхивал!

Тут Болотов начал изучать свойства этого эхонтического здания. Эхонтическое здание навело его на мысль даже завести музыку, и музыканты играли перед болотовским эхом часто даже до большой усталости.

Наместник не сразу поверил даже в болотовское чудо.

— Федот! — закричал он.

Эхо ответило.

Но наместник улыбнулся тонко и сказал:

— Эху в нашей местности быть не с чего, я эти места знаю, эхи в них не водятся. Вероятно, сидит у тебя здесь выученный человек.

Тогда Андрей Тимофеевич с поклоном произнес:

— Не изволите ли закричать что-нибудь по-французски.

Наместник закричал какое-то французское слово, эхо ответило, и только тут он удостоверился в его натуральности.

Это были дни победные и торжественные. Восхищенный наместник, обратившись к Андрею Тимофеевичу, сказал:

— Как хорошо и как прекрасно у вас все это устроено. И как хорошо разметаны у вас водостоки, и как приятно в новом пруду отражается сад, меланхолически удвоенный отражением. Нельзя ли, Андрей Тимофеевич, сыну вашему нарисовать из картин сего сада десятка два наилучших на хорошей бумаге, чтобы можно было составить из них порядочную книжку и поднести их государыне.

— Нарисовать можно и несравненно лучше даже, чем сами сцены натуральные, — ответил Андрей Тимофеевич.

— Так сделайте же это, — сказал наместник, — и это для вашего сына не будет бесполезно.

На этом и кончился разговор. Наместник уехал.

Выбрано было двадцать четыре наилучших и интереснейших садовых видов. Рисовка была самая мелкая, тщательная и равнялась с лучшей английской. Всемерное напряжение глаз сына Андрея Тимофеевича было так велико, что обратилось ему во вред. Зрение бедного Пая повредилось, и повреждение это осталось на всю жизнь и сделалось неизлечимым.

Да и вся волость работала на Андрея Тимофеевича и его обманные здания с напряжением крайним. При затеях садовых жалели только кошта, т. е. денег, а не рабочих, и для принуждения к работе приходилось прибегать к средствам чрезвычайным.

Вот какой случай произвел Андрея Тимофеевича в беспокойство.

Был в доме столяр Кузьма Трофимович — человек по ремеслу очень нужный, но пьяница горький. Не один раз его уже секли, не один раз сажали в цепь и в рогатку, но ничего не помогало.

Было у Кузьмы трое детей. Один из них был болотовский камердинер, грамотный и умный, другой гайдук, а третий был флейтистом. Все трое люди не глупые. С ними-то и произошла у Болотова ссора.

Болотов считал себя человеком добрым и секал не на смерть из соображений экономических. Высек он раз Кузьму при его сыне.

Сын думал, что этим дело и кончится, и даже сечение одобрял, но Болотов придумал нечто другое: он решил держать старика на цепи и сечь его через несколько дней понемногу. Мысль эта казалась ему разумной, и через несколько дней привел он старика сечься в третий раз. И сыновья его, Кузьмичи, вдруг, как говорит Болотов, скинули с себя

маску. Они не только говорили ему разные горькие слова, но камердинер Филька, схватя нож, кричал, что он пропорет Болотову брюхо и себя зарежет и действительно себя ножом колол. Наш Андрей Тимофеевич записал в свои записки по этому случаю следующее:

«Озлобиться было им не на что и ненатурально. Чем более я об них думал, тем опасней становилось все дело, вышло наружу, что они во все те дни, как змеи, на всех шипели и ругали всех и даже самого меня всяким образом. Словом, они оказались сущими злодеями, бунтовщиками и извергами».

Андрей Тимофеевич был человек хитрый и сразу с Кузьмичами ссориться не стал и только вытолкнул их вон, и даже дал им успокоиться и только потом поодиночке посадил в цепи и велел их держать на хлебе и воде. Через несколько недель бунтовщики смирились.

А судьба старика была такая. Некоторое время он не пил, потом уехал Болотов в Тулу. Старик запил, ждали возвращения барина. Думая о будущем наказании, старик затосковал и повесился.

Немногим лучше была судьба болотовского кузнеца и слесаря. Высек раз Болотов их плетьми, а они сбежали жаловаться на него наместнику.

Послал Болотов солдат разыскать мастеровых, не нашли. Послал тогда Андрей Тимофеевич одного опытного дворового.

Дворовый нашел их в Туле, потому что в Туле пошел в кабак, где и сидели оба друга уже сильно пьяные. Вернули, высекли слесаря, а он занемог и чуть не умер.

Вообще у Андрея Тимофеевича пошли неприятности. Старший управляющий Давыдов брал из казны деньги и хлеб и расписывал потом эти суммы, или, как говорил Болотов, развешивать их по сучкам было трудно.

И тут приехал наместник. Наместник осмотрел снова болотовский сад и все болотовские хитрости, много благодарил, поговорил с богатыми мужиками, те тоже были за Болотова.

Но тут собралось несколько самых простых мужиков. Шел Болотов, ведя разговоры с наместником, через большой круглый двор замка и вдруг из стены увидел толпу кланяющихся мужиков.

— Что вам, друзья мои, надобно? — спросил наместник.

— Ваше превосходительство, — закричали мужики, — перемените нам управителя, мы этого не хотим и им недовольны.

— Что это такое, Андрей Тимофеевич? — спросил наместник.

Управитель едва выговорил:

— Не знаю, ваше превосходительство, и нахожу, что тут чья-нибудь коварная интрига.

— Но, — спросил наместник, — и что это старосты или начальники деревенские?

— Нет, — сказал Болотов, — это просто мужики.

— На что же вы, друзья, жалуетесь? — спросил наместник.

— Отягощает работами, на себя время нет.

— А нет ли у вас другой надобности? — спросил наместник.

— Лето у нас голодное, — сказали мужики, — есть нечего, в магазин хлеб брали, а из магазина хлеба не дают.

Тут уже была вина старшего управителя господина Давыдова. Впрочем, дело разобрали, и все осталось попрежнему, но репутации Болотова был нанесен некоторый урон.

Скоро Болотов имел и второе разочарование.

Шел 1787 год. В Тулу ждали приезда государыни. Строили триумфальные ворота. Дамы шили себе мундиры с шитьем по классу мужа для одевания их, т. е. мундиров, поверх своих платьев на торжественном приеме.

Но государыня, приехав, не остановилась перед депутацией, а в карете своей проследовала дальше.

Вечером была иллюминация, было освещен тульский кремль, но и тут не повезло, так как июньский вечер был для огней слишком светел.

21 числа Болотов вместе с другими городскими чиновниками был назначен для шествия к руке императрицы. Тут он приготовил книги и ящики с мраморными песками.

Болотов тихонечко напомнил о себе наместнику, прося о чине и о милости для сына, но наместник отшарахнул его тем, что у государыни сейчас нет времени на выслушивание просьб.

Около дворца были разостланы красные сукна для шествия государыни. Дворянство и наместник ожидали Екатерину.

Болотов стоял в рядах, и ему была дана целая ноша книг, состоящая из атласов, и карт, и планов, до Тульской губернии относящихся. Сверх всех этих книг положил Андрей Тимофеевич свою, переплетенную в золото и в прах раззолоченную. Держать книги было тяжело, и Болотов, собирая силы, молился, внутренно обращаясь к небесному своему поверенному.

Вдруг показалась государыня и пошла прямо на Болотова. Минута была критическая, и Андрею Тимофеевичу пришлось прижаться со своими книгами в темный угол. Мысль о будущих наградах заставила его однако ободриться.

Государыня явно спешила. Речь архимандрита продолжалась не более двух минут. Государыня уже уходила. Андрей Тимофеевич протолкался сквозь дворян и подошел к наместнику. Тот сжалился и подвел Болотова с книгами к государыне, произнеся какие-то слова.

Шум стоял в ушах Андрея Тимофеевича. Он не успел приклониться, как какой-то придворный взял книги и сейчас же скрылся с ними за народом, и больше их никогда Андрей Тимофеевич не видел, и больше об них никто никогда не слышал. И тщетно поехал Болотов вслед за государыней в собор и все ждал, не спросит ли государыня, кто это такое выдумал такие хорошие сады. Не спросили, не вспомнили. Государыня уехала спешно, и даром ослеп мальчик Пай.

Глава двадцать девятая.

Литературные дела Болотова. Краткое изложение прочих его дел.

Написал с горя Андрей Тимофеевич драму «Награжденная добродетель». Получилось очень трогательно. Всем драма нравилась, и многие даже от чувствительности при слушании ее вытирали слезы. Андрей Тимофеевич даже хотел переделать эту драму в роман, но не удосужился.

Дел было много, все еще шли споры в степном межевании. Андрей Тимофеевич сам изолгался впрах, называя одну и ту же землю то дикой степью, то своею старой даточной землей.

Споры в суде были трудные, взятки большие, одни землемеры брали сразу по триста рублей. Но имение денег, знаний и даже литературная слава помогли Андрею Тимофеевичу. Земля за ним была закреплена, и степное имение его простиралось уже на целые версты.

Литературные дела осложнились. Сомнительным стал Новиков. Новиков подозревался в революционном духе, и ему учинили запрещение с запечатанием книжной лавки и с отнятием Университетской типографии. Между тем он должен был Болотову около семисот рублей и мог из них отдать только двести.

С годами Болотов становился все жестче и все осторожнее. Нужно было уже выдавать дочерей замуж и нужно было беречься по причине хотя бы тревожных слухов.

Потихоньку отставал Андрей Тимофеевич от Новикова и переходил от прозы к поэзии.

В 1792 году ударил гром, пришло известие, что Новиков взят и куда-то сослан. Тут поблагодарил Болотов бога за то, что тот его надоумил всегда отвращаться от тайных обществ.

Тихонько поехал Болотов к себе в свое Дворяниново. Приехали к нему туда гости, и снова услышал Болотов рассказы о тайных ковах мартинистов, и порадовался Андрей Тимофеевич тому, что мартинистам заглянули под хвост и пагубный замысел в начале разрушили.

Дворянство было напугано, и действительно рассказывали, что императрица Екатерина дала приказ об одном из мартинистов: «Бейте его поленом, пока не признается».

Новиковские книги стояли запечатанными, и просвещение было объявлено одним из видов беспорядка. Не стало лавки Новикова, ни слуха о Новикове. Только в 1796 году 13 генваря записал Андрей Тимофеевич в свой другой тайный дневник:

«Славного Новикова и дом, и все имение, и книги продаются в Москве из магистрата с аукциона — и типография, и книги, и все. Особливое нечто значило. Повидимому, справедлив тот слух, что его нет уже в живых, сего восстановителя литературы».

Запись эта показывает, что у Болотова наедине с самим собой было нечто, похожее на совесть.

В общем все удалось Андрею Тимофеевичу, если не считать его ма-ого чина. Деньги были, в Богородицке он пахал землю своими дворо-ыми. В Дворянинове пахал крестьянами, и в общем он насчитывал дохо-эв денежных законных и небеззаконных полпяти тысяч рублей без жало-зния. Дела в Богородицке, однако, расстроились, и по многим ковам и нтригам после двадцатилетнего пребывания оставил Андрей Тимофеевич ıужбу и вернулся в свое Дворяниново.

Здесь одолела им старость и охота к стихотворству.

Приведу некоторые его стихотворения:

Вот и ты в своем убранстве
И во всей своей красе,
Милая, стоишь, рябина,
Древо, нужное для нас.

Более философического содержания стихотворение Болотова, содер-ащее в себе описание чувствований человека, рожденного во дворянстве:

Я трепещу, помышляя
О возможности сего
И что мог всего я меньше
Воспрепятствовать судьбе,
Если б было ей угодно
Произвесть меня не здесь,
А среди народов диких,
Или в страшной нищете.

Ах, колико ж я обязан
В век судьбе моей за то,
Что я ею не назначен
Как родиться, так и жить,
Вместе с хищными зверями
В дебрях и пустых местах
И немногим быть чем лучше
Самых лютых тех зверей.

О, коликою я должен
Благодарностью за то,
Что в число толико многих
Миллионов сих людей
Не включен и я судьбою
И не так же осужден
Весь свой век влачить в неволе,
В нуждах, горе и трудах.

Стихи были правильные, потому что Болотов по зрелому размышле-ию все в своей жизни получил.

Однажды, сидя под прекрасными березами на каменной сиделке, тихо ıотрел Андрей Тимофеевич вдаль, пересказывая сыну все то, что видел.

Река Синга извивалась по болотовской земле, по болотовским полям :жали тени облаков. Болотов разговаривал о красоте предметов, окру-

жающих его усадьбу, и о тех украшениях, которыми он намеревался украсить сей ривир. Тогда заговорил мальчик Пай, который был уже, впрочем, взрослым мужчиной:

— А здесь, батюшка, под сими великолепными и пышными березами и посреди самых оных надо со временем сделать настоящий монумент, и хорошо бы его посвятить основателю сего сада.

Слезы удовольствия затмили глаза Андрея Тимофеевича. Он понял, что сын по смерти его в сем месте решил поставить ему памятник. И тут решил Андрей Тимофеевич сделать сие заранее. А чтобы памятник не стоял на месте пустом, то зарыл он под ним клочки волос и несколько выпавших зубов.

Так Андрей Тимофеевич сумел взять от жизни и часть умиления перед собственной своею памятью.

Мирно сидел Болотов у меланхолического своего памятника, текла река, играли музыканты на флейт-реверсах дуэты, и птички пели, аккомпанировали оным.

Новиков не был мертв — он сидел в Шлиссельбурге.

Ответ Вулкана.

(Из В. Гюго).

Крещение вулканов — древний обычай, восходящий к самым ранним временам завоевания. Все кратеры Никарагуа были освящены таким образом, — за исключением Момотомбо, откуда не возвратился ни один из священников, посланных воздвигнуть крест на его вершине.

Скиэ, Путешествие в Южную Америку.

Завоевателем пройдя чужие страны,
Король Испании велел крестить вулканы,
Чтоб их свирепый нрав сломить и обуздать.
Вулканы смирные прияли благодать.
И лишь один из них не захотел крещенья.
Поповские ничем кончались посещенья.
Монахи смелые, взор возведя горѐ,
С крестом карабкались и кланялись горе, —
Как церковь им велит, шли совершать крестины.
Шли многие туда. Оттуда — ни единый.

Что ж, лысый великан! Земле даруешь ты
Тиару пламени и вечной темноты.
У брега этих волн, у твоего порога
Когда стучимся мы, — зачем ты гонишь бога?
Ответь!
Он перестал рыдать кипящей лавой.
И голос в кратере раздался величавый:

«Отсюда изгнан бог. Я не любил его.
Скупое, жадное до злата существо,
Он грязный людоед, чьи почернели зубы
От крови и костей, кому стенанья любы.
Алтарь свирепых скал его тугой живот,
Теснина склепная, где жрец-палач живет,
Толпа смеющихся скелетов у подножья
И чаша смертных мук и слез — вот сила божья.

Глухой, безобразный, с пучками змей в руках
И с трупным крошевом в оскаленных клыках,
Он омрачал весь край до тверди поднебесной.
И тщетно я рычал в моей берлоге тесной.

«Но вот, когда ко мне по лону зыбких вод
Приплыли из страны, откуда день встает,
Вы, люди белые, — я встретил вас, как утро.
Я мнил, что ваш приход задуман очень мудро.
Я верил: белые, как небо, хороши.
Я думал: цвет лица достоин их души.
И, значит, белый бог еще прекрасней вдвое.
Он не мучителен. Он любит все живое.
И правый спор меж ним и изгнанным глубок...

«А между тем взялся за дело белый бог.
Чадили факелы с моей вершиной вровень.
И жар своих костров, и сальный треск жаровен
Вы Инквизицией святейшей нарекли.
И Торквемадо встал у врат чужой земли,
Дабы рассеять мрак невежества сначала.
И тут увидел я, как церковь просвещала
Убогих дикарей... Я видел у гостей
На Лимской площади обугленных детей,
В охапках хвороста, в испепеленной груде
Дым, проползающий по голой женской груди...

«Я только тьму ввергал в мою большую печь.
Полузадушенный дыханьем ваших свеч,
В кромешном ужасе от догоревших пыток,
Все ясно оценив и подсчитав убыток,
Я бога белого узнал в лицо тогда, —
И понял, что менять — не стоило труда»

П. Антокольский.

Нерон.

Был он собакою барской. Внушителен видом суровым.
Желтая с пятнами шерсть, с морды свисают брыла.
Лапы когтисты и по полу тукают, точно подошвы,
Как выгоняют его за дверь из кухни на двор.
Там он ворчливый властитель над целой пустою усадьбой.
Нынче сменилась судьба: бар и в помине уж нет.
В доме с прогнившим крыльцом и трубой с колпаком перебитым
Двое учительниц, дев в возрасте и без семьи,
Дни коротают и в вечер осенний с тягучей капелью
Возле лампы сидят, курят табак листовой,
Рвут на цыгарки они Филаретовский труд: «Катехизис».
В шутку вопрос задают между собой: «Почему
Важно сие?» На огонь молчаливо взирает собака;
Может быть, корку дадут? Лень выходить из тепла
В мокреть хозяйкам, и в знак огорченья, чуть взвизгнув, уходит
Медленным шагом Нерон. Имя он носит царя,
Жизнь же собачью ведет, да что там! Вон кто-то в калитку
Стукнул щеколдой никак. Насторожился Нерон.
Нет! это ветер шальной, как плечом, навалился в ворота,
Пес размахнулся хвостом, гавкнул, острастку навел
И к сеновалу побрел; засыпать он не станет до свету,
Сторож усердный Нерон, в ночь он пробрешет не раз.

П. Радимов.

* * *

Любимая — здесь! Никому не поверю,
Что сердце потеряно в плюше кают, —
Ведь в доме все те же тяжелые двери
О Пиквикском клубе поют.

И так же шипит в петушиной наколке
Мечтательный чайник — подарок родных,
И хмурятся гранки и книжные полки,
Что я отрываюсь от них.

... В салонах под тропиком курят и кутят
И тропик торопят в коробках кают,
Но милая прячет печали на юте,
Где русские песни тихонько поют,

Где старый еврей проклинает шифс-карту,
И рваный деникинец бредит Москвой,
Где можно взгрустнуть по московскому марту
И маленькой комнате на Поварской.

Любимая — здесь! Вопреки километрам
Живет и смеется и дышит со мной,
Но странно, что в марте осенние ветры,
Что в окна — метель, и не пахнет весной.

И каждую ночь на столе остывает
Недопитый чай — и язвит тишина,
Что я не могу до рассветных трамваев
Пылающий лоб отогнать от окна.

Сергей Герзон.

* * *

Я порасспрошу толпу прохожую
Молодых и радостных ребят, —
Не видал ли кто ни с кем не схожую,
Не видал ли кто-нибудь тебя,

Что ушла в ночное равнодушие,
В маяту московских фонарей —
Дорогая самая и лучшая
С бронзовыми стружками кудрей,

Необычная и всем знакомая,
Точно мать иль старшая сестра:
Выйду в ночь и похожу у дома я
И с прохожими погреюсь у костра.

Ведь печаль не выстудить морозами,
Не согреть на перекрестках грудь, —
Милая, могу ли я угрозами
Вот такую, как тебя, вернуть?!

У меня есть слово человечье
Про мою полуночную жуть —
Отыщу тебя когда и встречу я,
Может быть, тогда его скажу.

А сейчас я говорю:
Из жалости,
Ради ваших жен и матерей,
Путники, скажите мне пожалуйста,
Не встречали ль бронзовых кудрей?..

Сергей Герзон.

Новый этап классовой борьбы.

А. Лозовский.

Не успели еще отзвучать речи на IV конгрессе Профинтерна и на VI конгрессе Коминтерна, не успели принятые резолюции попасть к рабочим, а события в целом ряде стран уже подтвердили правильность сделанного на этих обоих конгрессах прогноза. Оба конгресса констатировали, что период депрессий в рабочем классе прошел, что, несмотря на успехи капиталистической рационализации, возникли новые причины и очаги недовольства, что международная социал-демократия стала прямым орудием буржуазного государства и предпринимательских организаций и что рабочему классу придется вести борьбу против единого фронта буржуазного государства, предпринимателей, социал-демократических партий и реформистских союзов. Событиями последних месяцев во Франции, в Польше, в Германии, в Чехо-Словакии все это блестяще подтверждено. Особенно ярко подчеркнули они, что экономическая борьба в настоящих условиях носит ярко политический характер. Всего за два-три месяца произошло столько событий в рабочем движении, что до войны их хватило бы на несколько лет. Но мы так привыкли к гигантским классовым боям, что стачки десятков и сотен тысяч рабочих, локаут, охватывающий сотни тысяч пролетариев, регистрируются нами как бытовые явления. Межклассовые взаимоотношения стали настолько напряженными, что вспышки такого рода являются уже буднями современной классовой борьбы. Однако к этим будням стоит присмотреться, ибо они бросают очень яркий свет на перегруппировку сил в самом рабочем классе и между классами.

***

Если взять стачку текстильщиков на севере Франции, стачку текстильщиков в Мюнхене-Гладбахе, стачку портовых рабочих в Гамбурге, лодзинскую забастовку, локаут в железоделательной промышленности Германии и целый ряд стачек в других странах и тщательно присмотреться к причинам, вызвавшим эти конфликты, мы должны будем отметить, что перед нами начало новой волны наступления. Период депрессии заканчивается, в борьбу вовлекаются отдельные отряды наиболее эксплоатируемых рабочих, они пытаются перейти от обороны к наступлению. Ярким свидетельством этой перемены положения служат стачки на севере Франции, Мюнхене-Гладбахе, в Гамбурге и локаут в железоделательной промышленности Германии. Но можно ли говорить о наступлении со стороны рабочих, когда стачки проиграны, а предприниматели ответили грандиозным локаутом на предъявленные требования?

Прежде всего, не всякое наступление кончается победой и самый факт поражения ни в какой мере не определяет характера самого боя. Что

произошло? На наступление рабочих предприниматели вместе с государством и реформистами ответили контрнаступлением. Обстановка в Германии, Франции, Польше была не одинакова, тем не менее классовый водораздел был очень ясен. С одной стороны, рабочие, загнанные в тупик капиталистической рационализацией, стремящиеся хотя бы немного расправить плечи и улучшить свое положение, а с другой — могущественно организованные предприниматели, вооруженное до зубов государство, использовывающее социал-демократию и амстердамские профсоюзы в качестве важнейшего орудия деморализации и разложения единого фронта рабочего класса.

Характер последних движений определяется не непосредственными результатами, а начальными причинами конфликтов. Если с этой точки зрения подойти к забастовкам последнего времени, мы поймем, в чем заключаются своеобразные характерные черты стачечного движения данного периода. Эти своеобразные черты сводятся к тому, что, в общем и целом, приходит к концу период депрессии, что капиталистическая рационализация уже выявила все свои последствия, рабочий класс начинает оправляться от прошлых поражений и пытается переходить в наступление.

* * *

Рассматривая отдельные конфликты в разных странах, мы видим, что очень часто наступление рабочих переходит в оборону, а оборона в наступление. Во Франции рабочие предъявили требования, но противодействие было настолько велико, единый фронт предпринимателей, государства, социалистов и профбюрократов был настолько силен, что рабочие потерпели поражение.

В Польше наступление начало фашистское государство и предприниматели. Рабочие начали с обороны, а потом перешли в контрнаступление. Стачка дала не только значительные политические, но и некоторые экономические результаты. Наступление фашистского государства и предпринимателей было отбито.

В Германии рабочие предъявили требование о повышении зарплаты, предприниматели перешли в контрнаступление и объявили локаут.

Во всех этих конфликтах мы видим возросшую активность рабочих. Эта возросшая активность находит себе прочную почву в создавшейся новой обстановке, в изменившемся соотношении сил, в дальнейшем ухудшении положения рабочего класса, в зверской эксплоатации и пр. Активность возросла, но еще недостаточно: она часто идет еще по небольшим каналам, захватывает отдельные группы предприятий, отдельные производства, еще не втянула в борьбу весь рабочий класс. Но все же и сейчас она — несомненный симптом общего подъема. В рабочем классе накопилось много горючего материала, причем прорываются бои на тех участках, где давление и эксплоатация предпринимателей были наибольшими.

* * *

В Германии идет сейчас дискуссия на тему о том, каков характер происходящих экономических конфликтов. Что это — оборонительные бои или разновидность наступательных боев? Если рабочий класс находится в состоянии обороны, тогда нужны одни формы агитации, организации и т. д. Если он сам наступает, а, с другой стороны, выдерживает контрнаступление, тогда требуются другие методы организации, агитации и пропаганды. Насколько можно судить по дискуссии внутри компартии, вокруг именно этого вопроса заострились прения на последней партийной

конференции в Германии. Некоторые товарищи характеризуют нынешние экономические конфликты как прорывные бои (Durchbruchskämpfe). Понятие недостаточно определенное, но позволяющее догадываться, о чем идет речь. С одной стороны, начавшиеся бои прорывают период обороны, с другой — прорывают депрессию, ибо рабочие переходят от обороны к наступлению, они прорывают линию единого фронта предпринимателей и реформистов, прорывают обязательный арбитраж — эту новук линию обороны буржуазно-реформистского блока. Некоторые пытаются приписать большинству германской компартии переоценку значения нынешних экономических боев. Они говорят: ведь рабочие железоделательной промышленности обороняются; так можно ли говорить о прорывных боях? Эти товарищи, очевидно, пытаются установить точную грань между оборонительными и наступательными боями. Но такой строго зафиксированной грани нет. Война знает десятки и сотни таких боев, когда наступление переходит в оборону, а оборона — в наступление. Поэтому, независимо от того, хороша ли данная терминология или нет, но если подходить к вопросу не с грамматической точки зрения, а с точки зрения политической, то совершенно очевидно, что все европейское рабочее движение находится на новом этапе, и отдельные экономические конфликты, принимающие гигантские размеры, отражают какие-то новые процессы и сдвиги, происшедшие в массах.

* * *

Характерная особенность происходящих сейчас экономических боев заключается в том, что все они объективно, а часто и субъективо направлены не только против предпринимателей, но и против буржуазного государства и его агентуры в лице социал-демократии и реформистского аппарата профсоюзов. Никогда сращение между предпринимателями и реформистами не проявлялось так ярко, как сейчас. Было время, когда реформисты штрейкбрехерствовали только лишь в области политической. Они выступали против восстаний, они помогали подавлять политические забастовки, но тогда они аргументировали это тем, что восстание является попыткой насильственно нарушить интересы демократии, попыткой меньшинства навязать свою волю большинству и пр. Политическое штрейкбрехерство прикрывалось демократическим флером. Социал-демократы против насилия, за демократию, за мирное развитие, и поэтому они-де против восстаний, политических забастовок и пр. Тогда, срывая политические забастовки, они в то же время подчеркивали, что они всегда готовы не только поддержать, но и возглавить любую стачку чисто экономического характера. Теперь положение в значительной степени изменилось. Политическое штрейкбрехерство дополнено штрейкбрехерством и в области экономической. Иначе и не могло быть. Мы присутствуем при совершенно невиданном зрелище, когда реформистские союзы призывают рабочих к срыву стачки (Франция), когда они путем обязательного арбитража душат начавшееся движение (Германия), когда в самый разгар борьбы постановляют прекратить забастовку вопреки воле большинства рабочих (Лодзь). Перед нами законченное штрейкбрехерство, которое ставит целый ряд новых тактических проблем, ибо стачечную борьбу трудно проводить при такой тактике со стороны реформистов. Нужно крепче вооружить компартию, революционные союзы и профсоюзную оппозицию, для того чтобы они могли противостоять мощному единому фронту буржуазного государства, предпринимателей, социал-демократии и амстердамских профсоюзов.

* * *

Чем объясняется такая «эволюция» социал-демократии амстердамской профбюрократии? Чем объяснить их ужас перед каждым движением и систематические мероприятия по удушению любой забастовки? Это объясняется двумя причинами: 1) их тесным сближением с буржуазным государством и предпринимателями; 2) их боязнью, что начавшееся движение ускользнет из их рук. Факты из практики борьбы последних месяцев во Франции, Германии, Чехо-Словакии и Польше показывают, что именно здесь лежат причины этой штрейкбрехерской работы амстердамцев. Чем реакционнее становится буржуазия и государственный буржуазный аппарат, тем судорожнее цепляются социал-демократы за буржуазное государство. Как раз тогда, когда германская буржуазия закончила рационализацию производства, когда она вновь выступила в качестве империалистической силы, как раз в это время социал-демократы и амстердамские профбюрократы заговорили о признании (bejahen) буржуазного государства.

Профбюрократ рассматривает буржуазное государство как свое государство. Он утверждает, что рабочий класс является частью этого государства, и поэтому он должен его поддерживать, а так как важнейшей составной частью буржуазного государства, его двигателем и инспиратором являются предпринимательские организации, крупнейшие тресты и синдикаты, то амстердамцы поворачиваются к ним для того, чтобы вместе с монополистически организованным капиталом «демократизировать» государство. Отсюда болтовня о хозяйственной демократии, о демократизации хозяйства, о промышленном мире и пр. Мир в промышленности появился на сцену тогда, когда предприниматели наступили рабочим коленом на грудь. Чувствуя свое бессилие в борьбе против организованного капитала, боясь потрясений, профбюрократ думает взять буржуазию обходными демокр.тическими маневрами. На самом деле, все эти маневры сводятся к тому, что профбюрократия стала простым орудием в руках предпринимателей и, в качестве такового, выполняет не за страх, а за совесть указания трестовского капитала. Профбюрократы делают это еще потому, что они боятся серьезного массового движения. Самый тупой профбюрократ прекрасно понимает, что серьезная массовая стачка, стачка, вовлекающая сотни тысяч рабочих, не может удержаться в узких рамках чисто экономических требований. Каждый из них понимает, что такая стачка есть большое политическое событие и что рабочие, вышедшие такой массой на улицу, не могут оставаться в старых рамках: они должны перейти к предъявлению более высоких требований, перейти от экономики к политике. Но амстердамцы в качестве хранителей буржуазного государства и неприкосновенности капиталистических устоев прекрасно понимают, что такого рода стачки разрушают самую основу буржуазного государства; они прекрасно понимают, что чем больше массы втянуты в забастовку, тем более классовый, тем более политический характер носит борьба. Вот почему они выступают до стачки, как ее ожесточенные противники, вот почему они во время происходящей забастовки действуют через органы буржуазного государства (арбитраж) для того, чтобы ее сорвать; вот почему они в разгар забастовки выступают как открытые штрейкбрехеры. Социал-демократия и амстердамская профбюрократия дошли до точки.

* * *

Одновременно с этим происходит во многих странах фашизация профсоюзного реформистского аппарата и верхушки социал-демократии. Это еще не законченный процесс. Он в разных странах находится на раз-

ных этапах, но перед нами уже давно начавшийся процесс фашизации определенных звеньев профсоюзного и социал-демократического аппарата, и количество уже во многих странах перешло в качество.

Возьмем Венгрию. Там социал-демократия является верной опорой фашистского режима. Возьмем итальянских реформистов, — этих трубадуров демократии. Разве они не являются поставщиками громадного количества фашистских чиновников? Возьмем Польшу, где фашистские элементы внутри ППС раскололи профдвижение и начали создавать свои собственные, фашистские профсоюзы. Почему там фашистским элементам удалось расколоть ППС и увлечь за собой часть профсоюзов? Да потому, что ППС подготовила почву для фашизма. В ППС давно уже борются явные и тайные фашисты. Разница между ППС и фашистской группой Яворовского невелика. Яворовский делает открыто то, что лидеры ППС делают за кулисами. А германская броненосная социал-демократия? Германская социал-демократия стала типичной буржуазной партией, она ничем, кроме своего социального состава, не отличается от радикальной партии Франции. Это обычная вульгарная буржуазная партия, которая сохранила в своем арсенале некоторые марксистские слова и социалистические фразы для того, чтобы удовлетворить поддерживающих эту партию рабочих. Перерождение всех социалистических партий и реформистских союзов происходит быстро на наших глазах, и это перерождение ставит перед членами этих партий и профсоюзов, перед массами рабочих, которые привыкли следовать за социал-демократическими партиями целый ряд трудных вопросов. Немецкий рабочий, вступающий в забастовку, должен теперь знать, что он не может рассчитывать на социал-демократию и реформистские профсоюзы; он должен знать, что из всех взносов, которые он делал в профсоюз, ему ничего не дадут во время забастовки, он должен знать, что в самый разгар борьбы профсоюз, в который он вносил в течение десятков лет деньги, заключит какую-нибудь сделку за его спиной и сорвет ее.

Десятки и сотни тысяч рабочих пережили на своем собственном опыте вот эту буржуазно-капиталистическую ориентацию социал-демократии и реформистских союзов. Особенно остро ощущают они эту ориентацию в экономических боях. Если отсталый рабочий следовал за своими лидерами в области политического штрейкбрехерства, потому что он не хотел никаких волнений, восстаний и пр., то следовать за ним в области простого вульгарного штрейкбрехерства во время забастовки ему значительно труднее. Это порождает брожение в массах, колебание, недоверие к лидерам, поиски выхода из создавшегося тупика, попытки найти новую линию, и все это кончается политическим, а затем организационным отходом от социал-демократии. Это есть то, что IV конгресс Профинтерна и VI конгресс Коминтерна назвали полевением масс.

* * *

В некоторых социал-демократических партиях происходит прямое восстание рабочих против руководства. Особенно остро стоит вопрос в Германии, где десятки и сотни тысяч рабочих, члены социал-демократической партии, доведены до отчаяния броненосной и штрейкбрехерской политикой социал-демократии и амстердамской профбюрократии. Это восстание внутри социал-демократических партий ставит перед нами вопрос об отношении к левеющим рабочим и к левой социал-демократии. Это не один и тот же вопрос — это два вопроса. Одно дело — левеющие рабочие и социал-демократы, а другое — левая социал-демократия, как

организованная, идеологически сложившаяся группа внутри старой социал-демократии.

Какова наша тактика по отношению к левеющим рабочим? Она заключается в том, чтобы помочь им найти выход из тупика, чтобы ускорить процесс освобождения от реформистских традиций, чтобы открыть перед ними двери к революционной тактике, чтобы вырвать их из-под влияния социал-демократической идеологии, обучая их азбуке классовой борьбы на фактах повседневных столкновений между трудом и капиталом и повседневных предательств социал-демократии. Здесь мы должны сделать все для единого фронта с ними. Мы должны умело подойти к этим рабочим, не отталкивать их, уметь переходить от частных к общим лозунгам. Мы должны политически воспитать, поднять их на несколько ступеней для того, чтобы они могли пойти в ногу с революционным авангардом.

Другое дело — левая социал-демократия, как организованное целое, с ее центристской идеологией, с ее попытками выработать какую-то среднюю теорию, с ее попытками спасти социал-демократию как таковую, с ее враждебностью к коммунизму. Против этих элементов, которые хотят удержать рабочих от движения влево, против элементов, которые хотят открыть отдушину для недовольства, для того чтобы удержать массы под идейным и организационным влиянием социал-демократии — против такого рода «левых» надо вести ожесточенную борьбу, ибо они не меньшие, а еще большие враги рабочего класса, чем правые социал-демократы.

* * *

Но как раз по этой линии и происходят в коммунистических партиях серьезные разногласия. Как раз в этом пункте находит свое выражение правый уклон.

В странах, где имеется мощная социал-демократия, она тысячами путей влияет на революционное крыло рабочего движения. Здесь нужны особенно политическая выдержанность и организационная крепость для того, чтобы постоянно противостоять социал-демократии, за которой идут еще миллионы рабочих. Но внутри компартии всегда имеются отдельные элементы, которые думают, что можно привлечь социал-демократических рабочих не резкой постановкой вопроса, не революционной борьбой, а более примирительным отношением, постановкой особых средних лозунгов и пр. Они вместо того, чтобы поднимать левых рабочих до коммунизма, спускаются к левой социал-демократии. Эти правые уклоны как раз идут по этой линии. На отношении к левой социал-демократии сразу выявляется правый уклон.

Второй пункт, наиболее слабый у правых — это их профсоюзная политика. Они стоят на точке зрения единства во что бы то ни стало, они стоят на точке зрения легальности по отношению к профбюрократии; поэтому они выступают против создания стачечных комитетов для руководства стачки, поэтому они выступают против, когда рабочие вынуждены действовать независимо и против профсоюзов и профсоюзного аппарата. Они конституционалисты, и поэтому они выступают против обострения борьбы с социал-демократией, против характеристики амстердамцев, как орудия буржуазного государства и предпринимательских организаций, против организационного закрепления политического влияния партии в профсоюзах и т. д. Этот правый уклон сейчас особенно проявляет себя в Германии, но это явление международное. Вот почему VI конгресс Коминтерна удар по правой опасности объявил главнейшей задачей Коминтерна и его секций. Этот же конгресс осудил и тех, кто призывает к примиренческому отношению к правому крылу. Коминтерн

не считает возможным создать такую цепь между социал-демократией и компартией, когда левые социал-демократы примиренчески будут настроены по отношению к правым социал-демократам; правые коммунисты будут примиренчески настроены по отношению к левым социал-демократам; коммунисты-примиренцы будут мирно настроены по отношению к правым коммунистам, а компартии и Коминтерн должны быть настроены мирно к примиренцам. Этот мостик между компартией и социал-демократией противоречит всей установке Коминтерна. Вот почему этот вопрос так остро встал во многих партиях и особенно в коммунистической партии Германии.

* * *

Хотя стачки на севере Франции, в Лодзи, в Германии, в Чехо-Словакии отчасти проиграны, а отчасти закончились вничью, а продолжающийся локаут в железоделательной промышленности находится еще в самом разгаре, и трудно сказать, каков будет его результат, тем не менее, мы имеем право поставить вопрос: в какую сторону изменилось соотношение сил после этой стачечной волны — в пользу предпринимателей или в пользу рабочего класса, в пользу реформистов или в пользу коммунистов? Эти массовые выступления рабочих явно изменили соотношение сил в пользу рабочего класса. Почему? Потому, что даже отбитое нападение ослабляет противника, а, с другой стороны, заставляет рабочих более усиленно готовиться к следующим боям. И во Франции, и в Польше, и в Германии все эти стачки не породили длительной депрессии в массах, а создали боевое настроение. Рабочие вновь собираются с силами для того, чтобы опять попытаться пойти в бой. Это означает, что силы рабочих не были разгромлены в этой борьбе и что новая волна, новый подъем не за горами. Еще яснее с вопросом о том, изменилось ли соотношение сил между реформистами и коммунистами. Это признают и правые газеты. Фашистская и социалистическая пресса Польши открыто писала о том, что коммунисты овладели лодзинским пролетариатом, а это имеет громадное значение не только для всего польского рабочего движения, но и для всего Коммунистического Интернационала. Значительно выросло влияние коммунистов и революционных союзов на севере Франции, в Гамбурге, Мюнхене-Гладбахе, растет оно сейчас и во время локаута железоделательной промышленности в Германии.

Таким образом результаты этой стачечной волны оказались благоприятными для революционного крыла мирового рабочего движения Коминтерна и Профинтерна, и эта перегруппировка сил произошла за счет социал-демократии. Это не значит, что социал-демократия разбита, что она потеряла все свое влияние. Этого еще нет. От нее отрывают постепенно куски, она день за днем теряет свое влияние, ибо полевение рабочих масс—это и есть отход от социал-демократии и переход под влияние компартии.

Рабочее движение находится в самом разгаре этого процесса. Миллионы рабочих идут еще за социал-демократией, как миллионы рабочих идут и за буржуазными партиями. Своеобразие обстановки заключается в том, что нынешние экономические бои захватывают не только рабочих, находящихся под влиянием социал-демократии, но и рабочих, находящихся под влиянием католиков, либералов, консерваторов и т. д. Происходит политическая диференциация в самых глубоких пластах рабочего класса, причем эта политическая диференциация протекает на пользу революционного крыла мирового рабочего движения.

* * *

Новая стачечная волна ставит естественно перед Коминтерном и Профинтерном вопрос о том, что делать. На фашизацию профсоюзов рабочий класс, несомненно, ответит созданием независимых классовых организаций; на сращение социал-демократии и профсоюзной бюрократии с буржуазным государством надо ответить более ожесточенной борьбой против союзников капитала; на единый фронт буржуазного государства, предпринимателей, социал-демократии и амстердамцев — надо ответить единым фронтом снизу, — вот что сказали IV конгресс Профинтерна и VI конгресс Коминтерна.

Как создать единый фронт снизу? Во время стачечного движения — путем выборов стачечных комитетов; во время приближающегося локаута — путем выборов комитетов борьбы против локаута; в период между экономическими конфликтами — путем собирания широких рабочих масс вокруг революционных союзов, путем усиления работы и организационного оформления профсоюзной оппозиции, путем величайшего напряжения всех сил для того, чтобы ускорить процесс отхода рабочих масс от социал-демократии. Особенно важно в этот период обостренной борьбы против социал-демократии покончить с паникерством, с конституционализмом и легализмом по отношению к социал-демократии и реформистскому профсоюзному аппарату, что является характерной чертой правого уклона. Правый уклон в коммунистической партии — это проводник социал-демократического влияния в недрах революционного пролетариата, и поэтому ожесточенная борьба против социал-демократии может вестись успешно только в той мере, в какой будет покончено с этими разлагающими коммунистическое движение уклонами.

Эти экономические бои имеют большое симптоматическое значение еще и с другой стороны. Если верно, что надвигается военная опасность, — а это не подлежит ни малейшему сомнению, — то приобретает особую важность возросшая активность масс. Рабочие массы, выступающие активно сейчас за свои непосредственные требования, массы, пережившие великую войну и послевоенный кризис, рабочие массы, симпатизирующие советскому пролетариату, проявят свою активность в момент нападения империалистов на Советский Союз. Это не только предположение; это вытекает из следующего факта. Как раз во время всех этих стачек в массах особенный энтузиазм вызывал советский пролетариат и советское государство. Да это и естественно, потому что борьба в настоящих условиях против удлинения рабочего дня происходит в то время, когда на территории Советской России начинают вводить 7-часовой рабочий день; борьба за увеличение зарплаты происходит в то время, когда на территории Советского Союза происходит, хотя и медленное, но повышение жизненного уровня масс. Вот почему каждый серьезный конфликт в капиталистических странах приобретает глубоко политический характер и создает новые десятки и сотни тысяч сторонников советского государства.

Наконец самый главный вывод — это тот, что за нынешней волной стачек в самом ближайшем времени поднимутся новые волны, и что всем компартиям и революционным профсоюзам, а равно Коминтерну и Профинтерну нужно лихорадочно готовиться и лучше вооружиться к надвигающимся боям.

Таковы уроки прокатившейся по всей Средней Европе широкой стачечной волны.

Дневник девушки.

А. Березина.

(Окончание).

Накануне.

1904 год.

18 января. Начались занятия. Приятно повидаться с публикой после перерыва. Я была очень смущена, что не смогла внести плату за право учения в этом полугодии. Попросила отсрочки в бюро курсов. Мне наша представительница (от курсисток) шепнула, что нечего беспокоиться, — здесь мало кто после первого полугодия платит. Чудеса, да и только! Оказывается, что здесь и преподаватели все отдают свой труд бесплатно, кроме самых нуждающихся... А за все это от курсисток ничего не требуется, кроме любви и интереса к делу и — огромной работоспособности, в особенности по предметам самого Лесгафта.

Как странно, что его курсы негласно прославились, как «курсы русской революции», когда сам он, оказывается, вообще против того, чтобы его ученицы занимались политикой. Саша рассказывала, что, когда она на курсовом литературном вечере прочла с огромным подъемом Короленковские «Огни», Петр Францевич бурчал себе в бороду: «Одна бутафория! Из всякого дела они устраивают митинг... И к социализму надо относиться серьезно, подведя под него прежде всего базу знания».

Но кто, как не он, учит нас заглядывать во все уголки жизни и по мере сил и способностей их очищать от всякой скверны. «Ткните, ткните, сударыня, пальчиком!» А фактически не только пальчиком, но и глазами и носом. И как же после этого он не поймет, что революция самая действительная метла для очистки грязных углов жизни! И что она не будет ждать, пока мы вооружимся солидными знаниями...

3 марта. Итак, война — печальный факт.

Правительство во-всю старается напустить на народ побольше патриотического угара. Отчасти ему это и удается. Недавно даже часть петербургского студенчества устроила патриотическую манифестацию.

А в провинции, говорят, и вовсе с ума сходят от искусственно разжигаемой ненависти и презрения к японцам. Распространяются всевозможные плакаты и лубочные картины, в которых японцы изображены жалкими карликами в руках могучего русского богатыря. Но, кажется, враг-то не очень шуточный...

Кому и для чего понадобилась эта война? Говорят, сам Плеве изрек такую замечательную фразу: «Чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая победоносная война». Совершенно правильно с их точки зрения. Только не напрасны ли надежды? Будет ли она победоносной?

У нас многие записываются в сестры милосердия. Я тоже записалась — на всякий случай. Какой именно? Да такой, если я все же не найду удовлетворения в своей теперешней деятельности. Мне хочется более живого дела, более непосредственной близости к рабочей, вообще к народной массе. Хочется видеть близко, прямо, непосредственно результаты своей работы, пусть самой маленькой и скромной. А так, что мы из себя представляем, мелкие периферийные работники? Маленькие винтики, может, очень большой, очень нужной машины, но полезного эффекта которой мы не видим, не ощущаем. Литература партийная — та, которая помогла бы нам видеть, понять, осмыслить нашу мышиную возню, — она до нас доходит очень поздно, очень скудно. Этим недовольны и рабочие, предполагая, что она задерживается у комитетчиков и их более близких друзей-товарищей, даже из непартийных.

8-го. Какое счастье обладать даром речи и большим революционным темпераментом! Только с этим можно приносить настоящую пользу делу революции. Вот как у нас на курсах выступала со своей замечательной речью против войны Настя Завьялова. Я никогда не могла себе представить, чтобы голубые глаза могли метать такие искры раскаленной стали. Она наэлектризовала всех, растрясла самых равнодушных академичек. И становилась вдохновенно прекрасной, она — Настя, с ее простым лицом здоровой деревенской девки!

Тут, помимо дара речи и большого темперамента, конечно, нужна еще и смелость. А я трусиха. Я боюсь действовать. Героически терпеть я, пожалуй, способна. Пожалуй, стиснув зубы, снесла бы жестокие пытки. А действовать... Я способна только на мелкие, скромные дела.

Если меня возьмут на войну, я смогу своими скромными терпеливыми действиями облегчать страдания несчастнейших из несчастных, а попутно им внушать ненависть к строю и волю к разрушению его. Это мне даст удовлетворение, я уверена.

А если это дело не выйдет, то моя мечта получить кружок рабочих. Мы с ними хорошо понимаем друг друга, а заниматься с ними нужнее и интереснее, чем с курсистками, которые могли бы заниматься и коллективными самообразованием — слава богу, достаточно грамотны.

Сама я усердно занимаюсь по партийной программе, главным образом, по легальным источникам Публичной библиотеки. Мне доставляет большое наслаждение этак по 3—5 часов углубляться в премудрости политической экономии, социологии и исторического материализма. Но нужную по программе нелегальщину, ставящую все точки над «i», труднее достать. Ее мы уже штудируем вместе с Зоей. Сейчас я пыхчу над самим «Капиталом». Он мне дает огромное удовлетворение, и я довольно легко справляюсь со всей этой премудростью. Помню, как я в 1899 г. считала чтение его лишней роскошью. И, правда, он мне тогда еще был бы недоступен.

Я теперь, пожалуй, уже и не жалею, что не попала во вновь образовавшийся кружок высшего типа на Петербургской стороне, руководимый Хариком. В единственном числе или вдвоем, пожалуй, заниматься более производительно. Но в кружке зато, конечно, будешь более связан с людьми, больше будешь в курсе текущих дел, более доступна нелегальщина.

10 апреля. Мы так и не получаем извещения, что приняты в сестры милосердия. Ну, и чорт с ними. Видно, боятся лесгафтичек,

как неблагонадежных. Знаю, что из бестужевок, одновременно с нами подавших, уже многие снаряжаются в поход.

Я теперь сознаю, что сделала глупость, ведь это была бы косвенная поддержка войны. Теперь не только «наши», но и вообще более мозговитая часть «общества» все больше и больше проникается пораженческим духом: «чем хуже, тем лучше», и «авось, война ускорит развязку». Японцы оказались вовсе не «жалкими япошками», а подготовленными неизмеримо лучше нас. Ну и не мало уже бьют нас. А рабочие — и даже уже обывательская мелкота — все больше озлобляются. Мобилизация, если не прямо, то косвенно затрагивает всех. У меня лично на войне находятся два двоюродных брата: аптекарь Гриша где-то на сухопутном фронте на врачебном пункте, а шалопай Егорка служит младшим машинистом на «Рюрике», которого ведь может постигнуть судьба «Петропавловска».

1 апреля (для смеха что ли?) происходило торжественное открытие Гапоновского «рабочего собрания», которое почтил своим присутствием градоначальник Фуллон. Трогательное единение. А наши все зевают, все спорят. Хорошо, что началась кампания за созыв 3-го съезда; может, он образумит спорящих, издаст какие-нибудь общеобязательные постановления.

Попадается уже кое-какая послесъездовская литература, и мы ее глотаем, как манну небесную, хотя все так же трудно разобраться. Но меня уже определенно перетягивают большевики.

5 мая. И Лев Измайлович и Анна Павловна мне все-таки еще простили мой социал-демократизм, но, когда узнали о моем большевистском уклоне, стали косо на меня смотреть, еле разговаривать. Ну, и не больно нужно. Не для своего же удовольствия я их еще время от времени посещаю... Пожалуй, вообще уже давно пора отказаться от всех личных знакомств, по мере того, как я все глубже погружаюсь в работу.

Не знаю, положительная ли это черта для революционера или нет, что и товарищи по делу меня интересуют не только как таковые, но и как люди. Мне как-то все приходится делить людей на настоящих и поддельных. Вот сестры Парамоновы, несомненно, настоящие люди, Малышев тоже хороший, серьезный малый, хотя в нем есть какой-то скрытый надрыв. Зато Наташа С-ва, ведающая всего-на-всего явками и разноской литературы, чувствует себя по меньшей мере вице-королем Индии. Милостивой дамой-патронессой держит себя и таинственная Лидия с Английского проспекта, принимающая в зале с роялью, с пальмами, художественно-ценными картинами и коврами. Я ее окрестила профессорской дочкой. Думаю, что эти дамочки — мне ровесницы и что они вряд ли блещут особыми знаниями и талантами, но их величественно-милостивая снисходительность ко мне, маленькой «техничке», прямо неподражаема.

12-го. Какой со мной недавно случай случился! Мне надо было спешно перевезти набор шрифта из одного района в другой. Был он очень аккуратно уложен в саквояжик, — такой, какой носят с собой акушерки. Все хорошо, только тяжесть неимоверная. А на беду последний кусок моего пути такой, что и конок-то по близости нет, и извозчиков не видать. И вдруг замечаю, что за мной увязался шпик! Что делать? Я принимаю самый независимый и легкомысленный вид, делаю огромное мышечное усилие, чтобы ноша в моей руке казалась легкой. Хорошо, что на мне была пелерина, закрывающая руку до половины кисти. Иду, будто не

спеша, не в том направлении, которое мне нужно; а он все за мной. Иду, а руку мне все больше и больше оттягивает. Начинаю приходить в отчаянье. Улицы пустынные, укрыться некуда... Вдруг меня озаряет мысль, что недалеко должен быть Вознесенский собор со свериком. Направляюсь туда, он за мной. Дрожащая от усталости, но внешне спокойная, сажусь на скамейку. Я затеваю разговор с какими-то играющими рядом со мной малышами. Они доверчиво отзываются. Затягиваем детскую песенку, затеваем игру — я все сидя на скамейке и крепко держа свою драгоценность. Смотрю, мой шпик поднимается и со скучающим видом уходит. Надоело ли ему сидеть или моя игра с детьми рассеяла его подозрения? Так или иначе, но на этот раз меня спасли дети, милые маленькие друзья мои.

8 июня. Получила урок на все лето в какой-то архипролетарской семье мелкого портового служащего. Отец, мать и сын — 12-летний гимназистик Митя. Живут в казенной квартирке, состоящей из комнаты и кухни. Живут бедно, но очень чисто. Мальчик себе недавно сломал ногу, лежит, и родители не жалеют для своего единственного плату в 20 рублей за два часа занятий, «чтобы ему не очень скушно было». Парнишка славный — умненький и любознательный, — я в более свободные дни с удовольствием буду заниматься с ним и по 3 часа.

18-го. Члены нашей коммуны, сдав свои зачеты, уехали. Ко мне перебралась Юлия Ж. (ответственный партийный работник), не имеющая ни квартиры, ни заработка. Она находит, что я обязана по-товарищески делить и то и другое с нею, так как я будто бы самая богатая из всей братии. Ну, что ж, коли так, хотя на 20 рублей вдвоем жить более, чем трудно. Она, как революционерка-профессионалка, не может тратить время и силы на заработок, но вместе с тем и не хочет быть на содержании у партии, которой материально очень туго приходится.

Это самая свирепая большевичка, которую я знаю — что перед нею Землячка, что сам Ленин! Мы ее промеж себя прозвали Жилой, потому что ее твердость особого рода. Это не гранит и не железо. Это именно твердая, неразрубаемая и неразрываемая жила.

Она, несмотря на свою свирепость, очень хорошо относится ко мне, даже с некоторой суровой нежностью. Она, кажется, хочет меня воспитать по образу и подобию своему, но это безнадежно, — слишком я испорченный человек, слишком анархична, слишком — как бы сказать? — ч е л о в е ч н а. Она меня все укоряет в «мещанстве». Почему? Видите ли, в чем дело. Мне хозяйка квартиры, весьма благообразная и порядочная вдова-пенсионерка, немка, уезжая, поручила охрану своей квартирки, разрешая мне за это пользоваться, кроме моей собственной комнаты, и ее маленькой гостиной («когда у Вас будут гости») и кухней, даже посудой. Ведь это же большое доверие аккуратной немки к мало знакомой курсистке! И мне кажется, что это доверие нужно, по возможности, оправдать. Конечно, мы ее гостиной широко пользуемся для наших «гостей», т. е. для явок, собраний, ночевок и пр., благо дом архиудобный для такой публики, как мы, имея два выхода на две параллельные улицы. Но ведь это же для пользы дела! Но зато мы, по-моему, обязаны содержать квартирку в таком порядке, в котором оставила ее хозяйка. Жила же моя ничего из подобных «мещанств» не признает. Разбросав по гостиной все принадлежности своего туалета, вплоть до самых интимных, она исчезает. Мытья посуды она не признает и, готовя или подогревая себе что-нибудь, она вытаскивает из шкапов и ящиков все новые и новые запасы

посуды и оставляет все разбросанным по всей кухне в живописном беспорядке. Я, чтобы отучить ее от такого босячества, решила тоже ничего не мыть, кроме того, что мне в данный момент понадобится, — посмотрим, что она сделает. Боюсь только, что мы при таком хозяйстве заведем мух, тараканов и мышей в чистенькой квартирке немки.

Жила моя, очевидно, воображает, что раз она ответственный работник, а я лишь подсобная величина, то я сверх всего должна ей оказывать еще и личные услуги. Спасибо! Я занята не меньше ее, хотя и по меньшего масштаба делам.

28-го. Жила недовольна тем, что я мало зарабатываю, что мы живем впроголодь. Но что же делать? Правда, Жила моя уже на моих глазах похудела и побледнела, да и у меня опять начались головокружения. Работаем мы много, питаемся слабо.

Жила ворчит и на то, что у нас нехватает средств на «конспирацию». «Это непростительно, что человек при такой ответственной работе должен ходить в одном и том же костюме». Она и наводит сама конспирацию самым, на мой взгляд, нецелесообразным способом. Например, затягивает свое пышное тело в корсет до невозможности — оса, да и только! Меняет банты на груди и на своей белой шляпке-канотье. Раз даже вздумала нарядиться в «траур»: черный бант на белой кофточке и лоскуток крепа на белой шляпе. Ну, не чудачка ли!

Она меня все укоряет, что я имею страшно неконспиративный вид со своими короткими локонами и со своей пелеринкой. Она все пугает, что я подцеплю шпиков и вместе с собой и ее погублю. А я боюсь, что это скорее с ней случится при ее смешных переодеваниях и заговорщическом виде. С меня что возьмешь? «Курсистка с книжкой под мышкой» — и все тут. И кроме того единственного шпика тогда, при переноске шрифта, я при всем старании никакой слежки не могла обнаружить.

Вообще конспирация, видно, дело тонкое, которое надо делать умело. Вот жил у нас несколько суток товарищ Пантелеюшка, рабочий, удравший после Ростовской стачки чуть ли не от расстрела. Хороший парень, душевный. Все вспоминал старуху — мать свою, с которой он уже два года не виделся, и с которой изредка переписывается через третьи руки. А если бы я его встретила на улице, не зная, обязательно подумала бы, что это не то бомбист, не то шпик, с этими его беспокойными ухватками затравленного зверя. Как-то в обед прибежал бледный, как смерть, и свалился на стул в полуобморочном состоянии. «За мной все время шпик гнался!» Ну, что делать? Нужные приспособления у нас всегда под рукой. Превратили его из рыженького в жгучего брюнета, переодели его в костюм, выпрошенный мною для таких случаев у брата и по мере возможности ушитый для худощавого Пантелеюшки. Выпустили его на другую улицу. С тех пор не видали. Что с ним, сердечным?

10 августа. Зоя с компанией пошли карабкаться на Демерджи, а мне нездоровится, и я осталась дома. Кстати без них немножко соберусь с мыслями.

Да где же я? Оказывается, в Крыму, на берегу волшебно-прекрасного Черного, а скорее Синего, моря:

Вечная красота, жизнь и движение,
Упорная борьба за ясно сознанную цель,
Полная независимость, сила, бесстрашие, —
И все ж пигмеев племени слуга и друг.

Это в моем утомленном мозгу все время сливаются два образа: море и Ленин. Ленин? Почему? Вероятно, потому, что мы с Зоей, лежа на берегу, все время с упоением читаем Ленина: «Письма к товарищу», «Что делать» и «Шаг вперед, два назад». Первые-то я и раньше читала, но хочется его все вновь и вновь перечитывать. Какая сила, какая ясность, какая логика, какая беспощадность в выводах, — беспощадность к себе и другим в одинаковой мере. Какое бесстрашие и какая честность мысли! Ленин, слышишь на далекое, далекое расстояние: Зоя, я и многие-многие такие же маленькие рядовые революции будем с тобою всегда-всегда, что бы ни случилось. А случится, видно, не мало. Море становится все более бурным. Твой корабль так еще мал и слаб. Так опасно будет твое плавание, даром, что ты такой твердый и знающий капитан. И свирепых врагов у тебя будет не меньше, чем верных друзей. И все же ты выведешь корабль, выведешь, Ленин, из бурных волн, и мы, твоя команда, будем с тобою до гроба. Клянемся...

* * *

Как я сюда попала? А вот как.

Был убит Плеве 15 июля, убит Сазоновым. Нашел свое возмездие палач Финляндии, вдохновитель Кишиневского погрома, зубатовщины, гонитель даже столь ручных земцев. В нашей прокламации по поводу его казни как хорошо сказано: «Настанет день н а ш е й мести и падет не Плеве, не Сипягин, не Николай Романов, — падет самодержавие, а за ним, быть может, вскоре и капитализм».

Да, уж скоро, скоро. Это определенно чувствуется.

Ехала я как-то по Неве мимо Петропавловки. И вдруг долгожданные пушечные выстрелы: родился столь мучительно ожидаемый годами цесаревич. «Бедный малютка! Лучше бы тебе не родиться, — пронеслось в моем мозгу. — Ждет тебя судьба не то малютки-царя Иоанна, заточенного в крепость из-за престолонаследнических интриг дорогих родственников, не то судьба маленького Людовика Капета, не то, — если ты все же успеешь вырасти, — судьба его почтенного батюшки Людовика XVI. Лучше бы тебе умереть заблаговременно своей смертью...».

Да, отвлеклась я от Плеве. Пошли, конечно, многочисленные аресты. Затормозилась и работа техники. Пришла к нам Екатерина Михайловна с просьбой экстренно н а г е к т о г р а ф е размножить прокламацию о смерти Плеве. Странно. Провалилась техника, что ли, и даже мимеографа нельзя было достать? Но спросить ее, такую беспримерную конспираторшу, я, конечно, не решалась.

Печатали день и ночь напролет. Готовые прокламации от нас уносили партиями. Только успели вынести последние, вдруг в 5 часов утра громкий стук в дверь. Многозначительно переглядываемся с Жилой. Как будто все следы преступления уничтожены. Она мне ядовито: «Вот видите, предсказывала я вам!». Повторный стук. Впускаем. Ну, конечно, полиция. Спрашивают — Жилу. Вот так фунт!

Начинается обыск. Мы спокойны. Как будто у нас чисто. Вдруг вижу на комоде ярко-красный экземпляр «Коммунистического манифеста»! Незаметно подвигаюсь к нему, незаметно же загребаю его в широкий рукав своего капота. Отправляюсь в уборную, будто по своей нужде. Дверь закрыть не позволяют. В дверях стоит городовой. Умудряюсь незаметно же спустить из рукава свой «Коммунистический манифест». Будто святотатство совершаю...

Вхожу в кухню умываться. О, ужас! Раковина вся забрызгана лиловыми пятнами, а на полочке около нее еще стоит наперсток с копиро-

вальными чернилами для гектографа. Этих предателей-то никуда уже не спустишь!

Но на счастье никто на них не обращает внимания, так же как на мои лиловые пальцы. Значит, не наша импровизированная типография их привлекла, а Жилина нелепая конспирация.

Ее уводят. Меня оставляют. Значит, я при всем многообразии и часто опасности моих функций не возбудила ничьих подозрений. Но товарищи меня отстраняют от работы, как «запачканную». Надо очиститься. Да и работа почти что сойдет на-нет из-за множества арестов. Я еще успеваю наладить передачи для Жилы и уезжаю. Куда? Давно зовет Зоя к себе в Крым. У меня 15 руб. денег. 13 руб. стоит билет. Значит, могу доехать. Еду.

Мне для Московской организации передают какие-то письма, документы. Ношу их на груди. В Москве еду на конке до места назначения. День жаркий. Я измучена событиями и возней последних дней. У меня, видно, опять развилось сильное малокровие от недоедания последнего времени. Я бывала так голодна, что избегала проходить мимо соседней фабрики Жоржа Бормана, где так вкусно пахло свежими печениями. Когда меня своим огромным животом чуть ли не столкнул с тротуара какой-то важный господин, я, очень голодная и усталая, жалела, что у меня не было бомбы, которой я бы взорвала его большой живот. Я стала понимать дикую, как будто бессмысленную, злобу анархистов.

Итак, еду я на конке в Москве и чувствую, что мне становится дурно. И в испуге думаю: «Только, только не это! Упаду в обморок, что станет с партийными документами? Пропадет и билет в Крым — единственная моя с о б с т в е н н а я ценность». Сдерживаюсь, что есть сил, пока не увидела аптеки у Никитских ворот. Вышла с трудом, насилу дошла до площадки лестницы и — хлопнулась. Очнулась на скамейке, вся залитая водой. Напичкали меня каплями да порошками и отпустили рабу божью. Нашла московских товарищей, рассказала им о моем приключении. Они отнеслись очень участливо, выругали меня, что я в Питере у своей организации денег не взяла, раз у меня так мало было своих, и навязали мне таки 5 рублей на питание в дороге. А главное, дали мне новейшую партийную литературу, между прочим Ленинские «Шаги».

18 с е н т я б р я. Ну-с, возобновились занятия на курсах, возобновилась и моя «частная» деятельность. Я хорошо отдохнула, посвежела и с радостью ринулась в бой. Дела идут хорошо. В августе наши устроили в Женеве конференцию, на которой решили обязательно добиться созыва съезда. Это хорошо. Чувствуется более твердая линия. Конферировали, говорят, и меньшевики. В их рядах колебание, но тоже, кажется, склоняются к необходимости созыва съезда. Был и какой-то архиконспиративный съезд эсеров.

Мне лично выпала большая радость: получила я, наконец, свой кружок рабочих. Это славные такие бородачи, строители-сезонники. Живут артелью, имеют общую, свою же деревенскую, хозяйку, которая на них готовит. Обстановка замечательная: собираемся после ужина за большим столом, полным кусков хлеба и крошек, по которым ползут жирные тараканы, никого кроме меня не смущая. Часть моих слушателей лежит на нарах. Всех их больше всего интересует религиозный вопрос. Потребовали от меня с места в карьер рассказать им историю сотворения мира по-библейскому и по-научному. Очень остались довольны. На следующий раз я по какому-то экстренному делу не могла к ним пойти в назначенный час и попросила Зою пойти вместо меня. Потом расспрашивала их,

чем они занимались без меня. «Благодарствуем, та барышня тоже очень хорошо нас занимала». А «та барышня», оказывается, застала среди них и пьяненьких!

2 октября. Вместо Плеве назначен Святополк-Мирский, весьма либеральный, говорят, господин, даром что бывший жандарм. Витте получил повышение в чине. Обещают осуществить новую политику «доверия» к обществу. Что-то никому не верится. Дело, вероятно, в том, чтобы как-нибудь загладить скверное впечатление от систематических неудач на фронте.

На курсах в этом году усиленно налегаем на практические занятия и по анатомии, и по зоологии, и по ботанике. Вооружившись скальпелем и пинцетом, препарируем раков, лягушек, рыб, роемся в мышцах и сухожилиях частей человеческого тела. Пропахли мертвечиной до того, что за версту уже говорят: лесгафтички идут! Мне посчастливилось: вместо старого проформалиненного трупа получила прелестную свеженькую ручку новорожденного младенца — какое-то удивительно совершенное изделие природы. Работаю над ней с наслаждением.

Ходили с Лесгафтом в мертвецкую Обуховской больницы посмотреть на свеже-вскрытый труп мужчины. И Петр Францевич настойчиво предлагал самой изящной из курсисток, в кольцах, кудряшках и бархатной кофточке, — перебирать и называть его внутренности: «Тыкните, сударыня, пальчиком в кишечки!» Любит он поиздеваться над такими.

Раз и мне от него попало, хотя без моей вины. Унаследовала я от Анны Павловны какую-то красивую сатиновую кофточку, — вся в мелких складках. Сижу в ней на лекции. Лесгафт в связи с мышечной системой что-то говорит об эксплоатации труда рабочих. Вдруг становится прямо против меня и произносит буквально такую рацею: «А то есть такие милостивые государыни, которые ради нарядов своих заставляют несчастную портниху ночи напролет сидеть над шитьем всяких там мелких складочек, гнуть спину и портить глаза». Я сидела как ошпаренная, все глаза обернулись ко мне, а я своих поднять не смела.

Сверх обычной гимнастики у нас в этом году интереснейшее нововведение: уроки фехтования на рапирах с каким-то толстенным, но очень ловким и веселым дядей-итальянцем.

В связи с прохождением тех же мышц и с вопросом об эксплоатации труда, у нас расписан ряд экскурсий на фабрики, для ознакомления с условиями труда рабочих. Уже были на стеариновом заводе за Невской заставой. Я страшно рада — это ознакомление мне очень пригодится и по моим «частным» делам.

29 ноября. До сих пор еще тело ломит после вчерашней «битвы».

Либералы наши, ободренные правительственным «доверием», стали резвиться, как малые дети: конференции, съезды, слеты, банкеты с речами, резолюциями, петициями и адресами, квинтэссенция которых сводится к слову «конституция». Заразили они своей резвостью и наших меньшевиков, которые считают своей обязанностью на каждом банкете произнести хоть одну и свою речь с целью «углубления» либерально-оппозиционного движения. Втянулись в движение и неопределенно-радикальные элементы из студенчества и профессуры. Даже наш Лесгафт сочувствует таким методам «борьбы» и благословляет своих курсисток на «банкетные» выступления. Одни грешные большевики гнут свою особую линию, ставят свою ставку исключительно на пролетариат с его испы-

танным методом стачек и уличных демонстраций, видя «углубление» этих методов лишь в серьезном вооруженном восстании.

Больше двух недель тянулась подготовка к большой демонстрации в центре города. В одних районах, говорят, рабочие рвались туда, в нашем, по правде сказать, не очень. Мне лично тов. Матвей говорил: «Комитетчикам хорошо звать на демонстрации рабочих, самих что-то на демонстрации не видать». Меня покоробило от этих слов. За последнее время в настроениях рабочих, даже сознательных, чувствуется влияние антиинтеллигентской демагогической гапоновщины.

Говорят, что наши меньшевики собирались сорвать демонстрацию, доказать этим несвоевременность столь «отсталых» методов борьбы. Но фактически в демонстрации они участвовали. Правда, было очень мало рабочих. Но ведь полиция сделала все возможное, чтобы с застав никого не пропускать.

Демонстрация, как всегда, происходила на Невском близ Казанского собора. Преобладала учащаяся молодежь. Демонстранты держались геройски часами, с мужеством отчаяния. Чорт знает что за обидное чувство быть безоружной жертвой мерзких царских слуг! Пожалуй, невооруженные демонстрации теперь уже отжили свое.

Помимо обычной на демонстрациях полицейской и прочей швали на этот раз организованной силой выступали дворники. Мы с Хохлушкой каждая попали в руки пары этаких дюжих молодцов, от которых разило винищем на 2 сажени. Почему они обратили именно на нас свое благосклонное внимание? Очевидно, их соблазнили Хохлушкина высокая фигура и мои рыжеватые локоны под круглой шапочкой. Выхватили нас из толпы и, угощая ударами своих кулачищ в спину, вели нас под ручку к подворотне углового дома на Михайловской улице. Мне почему-то было смешно от нелепости положения, и я засмеялась. Тогда уж они пришли в ярость, стали меня колотить куда попало и толкать об стену подворотни, у одного же я мельком видела в руках трофею — целый клок моих волос.

Во дворе было устроено нечто вроде арестного дома, куда вталкивали все новых и новых пленников. Мы с Хохлушкой, все в таком же дурацко-смешливом настроении и не чувствуя никакой боли, маленько потолкались среди остальных арестованных, а потом решили — была не была, поехала — удрать. Шмыгнули в ближайший черный ход. Поднялись во второй этаж. Смотрим, стоит и тревожно прислушивается к шуму во дворе интеллигентного вида дама. Увидав нас, ахнула: до того, значит, у нас был истерзанный вид! Пригласила нас в свою шикарную квартиру, обмыла, переодела, напоила чаем и выпустила нас — в изящных дамских костюмах — из парадного крыльца, откуда мы окольными путями добрались до дому. Она высказывала свое возмущение всем случившимся. «Мы, жители Невского и прилегающих улиц, хотим подать жалобу на полицию, которая нас обрекает на то, чтобы ежегодно быть свидетелями возмутительных расправ с молодежью».

Я, придя домой, бросилась на кровать и моментально заснула каким-то тяжелым свинцовым сном, так что даже не услышала, как ввели Зою, которая от пережитого нервного потрясения хлопнулась в обморок. Так мы с нею обе не попали вечером на тысячный митинг в Технoложке, где, между прочими, выступал Юрий З. со здорово изуродованной на демонстрации физиономией.

Утром встала, смотрю — физиономия у меня вся раздутая, глаза заплывшие, плешина на голове болит, а уж руки, спина — сплошной синяк. Не могу сказать, чтобы так уже больно было, — это уже свойство

моей кожи от малейшего ушиба синеть. Но весть о моих синяках распространилась на курсах, приходили надо мною ахать и охать, а уже вечером пришел посланный от адвоката Маргулиеса с наказом притти завтра к нему, где мои синяки засвидетельствует врач: адвокатура решила собрать все живые вещественные доказательства преступления петербургского градоначальства и полиции, на которых будет подано в суд всем «обществом». Что же, смеха ради надо будет пойти.

Из наших курсисток много арестованных. Наш милый Петр Францевич сейчас же начал о них хлопотать и добился того, что их будут кормить курсовым обедом, который он им ежедневно будет посылать. Он надеется, что их скоро выпустят. Ну, что за чудесный наш дедушка!

31 декабря. С отъездом Зои на каникулы я опять осталась без квартиры, к тому же родители моих учеников мне за каникулярное время не платят. Тут на мое счастье какие-то добродетельные кадетские дамы во главе с мадам Гессен сорганизовали на Рижском проспекте столовую для детей безработных и стали вербовать курсисток для их бесплатного обслуживания. Пошла и я, — благо, здесь обеспечены обед и жилище.

Нашей обязанностью в начале было лишь кормить детишек и приучать их к некоторому порядку. Но так жаль эту иззябшую, плохо одетую мелюзгу, которая после обеда никак не хочет возвращаться в свои лачуги, домой. Наладили для них игры и занятия. А тут оказалось еще четверо вовсе бесприютных мальчишек-воришек, которых надо было устроить еще и на ночлег в том же доме. А тут затеяли елку с играми, пением, декламацией. Делали репетиции. Обходили всяких благодетельных буржуев, прося у них денег, ненужных детских книг и игрушек, которые потом ночами чинили и прихорашивали при помощи наших славных мальчишек-воришек. Славно поработали и славно попраздновали с детишками!

В целях того же попрошайничества Маргарита затащила меня и к Горькому, с которым она хорошо знакома с Нижнего. Я маленько трусила, стеснялась вначале, но все как рукой сняло от простоты и сердечности его обращения. У себя дома он вовсе не тот хмурый бука, которого я видела год тому назад на вечере в честь Короленко. Хороший славный товарищ, и все тут. Почему-то предлагал нашему благосклонному вниманию и суждению картину, только что присланную ему в подарок из Америки.

Все это хорошо. Но не хорошо (а скорее как раз очень хорошо — «чем хуже, тем лучше») то, что тучи кругом все сгущаются. Правительство, потеряв взаимное доверие с либералами, начинает свирепствовать. Те тоже все больше раздражаются и уже начинают называть вещи своими именами (напр., слово «конституция» на съезде инженеров). На фронте неудача за неудачей — пал Порт-Артур (настоящий, а не меньшевистская чайная за Невской заставой).

Рабочее движение все растет. Что-то такое происходит на Путиловском заводе. В Баку была грандиозная забастовка с участием 30 000 рабочих. А наши все дерутся. Прав Ленин, что лучше размежеваться, чем так, «вместе» работать. У нас, говорят, образовалось Бюро комитетов большинства, которое теперь уже открыто будет противостоять полуменьшевистскому Ц. К. Организуется даже свой собственный центральный орган, — «Искра» давно уже большевиков даже близко не подпускает. Эх, если бы Ленин был здесь! Он один был бы способен овладеть движением, стать вождем революции, он со своей твердостью, определенностью плюс, пови-

димому, огромным темпераментом. Не знаю только, каков он как оратор. А вождю непременно надо быть оратором.

Девятый вал.

1905 год.

6 января. Ну, начинается! Забастовка на Путиловском распространяется на другие заводы. Вчера забастовал наш Семянниковский. Все время происходят бурные собрания рабочих, на которых большевики, меньшевики и эсеры сражаются друг с другом или с гапоновцами. Последние хоть и спорят против наших политических требований, но сами незаметно для себя их постепенно усваивают.

Помещение нашей Смоленской школы от беспрерывных митингов превратилось чорт знает во что: затоптанное, заплеванное, прокуренное до-нельзя; воздух до того бывает насыщен испарениями сотен людей, что легко в нем повиснет топор. Царит какая-то полумгла, в которой тревожно вспыхивают керосиновые лампы, готовые погаснуть. Сегодня там должна происходить какая-то вечеринка, на которую собирались тысячи людей. Сегодня же я впервые видела Гапона.

Я стояла около дверей, отгороженная от него кучей потных тел. Я почти ничего не разобрала, о чем он говорил, но один его вид производит огромное впечатление: страстный голос, страстные движения, страстно вспыхивающие глаза. Он ставил какие-то настойчивые вопросы толпе, которая на каждый хором отвечала: «Клянемся». Рабочие со всех районов во главе с Гапоном собираются в воскресенье к Зимнему дворцу, чтобы передать царю свою петицию. Что за безумие! Кто же он такой в самом деле, этот Гапон: безумец, фанатик или провокатор, как многие предполагают? Нет, все, что угодно, только не это: он скорее имеет вид подвижника, мученика, еретика, что ли, которого не сегодня — завтра сожгут на костре. И не может же быть, чтобы массы, рабочие массы, в значительной мере уже тронутые социалистической пропагандой, так безнадежно были лишены классового чутья. Не может быть! Он если когда и был правительственным агентом, то теперь накопленное годами и все растущее недовольство рабочих захватило его в свое бурное русло и неудержимо влечет с собой, очищая его от самодержавно-полицейской грязи и превращая в революционера хотя бы поневоле. Этот несомненно истеричный человек в рясе уже не может противостоять движению. Он сливается с ним. «Er glaubt zu schieben, und er wird geschoben». Если он был подлецом, то надвигающаяся революция его переродила.

Днем во время водосвятия, говорят, был произведен выстрел в царскую палатку с противоположного берега. Убит солдат охраны. Несчастный ли случай или покушение?

11-го. Свершилось умопомрачительное предательство! Убиты и изувечены тысячи доверчивых людей, которые собирались к царю-батюшке с крестом и молитвой. Это уже конец — дальше итти некуда...

Настроение в гапоновских отделах неуклонно повышалось. Достаточно было ничтожного повода — издевательства мастера над рабочими одного цеха Путиловского завода, как в течение нескольких дней дело дошло до общегородской стачки в 140 000 человек. И что замечательно: чем ближе к развязке, тем больше опять приобрели веса наши агитаторы и их политические требования.

Все слои общества с трепетом следили за нарастанием волны. Что будет? Чувствовался грохот все приближающегося могучего потока,

который никто не в силах ввести в какое-нибудь русло. Никто не верил в мирный исход предполагаемого крестового похода. Все предчувствовали надвигающуюся беду, и никто ее отвести не мог.

Полиция подозрительно бездействовала. У Святополк-Мирского, говорят, накануне рокового воскресенья было особое военное совещание. В тот же вечер у Витте была депутация от литераторов и общественных деятелей — с ними Горький — с просьбой отвратить возможное несчастие. Но несчастие свершилось... Наши во всех районах усиленно предупреждали гапоновцев о вероятном кровавом исходе дела. Куда там! и слушать не хотели. У молодежи, все же более трезвой, тоже уже разгорелся азарт. И наши решили принять участие в шествии, каждый по своему району.

Мне хотелось ориентироваться во всей ситуации в целом, а не видеть только спины своих предшественников в шествии. Я встала рано на мглистом рассвете чрезвычайно морозного утра и пошла бродить по городу.

Несмотря на рань, с окраин к центру тянутся довольно многочисленные пешеходы с хмурыми, озабоченными лицами. А все мосты загорожены войсками. Форменный военный лагерь: ружья, составленные пирамидками, костры и прыгающие с ноги на ногу озябшие солдаты. Сколько же уже времени они стоят? Такие заставы у Троицкого моста, у Дворцового и у Николаевского. На противоположном берегу Невы, на Васильевском острове, смотрю, то же. Шагаю к Нарвским воротам, откуда ждут основных рабочих колонн, — тоже форменный военный лагерь. Организованного шествия еще нет, но с Измайловского, Забалканского, Загородного и с прилегающих переулков все гуще становится струя одиночек достаточно серого вида. Кто они? Неорганизованные рабочие? Ремесленники? Любопытствующие? Сочувствующие? Не знаю. Идут хмуро и молча и все больше торопясь. Тянутся к центру. Я с ними. Но, измученная многочасовой ходьбой и тяжелым настроением, заворачиваю на Николаевскую к своим ребятам. Сколько времени я проходила? Три? пять? шесть часов?— Прихожу. Хмуро и почти молча завтракаем. Им, конечно, тоже все известно. После завтрака Лев Измайлович с Соней уходят на какое-то свое эсеровское совещание — с конца года оба они стали активными эсерами. К Талочке приходит подруга-соседка. Мы с Глебом решаем вместе выйти на улицу. Глебу уже 16 лет, он не по летам развитой, серьезный и вдумчивый парень.

Идем по Невскому. Толпы все прибывают со всех сторон, все такие же хмуро-сосредоточенные. Однако носится осторожный слушок, что у мостов... у Нарвских ворот... стреляли. Есть раненые, убитые. Не хочется верить, даром что все эти дни себя и других уверяли, что так и будет. Слишком это жутко.

Народу все больше. С трудом продвигаемся вперед.

И вдруг — что за никогда не слышанные звуки? Будто горох сыплется по каменному полу. Толпа на минуту насторожилась, даже приостановилась, жутко оглядываясь друг на друга и шепча: «Это на Дворцовой площади... у Адмиралтейства.. стреляют в народ!».

И вдруг какая-то дикая встречная волна нас оттесняет назад, со все большей силой, все быстрей и быстрей... Это бегут от дворца царя-батюшки его дети, до отказа накормленные им — свинцом.

«Там... там... царь стреляет в рабочих!»

Толпа нас тянет с собой. Тут не остановишься, не повернешь, задавят, подомнут под ноги...

Но, унося с собой беглецов, толпа редеет, и мы снова получаем возможность двигаться вперед. И опять, слышим, сыплется этот зловещий

горох, и новая толпа нам навстречу. И уже не бежит в дикой панике, а в каком-то страстном порыве тянется вперед. Куда? К оружию, товарищи! Aux armes, citoyens!

Но оружия нет, и люди, обрызганные с ног до головы кровью, своей и чужой, в бессильной злобе потрясают кулаками:

— Своими руками задушил бы супостата!

— На этом фонаре бы повесил мерзавца!

А женщина:

— Утюгом бы его убила!

И все вместе:

— Нет у нас больше царя-батюшки.

Смеркалось, когда мы пришли домой. Глеб, истерически разрыдавшись, бросился на кровать. Я, как будто налитая свинцом, опустилась рядом на диван и здесь без движения, без мысли, как будто скованная по рукам и по ногам, пролежала до поздней ночи. Это было нечто вроде летаргического сна.

На утро Глеб мне говорит: «Я решил бросить школу и уйти в революцию. Я много читал и думал, и меня, несмотря на ваш раскол, тянет к социал-демократии. Я вчера окончательно убедился, что в революции ведущая роль будет за пролетариатом. Он вчера получил хороший урок — теперь легко будет внедрить в него социал-демократическое сознание. Этим он победит — при твердой боевой организ ции. Я с вами, большевиками. Меня зовут работать в Невский район. Только ты пока не говори об этом папе».

Хороший мой мальчик! Раннее ты получил боевое крещение... И не мне тебя отговаривать от твоего решения из-за твоих 16 лет. В такое время люди быстро зреют.

Весь вечер 9-го, говорят, и в городе и на окраинах происходили стычки рабочих и просто публики с полицией и с войсками. На Васильевском острове даже, говорят, были баррикады. Настроение по сей день весьма тревожное. Гапон выпустил воззвание к войскам, в котором проклинает стрелявших в народ и благословляет намеренных помогать народу. Сам он скрывается, больше не выступает. Забастовки все продолжаются. Думаю, что всем этим не кончится, что будут еще серьезные столкновения при крайне озлобленном состоянии сторон.

У нас на курсах организован пункт первой помощи, и мы учимся делать перевязки и другие виды первой помощи.

Говорят, много арестов. Арестован Горький.

19 февраля. Ну-с, обычных курсовых занятий у нас теперь нет, бастуем, как и все кругом. Зато во-всю занимаемся «частными» делами. Рабочие теперь гораздо лучше настроены к эсдекам — убедились, что они правы, только требуют единства действия и организации у обеих частей партии. Я рада, что Зою дали в помощь Борису (В. Носкову): это очень серьезный, вдумчивый и деликатный человек, с ним ей будет легко работать. Люди типа Жилы ругают его примиренцем. Ну, что ж, одно из двух: или окончательно сговориться и примириться, или уж окончательно разойтись в разные стороны, сходясь лишь для временных боевых соглашений.

Нам иногда поздно вечером приходится ходить на последние линии Васильевского острова через лед совершенно пустынной в этом месте широчайшей реки — довольно жуткое путешествие.

Я на этот раз поселилась на Забалканском с Маргаритой, у нас квартира с проходным двором, очень удобная для всяких собраний, чем мы

и пользуемся в достаточной степени. С Маргаритой так же приятно жить, как с Зоей, она такой же культурный человек, не то что Жила.

Что же за это время случилось? Ну, бьют нас усердно на суше и на воде. Вышло уж несколько номеров нашей большевистской газеты «Вперед», которая нам очень помогает в работе. Правительство, выбитое из колеи событиями, с одной стороны, как будто всерьез собирается выработать какой-то проект народного представительства, хотя бы с только совещательными функциями, с другой стороны, пускается на новые мерзкие провокации: ужасная армяно-татарская резня 6—9-го этого месяца определенно допущена, санкционирована, если не подготовлена им самим. Это тоже своего рода углубление, только реакции. Мало уже стало еврейских погромов, теперь уже начинается натравливание друг на друга других национальностей. Может, это новейшее преступление — ответ на убийство в Москве великого князя Сергея Александровича? «Ах, вы так? Так вот вам за это!»

Кстати и этот Каляев, как и Карпович, Балмашев, Сазонов, Савинков, оказался бывшим социал-демократом. Все они, не удовлетворенные деятельностью эсдеков, ушли к эсерам, в их террористическую деятельность. Мало, должно быть, красочности в нашей работе для этих, видно, глубоко эмоциональных натур. Каляев, напр., был не только очень хорошим, мягким человеком, но еще и поэтом. Но неужели его не привлекла мощь нашего массового движения? Или для него было уже поздно? Он обрек себя на гибель еще раньше, чем рабочая масса выступила на авансцену истории?

22 апреля. Пришлось переселиться на новую квартиру потому, что наша недисциплинированная публика провалила нам ту идеальную на Забалканском. Не могут ведь не галдеть!

Происходило у нас большое и достаточно серьезное собрание под видом именин. Для отвода глаз купили конфект, орехов и цветов, пили чай. Ребята всерьез увлекались всем этим и дурили как маленькие. Даже петь хором вздумали. Вдруг является дворник: «Расходись, покуда живы-здоровы!» Я с удивленным видом: «Как расходись? мы празднуем день рождения барышни Маргариты — 25 лет ведь ей стукнуло! Не хотите ли тоже угощаться?». А он: «Знаем мы эти ваши именины, — проваливай без разговоров!». Ну, после такого предупреждения живо наши гости исчезли один за другим. А во дворе появились какие-то подозрительные личности, которые все смотрели в сторону наших окон. Ну, мы сочли за лучшее разъехаться в разные стороны: Маргарита к себе на родину, а я в другой район.

Не так давно со мной случилась еще такая вещь. Надо было мне итти по делу на Верейскую, к какой-то Алевтине Ивановне. Очень приятно, думаю, познакомиться со своей тезкой. Прихожу. Спрашиваю Алевтину Ивановну. «Это Березину-то? — спрашивает хозяйка. — Ее сейчас дома нет. Приходите попозже».

Вот так фунт! Каким образом возможно такое полное совпадение имени, отчества и фамилии?

И вдруг меня как будто извнутри осветило: вскоре по поступлении на курсы меня попросили «потерять» паспорт для уезжающего на юг весьма ценного работника, которому необходим очень чистый и благонадежный паспорт. — Что ж, нужно, так нужно, потеряем. «Потеряла» и получила дубликат. — Но неужели нельзя предупредить таких случаев, чтобы уже $1^1/_2$ года спустя в одном и том же районе жило 2 человека по одному и тому же паспорту?

Когда через пару дней я опять зашла к своей тезке, чтобы ее предупредить, она уже оказалась выехавшей неизвестно куда. Так я и не познакомилась со своим двойником. Но этот случай тоже заставил меня менять район.

Ну-с, какие же у нас новости крупного масштаба? Во-первых, ура! — состоялся-таки наш съезд, несмотря на все противодействие Совета партии, редакции «Искры» и прочей заграничной братии. Меньшевики-практики в общем осознали необходимость съезда. Но за границей, говорят, их склонили к бойкоту съезда. Они устроили свою особую меньшевистскую конференцию. Ну и бог с ними. Все же теперь пойдет уж музыка не та. С нетерпением ждем резолюций.

27 июня. Депезе. Вот уже два месяца я сижу в этом богоспасаемом учреждении, именуемом Домом предварительного заключения, которое нам служит приютом, институтом благородных девиц, университетом, санаторией и еще не знаю чем.

На новой квартире я успела прожить всего несколько дней. Шпик ли какой виноват или это еще наши «именины» с Забалканского, но факт, что я крепко сижу в общей камере Депезе, в то время как на обыске у меня взята только довольно невинная первомайская брошюрка, черный твердый гуттаперчевый мяч и мой костяной препарат детской ручки, удивительно изящная вещь, которая мне служила закладкой в толстом томе анатомии. Что они думают, что я детоубийца, что ли? А мой мяч, необходимое пособие для наших обязательных гимнастических упражнений на курсах, разве что приняли за бомбу!

Ну, прошла через все тюремные процедуры — снимание, допрос и прочее.

В общем живется не дурно, принимая во внимание мое намерение тешиться чем угодно, только не плакать. Ну и тешимся. Во-первых, я очень много читаю, серьезно занимаюсь. Библиотека здесь, в частности по общественным вопросам, богатейшая. А у меня с детства, проведенного в тесной квартире при большой семье, осталась завидная для других способность серьезно заниматься при любых условиях, отвлекаясь от всего окружающего. Публика сперва довольно анархически проводила свое время — теперь завела довольно строгую конституцию. Ну, а потом для отдыха всячески дурим, разминаем свои члены, прыгая через скамейки, приплясывая и пр. Я даже выписала свой гимнастический костюм. Сами на спиртовках готовим себе обед, так как казенный обед в горло не лезет. Живем дружно, несмотря на различие вкусов и взглядов. Шьем, вышиваем. А вечерами начинается самое чудесное — сольное и хоровое пение у открытых окон всех без исключения камер! Резонанс здесь великолепный, и спелась публика отлично. Свой «кандальный» репертуар у уголовных. У нас, конечно, все больше политические песни, но и народные песни, романсы и арии в почете.

Лучшие наши солистки сидят в угловой камере в лазарете. У Полины Чайченко, ростовской работницы (бежавшей после знаменитой стачки 1902 г.), роскошное, сильное и чистое героическое сопрано. Она служит запевалом в нашем хоре. Ей великолепно вторит таинственный товарищ «Зверь», у которой приятное гибкое меццо-сопрано.

Почему такая странная кличка? Ее объясняют тем, что «Зверь» человек беспощадный до жестокости в партийных и личных отношениях, поскольку вопрос касается принципов. Странно — такая миловидная блондинка! Хотя как будто у нее есть какая-то линия жестокости около

рта. Это крупная фигура нашего большевистского лагеря. Мне ее до сих пор лично еще не довелось видеть.

Зверь и Полина, как работавшие долго в заграничной организации (Полина наборщицей старой «Искры» в Женеве), хорошо знают революционные песни и на французском языке, и нас им обучают. Особо как-то подъемно действует «Карманьола». Вот где изливается непосредственное, революционное чувство масс. Тут и острый задор, и боевая готовность, и единство мысли, чувства и действия.

Все это только тюремная ерунда — потеха. А вот на воле происходят серьезнейшие события. Съезд наш вынес свои резолюции о подготовке вооруженного восстания, о временном революционном правительстве и о диктатуре пролетариата и крестьянства. Похоже на то, что все это уже в скором времени осуществится. Как будто все усиливаются крестьянские волнения. Забастовочное движение продолжается. Наконец, произошло восстание черноморского броненосца «Князь Потемкин». Все многочисленные возникшие с весны профессиональные союзы объединились в один общий Союз Союзов. Эх, обидно в такое время сидеть! И за что они меня держат? Видно, только из мести за то, что я, согласно решению партии, не желаю им давать никаких показаний.

К другим хоть ходят на свидания, а у меня летом хоть шаром покати, никого в городе нет. Зато пишут усердно, хотя, конечно, ничего интересного. Ну, все равно мы получаем известия с воли, через вновь поступающих, через визитеров и через передачи и свободно делимся ими со всеми.

15 сентября. Освободили меня и многих других в конце июля — видно, чтобы освободить место другим. Говорят, все время идут аресты. Ведь одно образование Всероссийского Крестьянского Союза не шуточное дело — такая махина, такая силища, как наше 120-миллионное крестьянство, когда начнет организованно и единообразно действовать... тогда уже самодержавию не сдобровать. Значит, нужны предупредительные меры.

Выслали меня на родину. Погостила я дома всего недельку, причем ко мне приезжала Зоя, семья которой переселилась в Москву.

Неделю назад я пренахально вернулась в Питер, куда мне въезд был запрещен. Пока не трогают. Надеюсь, что забыли про столь малую птицу при существующем изобилии больших событий. Вышло, наконец, положение о Булыгинской законосовещательной думе, которую наши считают нужным бойкотировать. Кругом да около нее, вероятно, немало будет битв.

Несчастная, столь неудачная война, наконец, закончена — заключен довольно позорный договор.

Высшие учебные заведения получили долгожданную автономию, в которую входит и запрещение полиции проникать внутрь их зданий. Ну, по такому случаю все они превращаются в места беспрестанных митингов. Наши, в частности, курсы стали открыты для всех желающих, в особенности для рабочих. Пошли лекции почти исключительно на общественные темы. Это очень приятно, что теперь у нас будет смешанная публика, а то, мне кажется, что-то есть ненормальное в такой однополой школе для взрослых.

25 октября. Ну и времячко! События гонят друг друга в каком-то диком вихре... Голова кружится — ничего не соображаешь...

С чего начать? Уж хронологического порядка тут никак не придержишься.

Центральное звено в цепи событий это, конечно, царский манифест 17-го. Выходит, что столь долго и настойчиво требуемая либералами конституция стала фактом. Населению «дарованы незыблемые основы гражданской свободы», к участию в выборах в Думу отныне привлекаются «и те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав». И, наконец, «никакой закон не может восприять силу без одобрения Государственной думы».

Все это очень хорошо да мило. Но нас сразу в этом документе смутили два факта: во-первых, что в нем отсутствовало малейшее упоминание об амнистии для политических заключенных, во-вторых, к этому документу приложил свою руку Трепов, — тот самый Трепов, который еще за 3 дня до манифеста в приложении к «Ведомостям Спб. градоначальства» приказал в случае возможных и вероятных беспорядков — «холостых зарядов не давать и патронов не жалеть». Да и в самом манифесте говорится о «мерах к устранению прямых проявлений беспорядка, бесчинств и насилий».

Итак, если это конституция, то весьма условная.

Но публика-то, публика с ума сходила с радости! Целый день 18-го на улице толкались радостные толпы, пестрая смесь всех слоев населения — от рабочих и городской бедноты до гимназистиков, седобородых профессоров и даже — офицеров. Красные флаги, красные цветы в петлицах, восторженное пение марсельезы и прочих революционных гимнов... Многие богатые дома вывесили с балконов роскошные ковры, осыпали толпу цветами. Одним словом — телячьи восторги.

Нашему брату-скептику хотя с самого начала не верилось в конкретность и незыблемость «дарованных», а скорее вырванных когтями свобод, все же тоже было чрезвычайно приятно слиться с праздничной толпой, вместе с нею обманывая себя мечтами о том, что «гнет роковой свергнут навсегда». Ну и мы, лесгафтички, «курсантки русской революции», весь день увеличивали собой толпу, переходя от одной демонстрации к другой. Ведь в этой первой победе революции есть и доля заслуг нас, скромных рядовых революции!

Было решено итти к тюрьмам с требованием амнистии, но либеральные деятели Союза Союзов сообщили, что уже на-днях выйдет указ об амнистии. 22-го действительно была опубликована, хотя довольно куцая, амнистия, были выпущены из тюрем политические. Теперь мы с нетерпением ждем возвращения наших дорогих ссыльных, каторжников и эмигрантов. Увидим, наверное, и Ленина, Ленина!

Во главе нашего революционного правительства — Совета рабочих депутатов, стихийно образовавшегося из стачечных комитетов и в данное время (надолго ли?) являющегося организатором жизни и борьбы огромной страны — во главе этого революционного правительства волей судеб оказался совсем небольшой на мой взгляд человек. Это молодой адвокат Хрусталев-Носарь, работавший раньше в какой-то заводской конфликтной комиссии, где он пользовался хорошим отношением рабочих за свое внимательно-чуткое отношение к их нуждам. Играл он заметную роль на недавно происходившей I всероссийской конференции профессиональных союзов.

Перед самым 17 октября я по какому-то делу должна была зайти к этому самому Носарю. Он не то уже был избран председателем Совета, не то уже намечен. Вхожу в какой-то мрачный дом где-то в «Ротах», взлетаю на самый верх. В мансарде, довольно убогого вида и почти пустой, вижу бледного, худого, с мелкими чертами лица неказистого вида человека, в довершение всего еще с обвязанной от зубной боли щекой. Вид

страдальческий, — от зубной боли ли или от сознания огромной нежданно-негаданно свалившейся на человека ответственности? Говорят, он энергичный, дельный и толковый председатель, блестящий оратор, пользующийся большим влиянием на рабочих. Что он вполне на своем месте как беспартийный человек с социал-демократическим, хотя меньшевистским уклоном. Но по его внешнему виду этого не скажешь. Он производит впечатление именно незначительного человека. Не одна же зубная боль в этом виновата?

Наши либералы-освобожденцы оформили свое существование как «конституционно-демократическая партия», для краткости К.-Д., а попросту — кадеты. Да еще ко всем прочим прелестям вроде свободы собраний и союзов у нас фактически завоевана и свобода печати, о которой правительство позабыло сказать в манифесте. Совет печатает свои «Известия», где считает нужным, нелегальные наши газетки постепенно заменяются большими легальными, всякие листки и воззвания открыто раздаются или продаются на улицах.

4 декабря. Ну, дело дрянь. Вчера арестован Совет in corpore. Еще 26-го арестован Хрусталев. А еще раньше арестованы бюро крестьянского съезда и почтово-телеграфного союза. В Саратовскую, Тамбовскую и Черниговскую губернии посланы усмирительные экспедиции. Запрещены стачки в «общественно необходимых» предприятиях. Одним словом идет наступление контрреволюции по всей линии в ответ на форсированное наступление революции.

Перелом, по-моему, начался 26-го с неудачного Кронштадтского восстания. Одновременно с его усмирением 28-го было введено военное положение в Польше. Значит и там что-то такое происходило. В ответ на эти события Совет объявляет новую политическую стачку с требованием снять везде военное положение, отменить полевые суды и смертную казнь, которая определенно грозила кронштадтцам. Стачка прошла чрезвычайно организованно и дружно, и правительство уступило требованиям Совета.

Но эта стачка определенно не была по душе нашей либеральной буржуазии. Она находит, что довольно играть в революцию. Ведь факт, что от дальнейшего ее развертывания начинают страдать ее, буржуазии, карманы. Главное, этот декрет Совета о 8-часовом рабочем дне, который еще с 26-го явочным порядком стал вводиться на некоторых заводах! В ответ и казенные, и частные заводы объявили локаут, десятки тысяч рабочих остались на улице. Провинция на этот раз не поддержала Питер. Совету по вопросу о 8-часовом рабочем дне пришлось уступить — второе после Кронштадта поражение доселе победной революции...

Ну, а там пошло и пошло. Если буржуазия прежде всего страшится расширения революции в экономической области, то правительство больше всего боится брожения в войсках. После Кронштадта — Владивосток, затем восстание в Севастополе, волнения в Киеве. Это, конечно, не шутка. Если правительство не хочет кончать самоубийством, оно вынуждено убить революцию. А мы, если хотим ее сохранить, укрепить и развернуть широко, должны ее вооружить во что бы то ни стало. Расширять, углублять работу в войсках, форсировать вооружение народа — вот первая задача момента.

Последним завещанием нашего первого кратковременного революционного правительства было: всеобщая финансовая забастовка (неплатеж налогов и изъятие вкладов из сберегательных касс) и — подготовка к вооруженному восстанию.

Странно все-таки, что при свирепствующей реакции пока никто из наших не арестован! Ведь ни для кого не тайна, что социал-демократические, а в частности большевистские, лозунги чем дальше, тем больше овладевали Советом. Думаю, что это оттого, что наши крупные деятели официально сохранили свое инкогнито, хотя ведь выступали они все время довольно-таки открыто на митингах в высших учебных заведениях, в Соляном городке, в Вольном экономическом обществе, в доме Паниной и т. д. Слышала, видела я за это время Богданова, Рожкова, Лядова, Кнунянца, Румянцева, братьев Войтинских, Гольденберга, Линдова, Красикова и Алексинского. Последние два — самые остроязычные — это гроза наших меньшевиков.

Растет несомненно большая сила в лице юного студентика Абрашки (Крыленко), если только его раньше времени не испортят. Ну и темперамент, ну и энергия у парнишки! Нет митинга, где бы он не выступал, беспрестанно перебрасывая свою фуражку из руки в руку, — характерное для него движение.

Из шлиссельбуржцев в первые же недели свобод видела и слышала на курсах Лесгафта Новорусского, Морозова и Лукашевича, к которым некоторые из наших курсисток были прикреплены в качестве квартирмейстеров и проводников.

Удивительно, какую свежесть мысли и восприятий сохранили эти люди, десятилетиями заживо похороненные! А может, так же, как у нас теперь неделя идет за год, у них год шел за месяц, и они потому сохранили юность души.

А еще видела, слышала я — Ленина...

Было это, должно быть, вскоре после его приезда, в Технологическом институте.

Народу собралось уйма. Вдруг напирает особенно густая толпа. Слышится почтительный шопот: Ленин! — Оглядываюсь, как наэлектризованная. Смотрю, в гуще толпы идет, опустив голову, с озабоченным видом небольшой человек в потертом головном уборе. Бледный, худосочный на вид.

Поднимает голову. Смотрит задумчиво. Прекрасные, неожиданно темные, глубоко сидящие глаза, взгляд которых как будто ушел глубоко внутрь самого себя. О чем он думает? Отчего у него такой озабоченный вид? Может, он пришел только для того, чтобы ориентироваться в обстановке, в настроениях? В его расчеты не входило, чтобы его узнали?

Или он весь полон огромного чувства ответственности за то, что делается, он, революционер-вождь?

Его заставляют говорить. Начал он вяло, как будто неуверенно, будто нащупывая почву. Потом его стали прерывать вопросами и восклицаниями:

— Товарищ Ленин, вы просто виляете, не даете прямых ответов на вопросы определенной линии поведения.

Тут он вдруг как будто напружинился, как будто вырос на глазах. В его каком-то особенном, картавом голосе послышались металлические нотки. А задумчивые до сих пор глаза заискрились то в добродушном смехе, то в боевом задоре:

— Виляем? — Да, и впредь будем так вилять. Так вилять, значит маневрировать. Когда того потребуют интересы пролетариата и революции, вильнем сюда; изменится конъюнктура, и мы в интересах революции же вильнем туда. Это называется диалектика, тактика, стратегия. Так-то, товарищи-марксисты!

У Саши и Зои я часто теперь встречаю симпатичного старика Миха Цхакая, с которым они были знакомы еще раньше.

Это удивительно трогательно, когда он со своим мягким грузинским акцентом говорит о «неумолимости» большевиков. Эго у него выходит так: «Ми нэ умалими». Я грешным делом думаю, что он очень мягкий и добрый человек при всей своей теоретической неумолимости.

31-го. Депезе. Итак, снова в сей «тихой обители». Как же я на этот раз сюда попала? А вот как.

Не помню 21 или 22 числа — у нас на 1-й линии Васильевского острова должна была произойти какая-то, кажется, общегородская конференция. Пришла с опозданием — задержалась по другим делам. Прихожу. Смотрю — из дворницкой под лестницей выглядывают какие-то скверные личности и следят за мною, куда я поднимаюсь по лестнице. Что делать? Уйти? Но ведь надо же предупредить товарищей о таком казусе! Поднимаюсь. Звоню. Оказывается, не та квартира — адрес перепутан. Слышу на той же площадке в квартире напротив бесцеремонный галдеж. Ну, думаю, наши! Звоню. Вхожу. Полная комната людей. Обращаюсь к одному, к другому с предупреждением. Не слушают, отмахиваются, занятые каким-то грандиозным спором. Наконец, добираюсь до стола, где сидит единственно мне здесь хоть немного знакомый товарищ Максимов, «петушок с тонким голосом», как его называет Зоя. Встревожила его. Он водворяет тишину. Но поздно. Со стороны кухни уже слышится топот массы ног. Впирает целая толпа городовых, околоточных, приставов и понятых. Часть устанавливается шеренгой в коридоре, часть в комнате приступает к личному обыску.

Я скромно стою у окна, ожидая свою очередь. Вдруг как вспомню, что у меня в кармане пальто, висящего в передней, вместе с носовым платком осталась крошечная записная книжка, а в ней, хоть зашифрованные, несколько адресов, — меня аж в жар бросило!

Но я напустила на себя внешнее спокойствие, вышла в коридор, вынула из кармана платок, захватив вместе с ним и книжечку, стала опять у своего окна и, будто от волнения, стала усиленно кашлять и сморкаться в платок, одновременно изжовывая и глотая листочки с адресами. Слава богу, удалось.

Кончился обыск. Нас увозят. Здесь я попала в свою прежнюю общую камеру. Застала наряду со старыми революционерками, строгими конспираторами, много совершенно сырого рабочего молодняка.

Отлив.

1906 год.

26 апреля. Ну, были у меня за это время и допросы, и отказы в даче показаний и пр. Обвиняют меня не больше, не меньше, как в подготовке московского вооруженного восстания. На основании чего? Предъявляют мне: 1) карточку Максимова, человека, которого я почти не знаю; 2) квитанционную книжку РСДРП; 3) написанное моей рукой печатными буквами гектографированное извлечение из какой-то ленинской статьи о вооруженном восстании. Откуда они это выкопали? Этому документу, видимо, придают наибольшее значение. Ну, посмотрим. Посидим.

Со мной тут сидит одна старая «тюремная крыса», успевшая даже облысеть от многократных и многолетних тюремных отсидок. Она говорит, что никогда раньше не было так тяжело сидеть, как теперь. Раньше, бывало, знаешь, что засядешь года на два, ну, и настроишься соответственно, смотришь на это дело, как на отдых после напряженной парт-

работы, как на время серьезной учебы. А теперь, когда не знаешь, то ли тебя завтра выпустят, то ли сошлют на каторгу или повесят, то ли послезавтра сам народ тебя освободит — теперь уже 2—3 месяца сидки действуют на нервы.

Кстати, эта «тюремная крыса» безымянная. Это, видно, давнишняя социал-демократка, теперь меньшевичка. Она держится очень конспиративно, против меньшевистского обыкновения.

Чрезвычайно нервирует наша чрезмерная тюремная свобода. Мы устаем от собственного пения, болтовни, беготни. Большинство при первой возможности спасается в одиночные камеры. А я боюсь одиночества, хотя и мне вечная смена лиц в камере действует на нервы.

Решила отпустить волосы — для более солидного вида в будущем. А пока заплела их в две маленьких косички с красными бантиками. Щеголяю в гимнастическом костюме. Делаю самую головоломную гимнастику на потеху публике. Во время прогулок на дворике мне товарки из одиночек 1-го и 2-го этажа спускают простыни, привязанные к решетке, и я по ним карабкаюсь к ним под окна — в гости.

Еще зимой, когда к нам поступила Вера Михайловна Бонч-Бруевич, и она меня из своего окна на третьем этаже увидела резвящейся на дворе, она высказывала свое возмущение соседке, что при «конституции» в тюрьме стали держать 15-летних девочек. А девочке-то в самом деле уже исполнилось 26 лет. Шутка ли? И ведь у меня только наружность моложавая, а душой-то я старая-старая, как слишком много и интенсивно переживавшая.

Эту самую Веру Михайловну мы, можно сказать, освободили своими силами — путем «голодовки». Но вышла эта голодовка довольно-таки неприличная, недружная и всего только двухдневная.

Дело в том, что Веру Михайловну арестовали, оторвав ее от больного скарлатиной ребенка, 2-летней девочки. Вера Михайловна, естественно, очень тяжело переносила отсутствие всяких сведений о тяжело больном ребенке, и сама вздумала объявить голодовку. Ну, тут мы ей пришли на помощь общей голодовкой, покричав и поспорив весьма громко кругом да около этого дела.

27 июня. Вот уже больше полугода я здесь провожу свои дни. Их можно свободно вычеркнуть из своей жизни, если только не считать бесконечного чтения и самообразования, которое, конечно, пригодится в будущем.

Настроение у меня чертовское. Главное, что из сознательных большевичек я осталась одна. Меньшевички наши совсем обнаглели, все более густые помои выливают на головы грешных «бланкистов». Они говорят, что мы на съезде разбиты по всем статьям, и что рабочие требуют и добьются того, чтобы мы на 100% подчинились решениям съезда. Прошла муниципализация земли, прошло участие в дополнительных выборах и даже организация в Думе своей социал-демократической фракции. Как это так вышло?

Не верится мне в прочный мир в партии на основе меньшевистских решений съезда. Да и нужен ли столь худой мир? Нельзя насильственно спаять столь разнородные элементы, примирить непримиримое.

30-го. Выпустили Женю Баранову, Басю Роземблюм, А. И. Педашенко. На-днях выпустят почти всех эсерок. Состоялся суд над Марусей Б., 16-летней гимназисткой-эсеркой, у которой в комнате были найдены бомбы. Говорят, что она осуждена на 20 лет каторги! Присутствовавшая на суде мать, услышав этот приговор, умерла от разрыва сердца. Бедная

малая Марусенька. Еще так недавно она венчалась в тюрьме с каким-то своим, кажется, столь же юным соучастником. И они в ее общей камере весело справляли свою свадьбу...

Как мне жаль эту зеленую, не успевшую пожить молодежь! А вместе с тем, я уверена, что они, так же как и я, не согласились бы свою яркую жизнь революционеров менять на мещанское благополучие недавнего прошлого и другой среды.

Наша свобода и наша нервозность все растут. Отвоевали себе помощью большого шума-обструкции общие прогулки и открытые двери общих камер и одиночек. А теперь сами не рады беспрерывному шлянью из камеры в камеру. Я тоже уже просила меня перевести в одиночку.

5 июля. Только на-днях я так глупо ныла, а сегодня мне была неожиданная радость: в первый раз и у меня было свиданье! И знаете с кем? С Анной Павловной. Она, оказывается, была в полной уверенности, что ко мне ходит кто-нибудь из родных и даже не надеялась, что ей дадут свиданье. Очень, говорит, соскучилась обо мне. Рассказывала мне о моих ребятах. Из ее «эзоповского» языка я поняла, что Глеб продолжает с увлечением работать с большевиками все в том же районе. Лев Измайлович не терпит, чтобы при нем говорили обо мне: он считает, что это я совратила его единственного сына с единоспасающей эсеровской стези. Соня, насколько я поняла, после какого-то провала в своей организации, укатила за границу, где с осени собирается учиться. Талочка чувствует себя одинокой и заброшенной и очень привязалась к Анне Павловне, мечтая сделаться такой же, как она, учительницей.

28-го. Ура! Завтра уже конец моему «предварительному» житью-бытью. Но сколько времени меня еще морили, несмотря на то, что у нас опять полным-полно... Что же их все же заставило меня освободить? Не Волкова ли? Это с недельку тому назад совершенно неожиданно является старая известная докторша Волкова, убежденная монархистка, но очень хороший и отзывчивый, притом необычайно энергичный человек, руководительница курсов гигиены, на которых я училась в 1902/03 году. Поднимает целый скандал, — как это столько времени держат, да еще жарким летом, в душном помещении человека с таким безнадежно-больным сердцем! Напугала начальника, что от малейшего повода со мной может случиться беда, а там уж неприятностей не оберешься. Нашумела, наскандалила и ушла. Не знаю, по своей ли инициативе она пришла, или Анна Павловна ее натравила. Со мной она была очень нежна. Даже не похоже на эту суровую даму.

Итак, вперед в новые битвы...

8 октября. Гм, не очень-то давали сразу броситься в бой... Так же, как в прошлом году, выслали — до суда. И я так же, как в прошлом году, маленько повертелась вне Питера и вернулась на авось. И так же пока сошло. Не знаю, насколько серьезны в прошлом году были виды на суд, но нагрянувшие октябрьские дни свели все это на-нет. Авось, и в этом году повезет, хотя адвокат Владимир Беренштам, с которым я посоветовалась на счет своего дела, только покачал головой. «Уж очень неопределенное дело, — говорит, — оно может кончиться ничем, а может и каторгой. Все будет зависеть от того, каким ветром к тому времени повеет в верхах. Ни на что определенное сейчас рассчитывать нельзя».

Это очень милый человек, этот Владимир Беренштам, несмотря на свой буржуазный вид (большую полноту) и столь же буржуазную квар-

тиру. Он социал-демократ, идейный человек. Всю политическую голытьбу консультирует бесплатно. Ко всему еще угостил чаем с разными вкусными вещами и всякими художественными сокровищами — картинами, статуями, альбомами и прочее.

Ну-с, погостила я дома пару дней, чтобы удостоверить мать, что я жива и здорова, а потом на 2 недели поехала в Тульскую губернию, к родственникам, где я гостила в 1902 году. Только на воле я почувствовала, до чего все-таки мне нужны были воздух и солнце после нашей тюремной «воли».

Обстановка в имении приблизительно та же, что и в 1902 году, только крестьяне смотрят хмуро, шапок уже не ломают перед господами, а начальство уже боится пустить в ход кнут.

Я там застала интересное новшество — строящуюся шахту. Работу ведет молодой штейгер, лет 28, Сергей Б., крепкий, стройный, энергичный парень, с прекрасными синими глазами. Мы с ним как-то сразу подружились, почувствовав друг в друге своего человека среди чуждых по духу окружающих. Он сибиряк, работал еще недавно в рудниках верховья Енисея. Удивительно красочно и воодушевленно рассказывает о красоте природы, о тамошней работе, о вольных и вместе с тем строгих порядках, о серьезных, деловых и вместе с тем дружеских отношениях товарищей по работе друг к другу, к рабочим, о грандиозном, торжественно-свободном праздновании Первого Мая, о местных народных развлечениях, о характере и нравах туземцев, переселенцев и каторжан, о былых временах, о студенческих годах и о политической борьбе, о костре для мучеников свободы в Томске 20 октября 1905 года. Это какой-то поэт-производственник: «Если бы вы знали, что за гордость и радость сделать могучую природу слугой маленького человека».

Мне было удивительно легко и радостно с ним. Мы друг друга понимали с полслова. Мы вместе обедали у моих родственников, вечерами гуляли, по утрам иногда вместе спускались в шахту. Видела его заботливость к рабочим, его хорошее товарищеское отношение к ним. Он меня звал в Сибирь учиться и работать.

Но дорогим родственникам чем-то не понравилась наша дружба. Не то они боялись за мою «нравственность», не то за целость княжеского имения. Я их высказывания в начале приняла за неловкие бестактные шуточки: «Странное совпадение — двое красных за раз! Не члены ли вы одной и той же организации, делегированные сюда для пропаганды?.. Что же вы собираетесь делать в шахте — не бомбы ли начинять?».

Потом уже, смотрю, за нами определенно шпионит 16-летний племянник хозяев. Фу, ты чорт! Как мне ни было приятно общение с Сергеем, я не выдержала и уехала раньше намеченного времени. Мы очень тепло прощались с Сергеем и решили обязательно зимой где-нибудь встретиться. А пока завели переписку.

На обратном пути заехала в Москву за Зоей, которую тяготит жизнь в семье, чрезмерные заботы матери и которая опять хочет работать в Питере.

Поселились мы с нею вместе на этот раз на Петербургской стороне, на уютной, полудеревенской Подрезовой улице. Работаем в очень приятном культурном коллективе. Начальством нашим является «Дяденька» с «Тетенькой». Первая (Лидия Михайловна Книпович) меня сразу привлекла к себе каким-то большим внутренним сходством с моей дорогой ушедшей Ульяной Сергеевной. У нее то же внимательно-изучающее отношение к людям. Ее мишурой не обманешь. Жаль, что мне пока мало приходится с нею иметь дело.

А «Тетенька» (Прасковья Францевна Куделли) мне поразительно напоминает француженку нашей гимназии М-ль David и внешним сходством, и своей манерой говорить, и всем высоко-культурным и строгим обликом своим.

Очень хорошие товарищи и супруги Беляковы, серьезно-вдумчивая медичка Лосева и веселая энергичная Наталка-Полтавка (Раскина). Ну, и само собой Зоя моя.

Как всегда, 85% положительных переживаний дают рабочие. Нравится мне и моя достаточно самостоятельная деятельность организатора подрайона. Одним словом, хорошо жить на белом свете.

На разгон Думы все откликнулись по-разному. Мирнообновленцы призвали своих избирателей к спокойствию и благоразумию, грозя крутыми мерами правительства. Кадеты, собравшись в Выборге, сделали очередной красивый жест: призвали народ не давать преступному правительству ни одной копейки и ни одного солдата. Социал-демократическая фракция и трудовая группа совместно выпустили воззвание «К армии и флоту» и «Ко всему крестьянству» с призывом к защите своих представителей. Меньшевики сверх того опять затеяли было всеобщую забастовку-демонстрацию, да не выгорело дело. Теперь они носятся с идеей особого беспартийного рабочего съезда.

Ну, а там опять пошли восстания моряков в Свеаборге, в Кронштадте, Ревеле, пошли покушения и убийства слева и справа, участились и увеличились в масштабе партизанские выступления и экспроприации, в особенности в Прибалтике. Что-то будет?

19 сентября начался суд над Советом рабочих депутатов. Конечно, для всех них пахнет каторгой, если не чем-нибудь побольше.

31 декабря. Происходила конференция наших военных и боевых организаций. У нас выработался довольно остроумный план снабжения войск, при посредстве новобранцев из рабочих, умело подобранными легальными библиотечками из популярных агитационных брошюрок и рассказов, изданий 1905—1906 годов. По этому делу я ходила в наш партийный книжный склад на Караванную, где впервые видела жену Ленина, Надежду Константиновну Крупскую. Имевшие с нею дело товарищи говорят, что это необыкновенно добрый, хороший и внимательный человек, при всей большевистской твердости. Но ее сухая и серая внешность при первом знакомстве не подкупает. «Суфражистка какая-то», пронеслось у меня в мозгу. Но ведь наружность обманчива.

1907 год.

20 февраля. Сегодня впервые собралась новая Дума, из-за которой мы столько старались. И старанья наши увенчались сравнительным успехом: левый блок (с.-д., с.-р. и трудовики) собрал даже больше голосов, чем мы надеялись. Кадеты, конечно, хотя абсолютно сильно уменьшились в числе, все еще идут впереди, но при следующем таком случае мы определенно победим, окончательно изживутся конституционные иллюзии мелкого мещанства. А если несмотря на все ограничения для революционных элементов страны, последние не победили на выборах, то это в значительной мере вина наших меньшевиков, которые из страха перед мнимой черной опасностью держались за фалды кадетов и пришивали к ним и несознательного мелкого обывателя. Ну, чорт с ними пока, — мы еще поспорим.

Пошла и я поглазеть на сборы народных представителей к Таврическому дворцу, в первый раз, так как во время созыва первой Думы я

ведь сидела. Говорят, что тогда все это было гораздо праздничней и торжественней. Но и сейчас празднично-приподнятое настроение масс, весело мелькающие на предвесеннем солнечном небе красные игрушечные шары, шутливые возгласы и непринужденная болтовня толпы все же показывают, насколько мы даже при военно-полевой конституции ушли вперед от всех пред революционных годов, когда улицы Питера, по выражению знакомой парижанки, представляли из себя сплошную похоронную процессию. Добьемся мы еще и не того.

18 апреля. Баку. Вот это так неожиданность для меня самой! Как же я очутилась здесь?

С первых же дней Думы запахло скорым ее разгоном. Опять пошли обыски и аресты. Совершенно неожиданно вновь заарестовали и меня. Хотя Беренштам предупредил меня еще раньше, что так может случиться, и что, если я не хочу рискнуть неизвестно чем, мне лучше заблаговременно уехать. Но так не хотелось уйти от работы, к тому же я никакой слежки за собой не замечала. Он ввиду полной невыясненности моего дела советовал мне, если дело всерьез дойдет до суда, попытаться в подходящий момент с него уйти. Он даже набросал довольно фантастический план моего бегства. Я должна буду отпроситься в уборную, куда он мне заранее запрячет за стульчак какую-нибудь одежду, нарядившись в которую, я и должна буду незаметно выйти.

Мне не верилось в возможность этого — неужели на суде пустят без надзора в уборную, если даже при домашнем обыске этого нет! На самом же деле все вышло гораздо проще.

Через несколько дней после моего ареста меня повели в здание Окружного суда — на суд. Встретила там целую компанию тех, с которыми я больше года тому назад была арестована на Васильевском острове. Впервые испытала нелепое положение сидящего на скамье подсудимых, вставанье перед судом. Ответила на перекличку. Когда дело дошло до Максимова, его не оказалось. — Где же он? — Тяжело болен. — Непредвиденное обстоятельство. Замешательство. В этот момент, не дожидаясь, когда наши провожатые отыщут каждый своих питомцев и отведут их обратно в различные тюрьмы, — я просто и незаметно ушла.

Я страшно плохо ориентируюсь в новом месте и понятия не имела, где выход. Но дураку счастье. Именно благодаря этой своей неспособности ориентироваться я попала чрез какие-то пустынные переходы на черный ход и, на пути накинувши на голову припасенный в кармане ситцевый платочек и освободив из-под юбки такой же фартук, беспрепятственно вышла на улицу и завернула на Сергиевскую, где живет аристократическая подруга моей Сони, девица с эсеровскими взглядами. Она с семьей с большим сочувствием отнеслись ко мне и снарядили меня в путь, «потеряв» для меня паспорт своей горничной, красавицы панни Ядвиги.

Почему я поехала именно в Баку? Во-первых, я знала, что здесь все время шла широкая, прекрасно организованная партийная работа. Во-вторых, я знала, что здесь живут старые друзья моей матери, которых я помнила с детства, и которые могли бы мне помочь устроиться материально. А, в-третьих, дефекты моего организма, продукты питерской гнилой зимы и еще более гнилой квартиры настойчиво требовали солнца и тепла для своего излечения. И то и другое я здесь нашла в изобилии, а сверх того еще избыток нефтяных испарений, которые, очевидно, имеют какое-то дезинфецирующее свойство. Факт тот, что я здесь себя чувствую здоровой, как никогда. Всякому могу рекомендовать Баку, как курорт.

Немного неладно вышло с мамиными знакомыми, которые оказались людьми разве что октябристских воззрений. Само собою, я не посмела им говорить всю правду, а молола им что-то такое более или менее правдоподобное о мотивах своего приезда. Через них я получила маленький урок, но длительно воспользоваться их гостеприимством не могла, именуясь официально Ядвигой Буткевич.

На счастье в первые же дни я здесь встретила свою старую знакомую Настю Завьялову, которая меня и связала с организацией. Из наших лесгафтичек здесь еще находятся Фаро Кнунянц и Анна Семенова, учительница-меньшевичка; из крупных работников-профессионалов: Тимофей, Шаумян и Джапаридзе. Много старых твердых большевиков имеется и среди местной служилой интеллигенции: Стопани, Гуковские, Васильевские, Окинщевич, Варшавский и пр.

Поразительное впечатление на меня произвели бакинские свободы после нашего уже почти подпольного существования в Питере. Реакция еще сюда на докатилась. Как будто я перенеслась в октябрьские дни 1905 года. На улицах шумные разговоры, пение, пляски, смех. На заводах широкие открытые общедоступные митинги, дорогу куда посторонним людям столь же открыто указывают городовые.

Удивительно интересные тут по праздникам устраиваются митинги-пикники. Рабочие и агитаторы — большевики, меньшевики и эсеры — захватывают с собой всякую снедь, а главное побольше бутылок из-под казенки, наполненных тем или иным невинным питьем, и на пароходе отправляются на близлежащий остров Нарген или на Зыховский мыс, где происходит с виду развеселое пиршество, а на деле самая оживленная политическая дискуссия. Ведь тут еще надо знать горячий темперамент этих южан различных национальностей!

По обратному прибытию в город часто для отвода глаз устраивается еще гулянье в «губернаторском» саду с пением, плясками, во время которых незаметно исчезают агитаторы. Оставляемые на месте в изобилии пустые бутылки должны засвидетельствовать «невинный» характер гулянья.

В партийную работу, как таковую, я еще толком не вошла, хотя тут сразу за меня ухватились, как за столичного работника. Но слишком мал мой масштаб работы, слишком малы мои данные для здешних широких возможностей. Здесь требуются или очень темпераментные митинговые ораторы для столь же темпераментных многоязычных рабочих масс, или же солидные лектора для тоже достаточно широких аудиторий сознательных рабочих верхов, главным образом русских. Ни для того, ни для другого у меня нет данных.

Зато с громадным удовольствием я начала заниматься на вечерних рабочих курсах Биби-Эйбата, входящих в сеть культурных учреждений Совета съезда нефтепромышленников. Тут вполне возможно вести полулегальную пропагандистскую работу под видом общеобразовательной.

6 мая. Кроме биби-эйбатских рабочих курсов я занималась уже раз пять в городской воскресной школе с двумя группами. Первая — это разноязычная группа подростков и юношей различных восточных племен, желающих изучить русский язык. Это всякая городская мелкота: ремесленники, рабочие, возчики, уличные торговцы, носильщики и пр. Они почти не знают языка. Вначале я с ними изъяснялась больше рисунками на классной доске, мимикой. Страшно интересная, своеобразная и горячая публика. Вторая группа — мелкие служащие, приказчики и пр., русские и армяне в большинстве, прилично грамотные по-русски, желают изучать немецкий язык. Это уж публика с претензиями и с известною манерностью.

Клара Верновская свела меня еще с одной молодой работницей-швеей, Розой, необыкновенно энергичным человеком, для работы с группой швей и прочих кустарок. Занималась я с ними в так называемой «Трущобе» на Верхне-Тазапирской у Шемахинского базара.

8 ноября. Le roi est mort, vive le roi! (Король умер, да здравствует король!) 3 июня разогнана II Дума, а 1 ноября созвана III-я на основе еще значительно ухудшенного избирательного закона. Это уж какая-то игра в бирюльки. Каюсь, что все мое существо восставало против участия в этой поганой Думе, но Ленин, как и всегда, в конце концов, меня переубедил. Ведь это же, в конце концов, какая-то высшая ступень революционного самопожертвования, выраженная в его словах: «Третья Дума — это хлев, но если в интересах рабочего класса необходимо, чтобы мы некоторое время посидели в хлеву, то мы посидим». Представляю, что ему стоило так «вильнуть» в интересах рабочего класса! «Использовать всякую легальную возможность, чтобы удержать связь с рабочими массами, чтобы не превратиться в секту». А какие же еще возможности, кроме трибуны в «хлеву», у нас остались?

У нас в Баку уже пришел конец митинговому угару, который наблюдался в начале года. Публика приступает к более «нормальным», то есть более привычным для старых социал-демократов формам работы, средним между кружковыми и лекционными. Проводятся довольно широкие рабочие конференции.

Я лично продолжаю работать со своими биби-эйбатцами, которые мне дают большое удовлетворение. Женскую группу и воскресную школу я сдала еще в начале лета. Сейчас чрезвычайно увлекаюсь организацией детских садов, клубов и площадок. Привлекла себе помощников-добровольцев из мужчин и женщин, из безработных поневоле рабочих и партийцев, из безработных по своей обеспеченности интеллигентных дам, близких нам по воззрениям. Работаю с упоением, учась и уча других. Никогда еще для меня не было такого полного простора созидательной, творческой массовой работы. И работаем мы пока в этой области совершенно беспрепятственно — в культурной работе среди детей и подростков ни правительство, ни капитализм пока опасности для себя не видят. Напрасно! Ведь формируются кадры будущих бойцов против того и другого. Посмотрели бы господа Нобели и Манташевы, какие картины рисуют мои подростки в своем клубе, какие речи держат! Удостоверились бы, какими интересами живут даже «невинные» малыши детского сада. Испугались бы за свое будущее...

Моя возня с детьми, столь великолепным по природе человеческим материалом, но часто исковерканным до-нельзя нелепым воспитанием, меня навела на дурные мысли: мне захотелось иметь собственного ребенка, которого уже я воспитаю вполне в духе Лесгафта и Ленина. Нашла себе и вполне подходящего помощника в этом деле. Он тоже, как многие другие старые партийцы, в значительной мере выбит из колеи быстрой сменой событий последних лет, новыми формами работы, к которым он, старый конспиратор и организатор общероссийского масштаба, пока еще приспосабливается с большим трудом. Еще тогда, в конце 1905 года, у целого ряда старых товарищей, возвратившихся из эмиграции и ссылки, чувствовалась какая-то назревающая трагедия: состояние отчужденности человека, проснувшегося после 100-летнего сна в новой эре. Нелегко им было приспособиться к совершенно новой обстановке. Не эта ли смена анархических свобод и дикого разгула реакции сломила многих преданных бойцов? Ведь и Жила наша пропала без вести: может, она вовсе не умерла,

а скрылась неизвестно куда, не найдя себе, при ее негибкой натуре, подходящего поля деятельности при новых порядках?

Мы с Кириллом решили не ныть, не хныкать у разбитого ко́рыта, а приняться за стройку нового.

31 декабря. Вернулся опять за границу Ленин. Вынужден был опять уйти в проклятую эмигрантщину ради возможности работать для подъема новой волны революции. Как ему должно быть тяжело переносить поражение революции, ему, который тверже всех верил в нее, энергичнее всех для нее работал! Но уж он-то хныкать не станет. Ленин, слышишь через тысячеверстные расстояния, через горы и моря: ты не один, с тобою тысячи верных тебе рядовых революции. И мы придем, когда понадобимся, и придем не одни, а с миллионными кадрами воспитываемых нами новых борцов. Маленький рядовой революции временно вернулся к станку, к сохе, в лавку, контору, в школу. Но он вернется к новым боям, когда его позовет родина пролетариата — социализм.

В колхозах под Самаркандом.

Р. Акульшин.

С Ибрагимовым Юсуфом я познакомился случайно. Прославленный герой гражданской войны, награжденный вместе с тов. Фрунзе золотым оружием за взятие Бухары, теперь этот человек занят вопросами сельского хозяйства. Увлекаясь фордизмом, он мечтает в колхозах поднять производительность труда, которая в настоящей своей стадии не дает ему покоя.

Познакомившись в Самарканде, мы уговорились о том, что я приеду погостить в совхоз «Искандер», откуда рукой подать до колхозов опытно-показательного Паст-Даргомского района.

В один из солнечных сентябрьских дней я вышел из вагона на станции Джума. От нее до Искандера шесть верст. Меня ждала арба, на которой из совхоза по делам службы приезжал агроном.

Немного погодя после того, как мы тронулись в путь по пыльной дороге, я завел разговор о колхозном строительстве.

— Будущее за совхозами, а не за колхозами, — сказал агроном. — Я работал в колхозах три года. С какими данными вступает человек в колхоз? Что он имеет? Ничего абсолютно, кроме души. Он получает от правительства ссуду, которую должен употребить на организацию хозяйства. Но пустой желудок властно диктует свои требования, и средства (зачастую) тратятся не по назначению. Каждый колхоз может принести какую-нибудь пользу государству только после пяти лет своего существования. Никак не раньше.

Копыта лошади поднимали тучи беловатой лессовой пыли. Узкая площадка арбы подбрасывала нас кверху при переездах через канавы высоких арыков. Мы задевали головами за ветки акации и тутовых деревьев. Проезжая полями, мы видели быстро бегущих по жнивьям фазанов. Урюковые деревья в садах начинали окрашиваться в багрянец осени.

— Мрачно вы смотрите на колхозы, — сказал я агроному.

Его глаза и губы изобразили грустную улыбку.

— Откровенная точка зрения специалиста. Я не преувеличиваю. То ли вы еще увидите, если будете внимательным наблюдателем.

— Но, вероятно, есть и хорошие колхозы?

— Конечно, есть. Увидите всякие.

Мы подъезжали к совхозу «Искандер». За тутовой аллеей виднелись кусты виноградника.

— Давно вы здесь работаете?

— Первый месяц.

На широком дворе к нам подбежали желтые, пестрые и черные здоровенные собаки. Агроном, сказав им про меня: «Свой», подвел меня

к дверям квартиры Юсуфа Ибрагимова, который встретил меня, как давнишнего своего приятеля.

— Что хотите — есть или пить? А может быть то и другое вместе?

Не дожидаясь моего ответа, он разжег примус. Потом на столе очутились груши, яблоки, виноград, чурек, сливочное масло.

Мы просидели до полночи. Ибрагимов рассказывал о своем детстве и юношестве, о разных эпизодах гражданской войны, о поездке вместе с Фрунзе в Турцию и о том, как очутился в «Искандере» в качестве временного уполномоченного от Наркомзема. (Хорошо иметь дело с такими собеседниками, которые много рассказывают и не ждут твоих повествований.)

Мы решили со следующего дня начать объезд колхозов.

Перед сном я открыл окно. Показалось мне, что большая яркая звезда раскачивается, словно маятник, на тонком луче. На дворе пахло пылью. Возле колоды с кормом фыркали лошади. К окну подбежала пестрая собака и дружески завиляла хвостом. Керосиновая лампа отразилась в собачьих глазах двумя маленькими звездочками.

* * *

Утром мы прошли с Ибрагимовым по громадному фруктовому саду.

— До прошлого года «Искандер» был в ведении Хлопкома, который намеревался организовать здесь семенное хозяйство. Намерениям не суждено было осуществиться. Хлопком хозяйничал в «Искандере» несколько лет, ежегодно сводя баланс с дефицитом в пятнадцать-двадцать тысяч. В прошлом году дефицит достиг двадцати восьми тысяч, и это несмотря на то, что каждое фруктовое дерево ломилось от плодов.

— Значит, во всем виновата исключительно бесхозяйственность администраторов?

— Не исключительно, но в большой дозе. Вот пример большого урона не по вине администрации семхоза: 160 десятин было засеяно люцерной. Водхоз не дал воды. Без полива все засохло. В этом году «Искандер» — в ведении Наркомзема.

— Есть перемены к лучшему?

— Да. Дефицита будет совсем мало: около шести тысяч. А если б не лимитные цены на продукты сельского хозяйства, и совсем бы не было убытков.

Мы проходили мимо ворохов розмарина, бельфлера и золотого пармена. Дорогие фрукты были слегка прикрыты сеном. Пряный сладкий запах приятно кружил голову. В одном месте мы увидели упаковщицу. Она укладывала яблоки в ящики, перекладывая их тонкой стружкой. Желто-красная повязка девицы среди зелени была похожа на преждевременно упавший с дерева осенний лист.

В казармах на окраине сада я не увидел людей.

— Штат служащих совхоза небольшой: директор, два заместителя, бухгалтер, садовник, конюх и механик. В настоящее время кроме этого есть одиннадцать сезонников. В страдное время нанимаются поденщики. Тяглая сила совхоза: три трактора, тринадцать лошадей и семь волов. Земли — 340 десятин поливной и 1 700 богарной. С неделю тому назад организован богарный филиал совхоза в пять тысяч десятин. В этом году в филиале будет вспахано три с половиной тысячи.

Сообщение о богарном совхозе не очень меня обрадовало. Я всегда о богарных посевах думал, как об очень рискованном предприятии. Я знаю, что даже в Поволжьи, где осадков во много раз больше, чем в Туркестане, посевы то-и-дело гибнут от засухи. А в Узбекистане важнейшей

задачей сельского хозяйства последних лет является вытеснение зерновых культур с поливных площадей. Идет жестокая война с рисом, с поливной пшеницей и ячменем. Рис (хотя он дает с десятины две тысячи рублей дохода) изгоняется, как поглотитель большого количества воды и распространитель малярии. (В рисовых районах от малярии вымирали целые кишлаки.)

Вместо зерновых культур на поливных участках — хлопок! Вот лозунг, который предлагается усвоить каждому администратору сельского хозяйства, каждому дехкану.

Увлечение богарой особенно заметно в этом году. Я говорил с агрономами по этому поводу, и они не хотели рассеять моих сомнений о надежности богарных посевов. Вот что я слышал от искандеровского агронома:

— Если с десятины богары в филиале будет собрано двадцать пудов, то этим лишь оправдаются затраты на обработку земли. Прибыли двадцатипудовый урожай не даст ни копейки, но труд будет превращен в хлеб, до-зарезу нужный Туркестану. В благоприятные годы богара дает 45 и 50 пудов с десятины. Но это бывает не чаще одного раза в пять-шесть лет. Организуя богарные совхозы, Наркомзем готов к тому, что, может быть, три года подряд не придется собрать даже семян. От финансового краха в таких случаях может спасти комбинированное хозяйство. В филиале «Искандера» будет три с половиной тысячи каракульских овец и пять тысяч курдючных. Овцеводство даст совхозу около сорока тысяч рублей прибыли в год.

Мы прошли мимо громадных ометов люцерны. Посмотрели кирпичный завод. Ибрагимов долго стучал пальцами по кирпичам различных сортов.

— Чувствуете различие в музыкальных оттенках? Железняк звенит, как серебро, у белого — к звону металла присоединяется отголосок замирающего в горах эхо, красный издает звук, похожий на жалобные ноты в печной трубе во время осенней непогоды.

— Юсуф Ихсанович, вам нужно быть дирижером шумового кирпичного оркестра. Вы — первый, понявший природу кирпичного звука.

— Музыкальные тоны сообщают бездушной глине огненные струи пылающего янтака и трехдневное томление в громадной печи.

Возле кирпичного завода навалена сухая колючка — янтак. Это почти единственное растение средне-азиатских пустынь. На культурных почвах оно растет, как сорная трава. Янтак идет в пищу верблюдам и овцам, с янтака во время его цветения пчелы собирают мед, янтак — прекрасное топливо безлесных местностей.

После завтрака нам подали двух лошадей. Юсуф Ихсанович предложил мне своего «Колхозника» — единственного мерина, виденного мною в Средней Азии, где не принято кастрировать лошадей. «Колхозник» привезен из России и понимает русское «тпру».

— Вы, вероятно, не привычны к верховой езде? На «Колхознике» вам будет спокойнее. «Француз» — взбалмошный субъект и боится собак.

Мы захватили с собой две простыни, два полотенца, мыло, хлородонт и две щетки.

Наше путешествие заняло девять дней.

Вот мои впечатления.

* * *

Мы сидим на коврах, постланных на земляном полу сарая в коммуне имени Калинина — самом большом объединении Паст-Даргомского

района. Председатель коммуны (женатый на европейке), бывший секретарь Самаркандского окружного комитета партии, отдает распоряжение о том, чтобы для нас приготовили закуску. Через несколько минут на подносе подается с полсотни яиц (— От своих кур, — вставляет председатель), приносится большая пиала с молоком, чайник, маленькие пиалы, арбуз, дыня и помидоры. Кругом усаживаются руководители коммуны — бородатые узбеки в чалмах. Ибрагимов говорит им, что я — из Москвы и желаю знать о всех достижениях и недостатках артели. Сначала хозяева сосредоточенно молчат, как будто соображая, чего в коммуне больше: достижений или упущений. Потом председатель начинает говорить:

— Недостатков много. Недостатки не по нашей вине. Коммуна организовалась в марте месяце. Тогда же мы начали просить об отпуске кредитов на жилищное строительство. Но Сельхозбанк почему-то оттягивал отпуск средств. Летом можно жить под открытым небом. Теперь ночи холодные, а мы только приступаем к постройке квартир, потому что лишь несколько дней назад получили часть кредитов. На сорок семей нам нужно тридцать тысяч, а отпущено только восемь.

— Сначала нам говорили: «Мы построим для вас дворцы». Теперь нам предлагают: «Стройте жилище, как знаете, только по возможности европейского типа и поскорее». На-днях мы приступаем к постройке двух корпусов по десяти квартир в каждом.

— Поселились мы на заброшенной земле, которая не обрабатывалась пятнадцать лет. Оросительная система была разрушена. Восстановление арыков заняло много времени. Из-за этого мы посеяли разных культур не столько, сколько хотели.

— Большой урон мы потерпели из-за ошибки специалистов агроцентра. Для богары они прислали нам поливную пшеницу. Наши члены артели говорили: «Не надо нам таких семян, они не взойдут, земля пропадет, труд пропадет, средства пропадут». Специалисты спрашивали: «Кто больше знает — вы или мы?» Пришлось сеять. Конечно, из этого ничего не получилось: ни одно зерно не проросло.

Я не замечаю, как мой седобородый сосед подкладывает мне полдюжину очищенных от скорлупки яиц.

— Рахмат (спасибо), — говорю я, прикладывая правую руку к сердцу.

— Мархамат клиньк (кушайте пожалуйста), — просит он, а сам все чистит и чистит яйца и разбрасывает их, как резиновые мячики, всем участникам трапезы.

— Правление распределяет членов артели на работы, — продолжает председатель. — Каждый делает то, что умеет. Иногда отдельные лица скандалят, не хотят подчиняться постановлению правления. В таких случаях приходится убеждать, а если убеждение не помогает, грозить исключением. Исключения все боятся, как огня, потому что убедились в пользе артельного хозяйства. До объединения каждый страдал от недостатка воды. Одиночка не получал кредитов. Про узбека была поговорка: «Узбек ничего не знает, только работать знает. Девять месяцев работает, три месяца ест». Узбек дехкан всегда живет впроголодь: лепешка и кок-чай — все его питание. Объединившись в артель, мы стали получать воду, кредиты, мы имеем возможность хорошо питаться. В здешнем районе дехкане никогда не сеяли картофеля. В коммуне мы решили посеять на пробу один танап (четверть десятины). Урожай получился прекрасный. Теперь все поняли, что картофель — выгодная культура. На будущий год сделаем опыт посадки по американскому способу.

Я выпил уже не одну пиалу чаю, съел несколько яиц. Передо мною положили разрезанную дыню. (Ибрагимов, чувствуя себя не совсем здо

ровым, воздерживается от пищи.) А председатель продолжает свой доклад, похожий на отчет:

— День в коммуне начинается очень рано. Чуть свет все уходят на работу. Оставшиеся дома готовят пищу и разносят на место работ. Вечером все собираются и ужинают за общим столом.

Планы коммуны на ближайшее время: организация шелководства (на территории коммуны имеется триста тутовых деревьев; среди членов — двадцать человек специалистов по шелководству); постройка маслобойного завода; организация по-настоящему птицеводства, пчеловодства и скотоводства. Так как женщины-узбечки не умеют обращаться с коровами, то думаем пригласить в качестве инструкторши опытную русскую женщину.

— Очередная задача дня: постройка школы, детского сада, клуба и общежития для приезжих, ликвидация неграмотности среди взрослых. (На сорок семей коммуны только четыре человека грамотных, все они входят в правление.)

— В первое время на общих собраниях было очень шумно: говорили все сразу. Теперь научились выслушивать товарищей и брать слово в порядке очереди.

Председатель говорит:

— Все.

И вытирает платком пот, обильно выступивший на лбу.

— Об одном вы позабыли упомянуть, — говорю я вспотевшему докладчику.

Он вопросительно смотрит на Ибрагимова.

— О раскрепощении женщин вы ничего не сказали. Я видел на дворе девиц, которые поторопились закрыться при моем приближении. У вас на очереди устройство клуба и общежития для приезжих. Открытие женщин — тоже не пустяковое дело.

Заговорили бородачи:

— У наших женщин нет хороших нарядов. Они говорят: «Справьте нам хорошие платья, купите шелковые платки, мы тогда сами откроемся. Нам стыдно показывать свою бедность».

— Это пустяки, — возражает Ибрагимов. — Давайте, как только закончатся полевые работы, устроим праздник раскрепощения женщины. Члены правления, как передовые грамотные люди, должны повлиять на остальную массу.

— Нам все равно, — говорят старики.

Потом мы отправляемся осматривать посевы. Тот, кто угощал меня яйцами, теперь старается обратить мое внимание на качество различных культур.

— Гляди, какая картошка.

Он выкапывает большую картофелину.

— Гляди, какой хлопок.

— Хороший хлопок, но я боюсь, что он не созреет: коробочки еще не раскрываются, а уже были утренники.

На кирпичном заводе работают нанятые люди. На гумне дружный шум. Молотят пшеницу.

В другой наш приезд в коммуну мы увидели застывшие струи крови на стенах строящейся печки для обжигания кирпичей.

Председатель, смутившись, объяснил:

— Мастер подрядчик — фанатик, он спросил у меня: «Хочешь, чтобы кирпичи были крепкие и звонкие». Я ему ответил: — хочу. Он сказал: «Давай козленка, нужно перерезать ему горло, нужно выпустить

кровь в основание печки: тогда она будет хорошо обжигать кирпичи. Построишь дом, сто лет простоит. Долго живут кирпичи, пропитанные кровяным духом. Бухарские минареты тысячу лет простояли. Еще простоят пять тысяч лет, потому что в их основании жертвенная кровь пролита». Я сказал мастеру: «Партийному человеку не подобает признавать твоего фанатизма»... Тогда он купил козленка на свои деньги и выпустил в печку кровь. Я был против этого.

Мы подошли к мастеру. Спросили у него:

— Зачем ты зарезал козленка?

Мастер в свою очередь спросил у нас:

— Зачем русские печники обрызгивают кирпичи водкой? Здесь водки нет. Вот почему я зарезал козленка.

Мы улыбнулись и отошли от строящейся печки.

* * *

Алянга — в переводе пламя.

В колхозе «Алянга» мы никого не застали дома, если можно назвать домом единственное полуразрушенное хауле, служащее приютом для двенадцати членов, татар по национальности.

— Жилищ вы не увидите почти ни в одном колхозе, — сказал мне Ибрагимов. — Самаркандский с.-х. банк говорит, что в задержке кредитов виновата Москва.

Мы поехали к тому месту, где строились конюшни для колхоза. Слева от дороги мы увидели много развалившихся жилищ. Когда-то здесь был большой кишлак.

— Куда же подевалось все население?

— Одни вырезаны басмачами, другие сами покинули насиженные места.

От строителей конюшни — туркмен — мы узнали, что все члены артели «Алянга» в поле косят кунжут. Когда мы подъехали к кунжутному полю, жнецы оставили работу и подошли к нам с приветствиями.

Сначала в артели было пятнадцать членов (бывшие служащие и безработные батраки). Потом трое выбыло. Один (учитель) ушел потому, что не приспособлен к земледельческому труду, другому вреден здешний климат, у третьего жена не захотела жить в дикой заброшенной местности.

Председатель артели (бывший учитель) «оставил учительство с целью — быть поближе к природе».

— Исполняю заветы Руссо, — улыбнулся он, ловко воткнув серп в кунжутный сноп.

Внимание путешественника всегда привлекается дотоле невиданным, и поэтому вполне понятен мой интерес к кунжуту. Пять фунтов семян этого растения (на десятину) дают восемьдесят пудов урожая. Из такого количества семени получается сорок пудов масла.

— Успеет ли созреть кунжут в Самарской губернии?

— Попробуйте, — сказал учитель и дал мне спелых стручков.

Все члены артели хорошо говорят по-русски. Все они семейные. Но семьи пока находятся в Самарканде, потому что в колхозе нет жилья.

Учитель повел нас на свои посевы. Остальные принялись за работу.

Больше всего в «Алянга» кунжута. Есть маш (мелкий зеленый горошек), кунак (вид проса), джугара, хлопок, подсолнухи. Посевы радуют чистотой. В этом колхозе я не видел сорной травы. Урожай всех культур очень хороший.

В распоряжении артели полторы тысячи неиспользованных кредитов. Как видно, здесь каждую копейку расходуют с толком и любят и умеют работать.

Мы спустились в долину, прошли к речке, заросшей камышом.

— Здесь водятся волки, много кабанов и дикобразов. Камыши — будущая статья нашего дохода: сто небольших снопов камыша стоят сорок рублей. По берегу речки думаем разбить виноградники.

Мы присели на зеленую траву недалеко от громадного стога сена, заготовленного артелью. К нам подошел мальчик-пастух.

— Следи за коровами, чтоб наше сено не трогали, — сказал учитель.

Кругом громоздились выветрившиеся скалы, похожие на руины древних сооружений. Речка, извиваясь, терялась в горах. Я заметил несколько гротов, удобных убежищ от зимней непогоды. Вероятно, эти долины и пещеры были базой для басмачей, откуда они отправлялись грабить и вырезать мирных жителей.

День был очень жаркий. Взглянув на небо, я увидел громадных птиц, похожих на аэропланы. Они плавно кружились, взлетали кверху, опускались вниз, словно падали в воздушные ямы, и снова взмывали в чистую синеву неба. Это были орлы. Прозрачность воздуха позволяла видеть фестоны на крыльях птиц.

Пастушонок, подняв голову кверху, уронил на зеленую траву тюбетейку.

— Якши, — послал он похвалу под небо и побежал отгонять коров, направлявшихся к стогу.

Мы пошли обратно. Учитель рассказывал о своих хлопотах по постройке кузницы.

Когда мы вернулись к лошадям, большой участок был сжат. Жнецы сидели на зеленых снопах и курили.

— Каковы ваши впечатления? — спросил у меня Ибрагимов, когда мы поехали дальше.

— Не знаю, что будет впереди, а пока я доволен виденным. Артель «Алянга» заражает бодростью постороннего наблюдателя. Здесь очень дружно работают. Получается впечатление, что все живут душа в душу.

— Это потому, что председатель пользуется большим авторитетом. Как образованный и в то же время трудолюбивый человек, и потому еще, что почти все члены артели грамотны.

* * *

Артель имени Ширинова существует один месяц. Члены артели подготавливают землю к посеву. Председатель в большом огорчении: не пьет, не ест, страшно похудел.

Мы приехали кстати. К Ибрагимову обращаются с просьбой:

— Выручите нас из беды.

— Что случилось?

Вот повесть председателя:

— Мы переселились сюда из Ходжента, где страшное малоземелье. Мы приехали сюда не бездельничать, а работать. Но в самом начале нам не повезло. Может быть, потому, что мы были очень доверчивы. В нашу артель попросились три человека из Самарканда. Мы их приняли. Двое из них даже не показались нам на глаза. Третий — Султанов, бывший милиционер — приехал сюда для того, чтобы грабить нас и обманывать. Первая его проделка: у мясника в Джуме взял двадцать фунтов мяса и десять сала. Сказал: «Беру для артели, она расплатится». А сам увез мясо

в Самарканд, призвал гостей, устроил пир, похваляется: «Вот какие в коллективах порядки: даже на дом мяса по пуду дают».

— Так же, прикрываясь именем артели, купил для себя и своих друзей четыре шляпы.

— Один раз мы покупали с Султановым ситец на рубашки для членов артели, пятнадцать метров купили. Пока я платил деньги в кассу, Султанов успел отхватить от покупки четыре метра и засунуть в карман. Но самая большая подлость Султанова — присвоение двухсот рублей, полученных им для покупки инвентаря. С тех пор мы не видели жулика. Знаем только, что он снова поступил на должность милиционера. В свое оправдание Султанов сочинил донос: «Средства, получаемые от ширката (с.-х. товарищества), артель имени Ширинова проедает и пропивает, а сама валяет дурака. И вообще в артели собралась голая шантрапа. Не давайте им ни копейки. Все равно никогда с них не получите». Прохессту поверили. Кредиты нам закрыли.

Ибрагимов написал от имени артели большое заявление в народный суд с просьбой привлечь к ответственности Султанова, как уголовного преступника.

В просторной камышовой палатке мешки с семенами для посева, упряжь, два ружья, новые чемоданы, одеяла, плуг. Все расставлено по своим местам. На полу полосатый ковер-палас. Стены шалаша шуршат от ветра. На озабоченных лицах членов артели желание — поскорее смыть с себя грязь клеветы.

В нескольких шагах от шириновцев артель «Кошчи». Оттуда за нами пришла делегация.

— Побывайте у нас, рассудите, кто прав, кто виноват.

Как только мы очутились в неуютном шалаше «Кошчи», один из членов, распахнув халат, бросил в нашу сторону розовые клочки ситцевой материи.

— Меня каждый день бьют. Рубашку изорвали. Что я теперь надену? У меня больше нет рубашек. Смотрите. Я голый.

Председателя в это время не было дома. Председатель, как и все остальные члены артели, неграмотный. Из-за этого он не пользуется уважением. Его приказаний не слушают. Его сторонников бьют.

— Уртак (товарищ) Ибрагимов! Назначьте нам нового председателя. Кого угодно — русского или татарина. Только обязательно постороннего и обязательно грамотного.

Члены артели «Кошчи» — потомки тех арабов, которые строили мечети на Регистане в Самарканде. При организации колхоза они не хотели принимать в члены людей не арабского происхождения. Они гордились чистотой своей крови. Но ежедневные ссоры и драки утихомирили гордость, и теперь они согласны подчиниться любому авторитету. Несколько членов заявили о выходе из артели.

— Но мы не уйдем, пока не получим своей доли. Мы проработали семь месяцев.

— До сбора всех урожаев и выяснения доходов артели вы ничего не сможете получить, — разъяснил Ибрагимов, — придется вам подождать.

— Мы не можем ждать, потому что председатель толкает нас в шею и ругает по-русски.

Для нас приготовили кок-чай. На грязную тряпку нащипали мелких кусочков подгорелой лепешки.

Приехал председатель. Он возил в Джуму сдавать горох. Члены артели притихли. Высокий статный председатель с красивым, очень

смуглым лицом оглядел всех с таким выражением, как будто хотел сказать:

— У, собаки, успели наябедничать!

Усевшись против Ибрагимова, он вынул из-за пояса-платка желтые квитанции.

— Посмотрите, сколько тут записано пудов.

— Сто двадцать.

— Мало прибыли от гороху: нам ширкат отпускал семена по пяти рублей пуд, а от нас принимает по два восемьдесят.

Недовольные снова заявили, что они работать не будут.

— Вон отсюда, — зарычал на них председатель.

Один, хворавший два месяца малярией, сказал:

— Я имею право на получение своей доли, я не по своей вине не работал.

— Ничего ты не получишь! — зашумело несколько голосов.

— Что нам делать? — обратился председатель к Ибрагимову: — все разбегаются, работать не хотят...

И махнул рукой.

Ибрагимов предложил объединиться с артелью имени Ширинова. Многие с радостью ухватились за эту мысль. Разговор о слиянии двух артелей продолжался в уютной палатке шириновцев: нас позвали кушать кавардак.

Вечерело. Приятно было сидеть на ковре, облокотившись левой рукой на продолговатые подушки. Душистый пар в казане усиливал аппетит. Наши лошади паслись за шалашом, возле молодого леса.

Я думал о том, как мало грамотных среди узбеков. Когда узбека просишь назвать самых грамотных людей Узбекистана, он, не задумываясь, говорит:

— Файзулла Ходжаев и Хидыралиев!

На всю страну два человека.

Один раз к Ибрагимову пришли делегаты от дехкан с заявлением, что все сорок домохозяев одного кишлака хотят организовать колхоз.

— Очень хорошо, — сказал Ибрагимов.

— Но... (делегаты замялись) в нашем кишлаке нет ни одного грамотного человека.

Грамотного в Узбекистане уважают больше, чем богатого.

В артели «Дехкан» я был удивлен дружбой и энергией членов. Я видел их за работой по постройке жилищ. За чаем, когда собрались все вместе, я спросил:

— Кто у вас председатель?

Мне указали на молодого человека. На вид ему можно было дать лет восемнадцать.

Так его расхваливали старики:

— Председатель у нас золотой человек. Много работает для нас, все разъясняет. Председатель наш копейки зря не истратит. В город поедет, пить захочет, в чайхану зайдет, гривенник за чай отдаст — в тетрадочку запишет. Домой приедет, собрание устроит, доклад сделает: «Я пить в городе захотел, десять копеек истратил».

Польщенный похвалами молодой человек улыбался. Я понял, что *грамотный* юноша (вот именно потому, что грамотный) — основа благополучия колхоза.

Но я забегаю вперед.

На подносе в шалаше артели им. Ширинова перед нами поставили кавардак (тушоное мясо с картофелем). Хозяева предложили гостю,

председателю артели «Кошчи», покушать. Он отказался. Видно было, что его тяготит неграмотность. Он вынул из-за пояса еще несколько бумажек, показал Ибрагимову. Под узбекским текстом я увидел темные пятна. В этом краю вместо подписи неграмотные прикладывают палец. В местной газете приводился факт, что один кишлачный учитель, не умея расписываться, прикладывает к бумаге палец, обмокнутый в чернила!

(Это все на тему о почти поголовной безграмотности в Узбекистане.)

Скандалисты опять пришли со своей докукой.

— Не желаем мы подчиняться нашему председателю. Он сам ничего не знает.

Разъяренный араб, не стесняясь нашим присутствием, вскочил, как ужаленный, и, сжав кулаки, зарычал:

— Долго вы будете буянить? Сейчас же уходите! Лодыри!

Потом тяжелый кулак прикоснулся сдержанно к шее каждого ослушника.

Я боялся, что они подерутся. Ибрагимов пошутил:

— Я показываю вам товар лицом. Но так, конечно, не может продолжаться. Артель «Кошчи» нужно обязательно соединить с артелью имени Ширинова, где четыре грамотных человека.

Через несколько дней после этого, когда мы были в Искандере, туда пришли обрадованные скандалисты с такой вестью:

— Соединяемся... Теперь и над нами будет грамотный человек.

* * *

В «Интернационале» девять семей: пять русских, одна украинская, одна татарская, две мадьярских. Каждая семья живет в благоустроенном шалаше. В каждом шалаше — кровать, стол, скамейки. В общем пользовании — русская печка.

Мне приятно было увидеть, как жарятся на сковороде в постном масле лепешки из квашеного теста. (Знакомая с детства картина.) Потом нас угощали этими лепешками. Мы сидели за столом. Мы пили черный чай с сахаром.

— Кушайте, кушайте, — угощала хозяйка, — наверное, надоела узбекская преснятина. К зеленому чаю привыкли?

— Нет, не привык.

— Ну, вот и кушайте... российский... с сахаром.

В шалаше собрались все члены артели. Пензяки засыпали меня вопросами:

— Давно из России? Как там дела с хлебом? Какая там погода? Какое настроение у мужиков? Крестьяне не бросают землю?

И тут же сами себе отвечали:

— Перестанут крестьяне сеять хлеб.

— А от артелей немного толку.

Мадьяр изрек:

— Через три года ни одной артели не будет.

Это он от русских крестьян заразился, особенность которых: мрачно смотреть на будущее.

Узбеки настроены оптимистичнее. Узбеки верят, что колхозы перестроят жизнь к лучшему.

В артели «Интернационал», работая, не верят в то же время, чтобы эта работа дала хорошие результаты.

Что понижает настроение членов?

Жилища (настоящие, теплые, а не шалаши) будут готовы еще не скоро, а от ночных холодов уже нет спасенья.

— Лихорадка начинает крутить прямо до высшей степени.

— Все-таки детишки у нас.

— Весной лили дожди, никакого терпения не было. И теперь до морозов дотянули.

— Когда пришли сюда, было ужасно: камыши, дичь сплошная.

— Пролили поту над расчисткой зарослей...

— А осень гляди какая: никак уж четыре мороза стукнуло. Кунжут убило. Повредило хлопок.

Ибрагимов составил акт о гибели от морозов двадцати пяти процентов хлопка.

— Как начнут с нас тянуть года через два, где мы возьмем?

В планах артели: организация молочной фермы, пасеки, разведение виноградного питомника и фруктового сада.

— Теперь самая главная наша забота под непромокаемое прикрытие взойти.

Квартиры — по одной комнате на семью — строятся из глины.

Через два дня, когда мы были на хлебо-заготовительном пункте в Джуме, из «Интернационала» пришли с жалобой:

— Работа по постройке квартир тормозится. Член артели, по специальности плотник, отказался делать двери и рамы. Сначала заявил: «Заплатите мне за инструменты». Мы согласились. А немного погодя выставил новое требование: «Оплатите мою специальность, иначе бросаю работать». Мы ему стали возражать: «Ведь мы все специалисты: один хорошо сеет хлеб, другой делает кирпичи, третий — садовод. Если каждый будет заявлять: «оплачивайте мою специальность», что же тогда получится?» А он одно твердит: «Сеять хлеб, сажать яблони, делать кирпичи — один пустяк. А дверь не всякий может сделать. Раз я сказал, то не отступлю: платите, или бросаю работать».

— Бросил? — спросил Ибрагимов.

— Бросил, куда-то на поденную работу ушел.

— Исключить из артели.

* * *

Тихая ночь. Мы на веранде большого дома. Вокруг нас молодые красивые ферганцы. Нашу беседу подслушивает луна.

Узбеки любят оружие. Почти каждый член артели имени Ходжибаева держит в руках ружье. Пояса-патронташи набиты патронами. Они собрались на кабанов, истребляющих джугару. За несколько дней перед этим они поймали шесть штук кабанят и сдали их в русскую харчевню.

Зажигается фонарь. Тусклый керосиновый свет теряется в лунном блеске.

Ферганцы не захотели жить под открытым небом.

— Не для того мы оставили свое жилье на родине, чтоб корчиться в колхозе под весенними и осенними дождями. Лучше мы поедем обратно. Летом будем делать кирпичи, зимой работать на маслозаводе.

Чтоб удержать восемнадцать семей, для них сняли на время вместительный дом богатого человека. Среди них есть грамотные. Они выписывают газету и журнал. Устраивают громкие читки. На зиму просят прислать учителя.

— Пойдемте с нами на охоту.

Мне хочется, а Ибрагимов говорит:

— Лучше в другой раз.

Выпив по две пиалы чаю, мы уезжаем.

Умный «Колхозник» бежит впереди. В кишлаке на нас нападает свора собак. Одна кусает в ногу «Француза». Сделав на месте несколько кругов, «Француз» мчится, как бешеный. «Колхозник» сначала скачет позади, потом оставляет далеко за собой укушенного жеребца. Белая пыль, пронизанная лунным светом, вьется над моей головой, проникает за ворот мокрой рубашки. Мне хочется, чтобы лошадь скакала еще быстрее, у меня нет желания остановиться. Луна прыгает с ветки акации на ветку айлантуса. Хрипят под копытами ветхие мосты. Серые дувалы возникают привидениями и начинают кружиться вместе с деревьями, с квадрами хлопка, джугары и кунжута. Звезды опускаются ниже. Мое сердце стучит в такт копытам. Сколько верст мы пролетели в несколько минут? «Колхозник» делает крутой поворот. Мы на территории «Искандера».

* * *

Есть люди, обладающие одновременно четырьмя способностями: хитростью лисы, алчностью волка, трусостью шакала и гипнотическими чарами змеи. Плохо, когда такие натуры занимают ответственные посты. Плохо для окружающих, особенно, если окружающие по складу своего характера напоминают мягкосердечных зайцев.

В Чархинской артели бывший председатель был занят исключительно утолением своих аппетитов. Он хозяйничал. Остальные батрачили. Но это было организовано так, что все члены артели чуть не молились на своего руководителя. Никому и в голову не приходило потребовать от председателя отчетности. А тем временем в Самарканде председатель строил дома, ну, конечно, на имя своей жены (обычный прием). А тем временем долги колхоза возростали, и учреждения, ведающие кредитами, недоумевали, как такое великолепное хозяйство, как Чархинская артель, не может выпутаться из финансовых затруднений.

Внешнему благоустройству колхоза позавидует всякий: много прекрасных жилых помещений, великолепный двор, конюшни, птичники, кладовые. Источники дохода: полеводство, садоводство, огородничество, виноградарство, птицеводство.

А на мой вопрос: «Какова доходность колхоза?» счетовод сообщает: «Должны двадцать три тысячи... Истекли все сроки выплаты».

Летом приехала в колхоз ревизионная комиссия и потребовала исключения председателя из артели. Слезами ответили колхозники на требования комиссии. Слезы не смутили приехавших, и они настояли на удалении хищника из теплого гнезда. На другой день жизнь в колхозе замерла. Многие заявили:

— Выгнали нашего председателя. Ну, и пусть теперь работает кто хочет, а мы не желаем.

Когда спрашивали у членов артели:

— Что вы получили за два года беспрестанного труда?

Они отвечали:

— Желудки сыты, голь прикрыта, и слава богу. Больше нам ничего не нужно.

Председатель сумел воспитать в членах дух беспрекословного рабства.

Какая атмосфера в колхозе теперь? Попрежнему нездоровая. Как это ни странно, исключенный снова принят. Официально он не занимает председательского поста, но к его голосу прислушиваются больше всего. Он приходит в общую столовую завтракать и обедать. Помахивая тросточкой, солидным шопотком, не допускающим возражений, он отдает приказания.

Но все же он трус и боится достойной «награды» за свою работу.

Желая реабилитироваться, он пригласил в колхоз рабкора «Правды Востока».

— Может появится в газете статья: «Несправедливо оклеветанный»? — спросил я у Ибрагимова.

— Не думаю. «Правда Востока» осмотрительная и умная газета. Прохвостов обеляют в западно-европейской прессе. В Советской Республике для них всюду одинаковый прием: общественная метла.

Наркомзем Узбекистана постановил Чархинский колхоз преобразовать в совхоз.

— Тогда нас прогонят отсюда? — спросила за обедом славная печальная старушка.

— Останешься, бабушка. Теперь артельных индюшек пасешь, а тогда будешь совхозских пасти, — утешил обеспокоенную своей судьбой Ибрагимов.

На обед были мясные щи и арбузы.

После обеда старушка рассказала о своем горе. Она с сыном жила в еврейской артели. Весной нынешнего года на артель напали басмачи, убили сына, захватили все имущество.

— Остальных не тронули. На меня на одну горе свалилось. Сын был, ничего не делала. Сын мою старость покоил. А теперь работать пришлось. За сиротство не погонят меня по белу свету скитаться?

На другой день, когда мы уезжали из артели, шестидесятипятилетняя старуха стояла неподалеку от дороги с хворостиной, а справа и слева от нее, вытягивая шеи, как будто к чему-то прислушиваясь, сиротливо текали индюшки.

— Горе вы мое, — говорила им старуха, — всю саранчу поклевали, чем теперь вас кормить? Виноград уберут, на виноградники погоню. А теперь не жалобьтесь!

— До свиданья, бабушка!

— Бывайте здоровы, милые!

* * *

Этот абзац от начала до конца невеселый.

Мне очень хотелось побывать в еврейском колхозе.

Мы поехали в артель «Комзет» втроем. Для сокращения пути мы свернули с дороги на целину. Вскоре под копытами лошадей захлюпала мочежина. Мой Колхозник изъявлял желанье повернуть назад, как будто предчувствуя беду. Я с намерением отставал от Ибрагимова и нашего спутника, группового артельного счетовода.

Случилось то, чего я боялся: лошадь счетовода застряла в невылазной трясине. К счастью поблизости росло тощее деревцо. Намокший наездник, вскарабкавшись на гнущийся ствол, стал понукать своего коня. Вытаскивая из грязи передние ноги, конь погружался в густой ил задними. Мы с Ибрагимовым не имели возможности выручить из беды жеребца. Через несколько минут он все-таки выбрался из ямы. Счетовод прыгнул с дерева на грязный круп измученной дрожавшей лошади.

Ибрагимов спросил:

— Поедем здесь?

Я категорически заявил:

— Ни в коем случае!

И повернул назад, на дорогу.

Почти рядом с артельным гумном нам снова предстояло завязнуть в болоте: вода затопила все дороги и пешеходные тропы.

Ибрагимов рассказал:

— Колхозу «Комзет» дали сто десятин самой лучшей земли. На территории колхоза есть несколько родников. Несложная работа — направить течение родников по определенному руслу. Два года назад здесь было сухо. Теперь вы видите, какие могут быть результаты от людской нерадивости, беспечности, неуменья, нежеланья работать. Земля затоплена. Люди окружились трясинами, заранее обрекая себя на голодную смерть.

Мы подъехали к гумну, где работали три человека. Все они были тощи, как скелеты. Одежда на всех была до умопомрачения изорвана и грязна. На току стояла веялка, саженях в пятнадцати от нее ворох обмолоченной пшеницы. Из этого вороха самый старый (с беспомощными, бегающими глазами) насыпал в худую корзинку, подносил к веялке, опрокидывал содержимое на соломотряс, заставлял молодого вертеть ручку веялки, потом наступала пауза, старик снова брел к вороху и т. д.

Подъехавший счетовод расхохотался. Мне было грустно. Мне было жалко людей, которые не имеют никакого представления о процессе сельскохозяйственных работ. Они мне казались персонажами сказки. В сказках дети попадают к бабе-яге. Она заставляет их исполнить сложную, непосильную для человека работу: «Не сделаете, изжарю вас в печке и съем». Всегда в таких случаях выручает мышка или какая-нибудь другая зверушка. Здесь положение более трагическое. Людей посадили на землю и сказали: «Работайте». А люди не знают, с какого конца брать в руки грабли, лопату. На помощь из норки не выбегает добрая мышка.

Мы перетащили веялку к вороху, чего не догадывались сделать «землеробы». На гумно пришли другие члены артели. Ибрагимов пригрозил:

— Я составлю на вас протокол за то, что вы почти весь свой участок превратили в трясину.

— Нам некогда рыть канавы, другой работы много.

— Если так будете работать, с голоду умрете.

— А мы не голодаем? Мы давно голодаем. Скажите, чтоб нам дали денег. Виноваты мы, что не умеем работать? Совсем не виноваты. Животы подвело. Еле ноги таскаем.

— Должны около двадцати тысяч, — вставил счетовод.

В артели девяносто семь душ. Членов на это количество едоков — двенадцать.

Всего из ста десятин участка засеяно только тридцать. Посевы — одна грусть. Джугара мелкая, чахлая. Просо и хлопок заросли камышом. Своей продукции, может быть, хватит на один месяц. Чем будут питаться девяносто семь душ в течение одиннадцати месяцев?

Неудивительно, что второй год не закончены стройкой квартиры (кредиты на строительство проедаются), вполне понятно, почему члены артели ударяются в торговлю. Скупая по дешевке на кишлачных базарах цыплят и кур, везут их в Самарканд.

— Куры нашего завода.

Хотя на артельном дворе я не видел ни одной курицы. В углу двора свалены в кучу плуги, бороны, культиваторы.

Счетовод несколько раз писал в Сельхозбанк о том, что кредиты для артели «Комзет» — выпущенные на ветер деньги. Сельхозбанк и Колхозсоюз не один раз постановляли: прекратить выдачу кредитов безнадежно убыточному предприятию.

Но председатель артели настойчив. С утра до вечера обивая пороги правительственных учреждений, он находит средства. Долги артели растут. Бездонную бочку не наполнишь.

Когда мы собрались уезжать, изможденная женщина подбежала к Ибрагимову и с мольбой ухватилась за стремя.

— Я привела с собой двух коров. Теперь мы все проели. У нас большая семья. Муж — членом артели, а меня не принимают. Похлопочите ради бога.

Нас провожали общим стоном:

— Плохо живем. Ой, как плохо! Пришлите денег.

Мы поехали по другой дороге.

Я посоветовал Ибрагимову прислать в артель хорошего инструктора.

— Нужно научить членов трудовым навыкам и уменью обращаться с европейским инвентарем, который в настоящее время валяется неиспользованным, словно куча мусора.

* * *

«1928 года, апреля 4 дня, я, нижеподписавшийся, т. Ахун-Бабаев, проживающий в городе Самарканде, даю настоящую подписку в том, что, вступая членом артели «Узбекистан» в кишлаке Туркмен-Даухаш, вполне усвоил все пункты принятого устава и несу полную ответственность по делам артели. Одновременно сообщаю, что не состою и не буду состоять в другой артели и не лишен избирательных прав в советы. Ахун-Бабаев».

Портреты Ахун-Бабаева я видел в каждой чайхане Ходжента, Коканда, Маргелана и Бухары.

Ахун-Бабаев, как председатель Цика Узбекистана, пользуется таким же авторитетом, как у нас Калинин.

Потея на приемах иностранных гостей и страшно уставая на посту главы правительства, прекрасно чувствует себя в своей артели, куда он аккуратно приезжает раз в неделю. Бывший батрак, он лучше орудует кетменем, чем карандашом фирмы Гаммер.

— Вот хлопок, посеянный Ахун-Бабаевым, — говорит председатель артели.

Хлопок в артели «Узбекистан» в рост человека.

— В беседке — плита, сложенная Ахун-Бабаевым.

(Я видел эту плиту: прекрасная.)

— В прошлом году, если б в этой местности заблудилась лошадь, в неделю ее нельзя было бы отыскать. Расчищая участок, мы собрали три тысячи снопов колючки, выкорчевали несколько сот возов пней.

В колхозе есть школа. Учительница, улыбаясь, рассказывала:

— Упрашивая меня поехать на службу в артель, Ахун-Бабаев говорил: «Поезжайте, поезжайте, там у вас будет хорошая комната: с полом и потолком».

Мы сидели в этой комнате, а в соседней щелкал перепел — любимая птица узбеков. Председатель принес арбуз невиданных размеров:

— С своего огорода. Таких крупных собрали триста штук.

Председатель водил меня в оранжерею. Дал мне семян кендыря, кофе и английской ворсянки.

— Посей ворсянку, богатым будешь.

Колючие крупные шишки ворсянки требуются для суконных фабрик. Ворсянка прежде культивировалась главным образом в английских колониях. В Узбекистане она растет в диком состоянии. Но шишки такой ворсянки мелки и для эксплоатации неудобны.

— Кендыря в этом году мы попробовали посеять немного. Растет очень хорошо.

Я видел стебли этого замечательного растения. (Они в два раза выше человеческого роста.) Кендырь — единственное из растений, волокно которого может быть превращено в хлопкообразную массу для изготовления чесучи и коверкота. Кендырное волокно не гниет в воде.

Представители ВСНХ говорят:

— Нужно каждый стебель кендыря взять на учет.

Я думал:

«Если членом колхоза — глава правительства, значит колхоз получает беспрепятственно кредиты в неограниченном количестве. Имея в своем распоряжении большие средства, члены артели ведут образцово хозяйство».

Мои предположения оказались преждевременными: артель должна всего четыре тысячи.

— Задолженность будет погашена в срок, — с гордостью сказал председатель, грамотный, пожилой узбек невысокого роста.

Уезжая из колхоза, об одном я продолжал беспокоиться: мне казалось, что хлопок не успеет созреть. По всем приметам осень предвиделась ранняя.

* * *

Я слышал много рассказов о неудачных опытах организаций женских артелей. Поэтому понятен мой трепет в тот момент, когда я подъезжал к женской артели Паст-Даргомского района. Ибрагимов предупредил меня:

— Имейте в виду, что женщины первого набора разбежались. Все они были из ближайших кишлаков. Все они артельный провиант (яйца, овощи, хлеб) растаскивали по своим родным. Когда им сказали: «Этого нельзя делать: в артель поступают работать, а не жить на готовое», они ответили: «Мы не умеем работать», и, захватив свои пожитки, возвратились восвояси. После этого были набраны другие женщины. В помощь и для руководства в артели живут двое мужчин.

По дороге нас остановил землемер.

— Скажите, чтоб председательница женской артели (она же делегатка) приехала в здешний кишлак по неотложному делу. Тут один татарин женился на русской и теперь заставляет ее надеть паранджу. Б ет ее. Говорит: «Закрывайся, а то зарежу. Все закрыты, ты одна открыта. На тебя все глядят». Ревнивец, наверно.

Когда мы приехали, нам сказали:

— Председательница ушла из артели. Мы выбрали председателем мужчину: лучше будет. Женщин у нас теперь только трое.

У артели хороший сад. В этом году был сильный урожай. Но период опрыскивания деревьев совпал с бегством членов первого набора. Ухаживать за садом было некому, и всю завязь уничтожили черви.

Доходность артели в будущем — от птицеводства и молочного хозяйства. В настоящее время уже имеется сто породистых кур и шестьдесят индюшек, для которых построен прекрасный птичник. Постройки возникли в последние два месяца, благодаря стараниям временно прикомандированного к артели представителя Наркомзема. Он молодой, энергичный, по национальности украинец.

Артели отпущен кредит для покупки двадцати коров. За ними уже уехали. Сейчас спешно достраивается коровник. Инструкторша по молочному хозяйству ждет с нетерпением, когда прибудут коровы.

— Тогда никто не убежит из артели. До сего времени некоторые уходили потому, что, не получая доходов в артели и не имея права тра-

тить на питание деньги, получаемые на строительство, вынуждены были голодать.

На прощание я сказал украинцу:

— Если вы проживете здесь еще месяца три, за будущее артели можно не беспокоиться.

* * *

И вот мы снова возвращаемся в «Искандер». Солнце клонится к закату, но еще не прикоснулось к горизонту. Я еду впереди. Колхозник осторожно спускается под гору. В лощине речка, заросшая травой. Лишь вдоль мостика чистая полоска воды. Длинная тень от меня и лошади падает на воду. Справа виднеются сизые горы Гиссарского хребта.

Мы едем шагом. Вот уже незаметно наших теней: солнце заходит. Мы во дворе совхоза. В конце прямой дороги между высокими яблонями рдеет шафрановый закат. В саду трещат кузнечики — неутомимые музыканты дня и ночи. (Когда немного отвлечешься от их концерта, неумолчный треск кажется металлическим свистом фабричных колес.) Над зеленым хаузом мелькают бесшумно летучие мыши. Трудно уловить в полете форму этих странных животных: очень быстры и неожиданны их повороты в воздухе. Не шуршат тростники над арыками. За садом, в казарме совхоза, гармошка «Коробейниками» напоминает о русской деревне.

Ибрагимов говорит:

— Я вам показал куски жизни. Вы видели и слышали, может быть, много печального. Но не забудьте: это эксперименты, это желание жить по-новому, это нащупывание тропинок к тому, что называется прекрасным, счастливым будущим.

— Спасибо вам, Юсуф Ихсанович!

Я знаю: мы будем друзьями.

Начало октября 1928 г.
Искандер.

Пролетписатель начального часа.

(Ф. М. Решетников).

А. Дивильковский.

1. Зов до зари.

Решетников в эпоху народничества был одним из самых популярных писателей, несмотря на все признанные недостатки художественной формы его «романов» [1]. При этом главным (иные, как С. Венгеров, считали даже— единственным) основанием его славы были его «Подлиповцы», почитавшиеся за одну из поразительнейших картин мужицких бед и страданий. Словом, — столп народничества, как идеи крестьянской по преимуществу.

Понятно, что с увяданием народничества стал тускнеть и интерес к Решетникову. И к нашему, советскому, времени он состоит на положении полузабытого писателя, едва ли не с историческим лишь значением.

Приходится доказывать, что подобного полузабвения Решетников вовсе не заслуживает. Что он и по-сейчас во многом является живым, необычайно ярким писателем, который даже в иных, чисто художественных — как это ни странным может показаться — отношениях может служить поучительнейшим образцом. Что всякому советскому, а в особенности пролетарскому писателю нельзя не быть знакомым с Решетниковым, нельзя не изучать его пристальнейшим образом, наряду с более, чем он, крупными «классиками», чисто буржуазно-дворянскими. Что у него имеются в высшей степени ценные черты так называемого «мастерства», где он безусловно превосходит этих классиков,— пускай в остальном, и весьма существенном, все же безусловно им уступает.

И в первую очередь крайнего нашего интереса заслуживает Решетников со стороны содержания своих повествований. Надо прямо сказать, что в этом смысле друзья-народники из числа его критиков и литературных историков проглядели самое главное. В творчестве Решетникова мужик, деревня — вовсе не характерны, как предмет изображения. Кроме тех же «Подлиповцев», еще лишь два-три очерка относятся к деревне (замечательны из них «Картины обозной жизни»). Что касается самих «Подлиповцев», то они столько же картина вымирания захолустной деревни при конце крепостного права (часть 1, «Пила и Сысойка»), сколько и трагически-широкое изображение жизни бурлаков на Каме (часть 2, «Бурлаки»), куда гибнущие мужики бегут, как к последней надежде спасения, и где не менее верно гибнут. Словом, поразительный «фильм» из жизни пролетариата тогдашней, ранней, поры, поры накануне так называемого «освобождения крестьян», когда пролетарий, с одной стороны, еще непосред-

[1] Четыре издания его сочинений до 1904 г.

ственно был связан во всей своей массе с крепостной деревней, и с другой стороны, заодно со своим хозяином-капиталом задыхался в тисках помещичье-царского феодализма.

Нам интересней всего, что сам автор «Подлиповцев» именно эту бурлацкую, примитивно-пролетарскую сторону повести выдвигал на первый план, а не мужицкую. В сопроводительном письме Некрасову, как редактору «Современника», при отсылке рукописи Решетников говорил: «Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я 20 лет провел на берегу реки Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и идут десятки тысяч бурлаков, я задумал записать бурлацкую жизнь, с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам». Таким образом даже в наиболее прославленном, как чисто-народническое, своем произведении Решетников может быть признан за первого по времени пролетарского писателя. И это — при самом начале хозяйственного господства капитализма в России. И это — когда пролетарий не только находился на заре своего идейного пробуждения, но еще перед зарей, ибо сам только-только еще стал выделяться из утробы крепостничества.

Но в других своих произведениях Решетников уж прямиком выступает в роли, так сказать, присяжного изобразителя рабочей жизни, главным образом горнозаводских рабочих Урала. Достаточно указать в этом смысле, что и дебютировал он на писательском поприще очерками «Горнозаводские люди» в газете знаменитого в своем роде Булгарина (какая ирония истории!) «Северной пчеле». Затем из больших его произведений роман «Глумовы», роман «Где лучше» и неоконченный роман «Горнорабочие» посвящены целиком изображению пролетарского быта от Урала до Питера. Конечно, все в том же безнадежно-мрачном тоне, как оно и подобало, впрочем, при величайшей еще неразвитости рабочего движения. Если же в творчестве писателя немалое место затем занимали и повести из жизни интеллигентных тружеников, особенно женщин (роман «Свой хлеб»), то ведь это был тоже своего рода городской пролетариат, давимый капиталом. А во-вторых, как показывает «Что делать» Чернышевского, роман, лишь несколькими годами предшествующий писаниям Решетникова, участь освобождающейся женщины была тогда в особенности связана с наемным трудом даже среди мелкой, демократической буржуазии. Недаром у Чернышевского его утопический социализм проявляется тут в «производственной ассоциации» именно рвущихся из рабства женщин. Решетников здесь— лишь более или менее верный ученик Чернышевского.

Еще красноречивее, однако, то, что самая биография Решетникова с ранних лет показывает определеннейшую установку по той же пролетарской линии. Будучи, правда, сыном почтальона, т. е. крепостной клячи царского государства, клячи, по своему низкому положению лишенной даже «чина» (почтальонов в Перми имели право драть розгами почтмейстеры за вину и без вины), будучи воспитанником дяди, выбравшегося из таких же почтальонов в первые, низшие «чины», Решетников обнаружил определенное тяготение к соседнему металлозаводу Мотовилихе, столь славной и в наше время. Сюда он дважды бежал ребенком от дядиных и школьных побоев: «мастеровые» укрывали и кормили его. «Мне так понравилась,— пишет он, — простота ихняя, что я хотел на всю жизнь остаться у них». Позже, 18 лет, кончив уездное училище и переехав с дядей в Екатеринбург, где получил в уездном суде место помощника столоначальника горнорабочего стола, он, повидимому на почве тщательного изучения бумаг этого стола и безобразий, творимых над рабочим людом («когда я бывал дежурным, то рылся везде, где не заперто, и узнал здесь очень многое»), сошелся с одним выдающимся «мастеровым» Екатеринбургского монетного двора.

Жаль, что не сохранилось ни фамилии этого мастерового, ни вообще фактов его жизни, но, по свидетельству самого Решетникова, он имел первостепенное влияние на всю вообще дальнейшую жизнь последнего и на писательскую в частности. «Он очень любил Ф. М., знакомил его с бытом рабочего люда, советовал ему жить честно, не якшаться с пьянчужками и взяточниками»[1]). Он же внушил ему мысль «делать пользу бедному человеку»— рабочему прежде всего — путем литературной деятельности. Правда, у Решетникова и ранее были попытки к последней, но только с этого знакомства у него проявляется резко обличительная струя. В 1861 г. он пишет рассказ «Скрипач» из заводской жизни и замечательную до сих пор драму «Раскольник», которую удалось напечатать только в 1917 г. (в «Невском альманахе»). Здесь горные рабочие дореформенного времени выступают с настоящим революционным — для того часа — оттенком, в виде бегства с заводов в лес, к раскольнику-отшельнику. Религии тут весьма мало, а главное дело — страдания рабочих, их массовый протест и порыв к свободе. Необходимая литературная оговорка: форма произведения, конечно, очень еще слаба, особенно стихи, вернее вирши, которыми сплошь написаны речи старца-раскольника. В это время писатель уже вернулся в Пермь, где прогулки на Мотовилиху — опять его любимое развлечение. Он, по словам Г. Успенского, «узнал здесь всю подноготную жизни заводского рабочего», записал в дневнике множество встреч и рассказов «с обычною ему обстоятельностью» [2]).

Переехавши затем в Питер, Решетников таким образом в своих писаниях только реализовал темы, накопившиеся у него ранее, на родине. Но дважды он из Питера наезжал в Пермь и каждый раз «освежал» свои пролетарские источники творчества. Г. С. Десятов, опрашивавший многих его родных и знакомых уже в конце XIX века, с их слов рассказывает например об одном из таких приездов: «Более всего его привлекало Усолье, столица (тогда) соляного царства. Сюда во все времена года, а особенно весной, стекался на заработки простой люд со всей Пермской, Вятской, Вологодской губерний. Местное население Усолья (очевидно, постоянные рабочие-солевары. *А. Д.*), добродушное и трудолюбивое, пользовалось особыми симпатиями Ф. М. Он думал написать роман из жизни Усолья до уничтожения крепостного права. Фабулой должна была служить любовь дочери управителя к простому рабочему, самоучкой выучившемуся грамоте и значительно развившемуся умственно самообразованием. Много выдающихся фактов из действительной прошлой жизни Усолья было записано и разработано Ф. М. для романа тут же, на месте... Для бо̀льшего ознакомления с простым народом Ф. М. ходил по промыслам, кабакам, базарам, ел, пил, спал с простым людом, везде и все записывая в свою объемистую записную книжку».

Роман этот не нашел осуществления, остались в бумагах Решетникова только кое-какие сухие, мелким почерком, записи, скорей статистического характера. Но яркий свет на определенно-пролетарскую линию его творчества бросает «история развития» другого подобного же романа, на этот раз из жизни излюбленной Мотовилихи, под заглавием «Горнорабочие». Только 1-я часть его была напечатана в «Современнике», во 2-й, февральской, книжке 1866 г. Последнее обстоятельство придает судьбе романа особый, тоже «трагический» оттенок. Ведь в апреле 1866 г. некрасовский «Современник» был навсегда прихлопнут тяжкой лапой Муравьева-ве-

---

[1]) Г. Успенский, Биография Решетникова.

[2]) Я не мог узнать, где делся этот дневник Р., бывший в руках Г. Успенского и позже — М. Протопопова, по последнему биографу С. Венгерову уже в подлиннике неизвестный.

шателя. Правда, ближайшим поводом закрытия был выстрел Каракозова в царя Александра II. Но уже с осени 1865 г. Некрасову было ясно, что дни журнала сочтены. Под этой нависшей грозой удивительно, как могла проскочить и 1-я часть пролетарского романа, где жизнь горнорабочего рисуется как ежедневное скопление беспросветных мук и гнета, а горное начальство — как сплошные насильники и злодеи. Понятно, с другой стороны, что продолжение такого романа и такого журнала оказалось невозможным. Ниже мы еще не раз будем обращаться к этому замечательнейшему, хоть и неконченному, роману Решетникова. Сейчас займемся перепиской автора с редакциями в момент подготовки произведения к печати [1]).

10 июня 1865 г. он пишет из Перми редактору журнала «Русское слово» Благовещенскому:

«Был я на четырех заводах, находящихся в Пермской губернии. Работал на Мотовилихе в литейной фабрике, да чуть меня не зашибло воротом. Работать можно только в крестьянской одежде: я работал под именем семинариста, готового поступить хоть в рекруты. Смеху надо мною было много... Буду писать роман «Семейство Глумовых», в двух частях, из горнорабочего быта. Некрасов с братией могут успокоиться на счет того, что из бывшей в их редакции статьи (? *А. Д.*) «Горнорабочие» в роман попадет очень немного...»

Отсюда видно, что в тот момент уже начало «Горнорабочих» было готово и отправлено в «Современник». Для подготовки же их окончания и для написания нового пролетарского романа «Глумовы» автор проделал истинно героический подвиг: сам работал на заводе, и притом — скрываясь, или — говоря по-нынешнему — под строгой конспирацией!

Факт этот остается до сих пор совершенно не известен в биографиях Решетникова, что объясняется исключительно предубеждением биографов-народников в сторону чисто мужицкого «народа» и отмахиванием их от пролетарского по существу облика писателя. Между тем самый прием «конспирации» пахнет уже определенно будущей революционной «техникой» работы. Конечно, прямых указаний на революционность Решетникова повидимому не сохранилось. Но ясно, что не только из-за лучшего, беспрепятственного ознакомления с бытом Решетников прятался перед рабочими под маску какого-то прогорелого поповича, а также — из страха начальства и шпионов, которые не дали бы сотруднику таких журналов лезть так близко в волнующуюся уже массу. А что она сильно в тот момент волновалась, вплоть до стачек, видим хотя бы из упомянутых очерков Решетникова «Горнозаводские люди» в газете «Северная пчела».

Другое письмо, уже к самому Некрасову, от 2 сентября того же 1865 г. гласит: «Я написал 1-ю часть романа «Горнорабочие», и из того очерка, который был в редакции «Современника», оставлено только 1½ листа. По моему мнению, этот роман, задуманный мною еще в Екатеринбурге в 1861 г., будет лучше «Подлиповцев», потому что я проверил ныне сам себя на заводах. В 1-й части заключаются крепостные горнозаводские и завязка романа, во 2-й — казенные (рабочие. *А. Д.*), в 3-й — вольные». В другом письме к Некрасову говорится еще о романе: «В «Горнорабочих» больше страданий, чем в «Подлиповцах»: это — каторга, только в другом виде» [2]). Из 3-й записки Некрасову видно, что «Горнорабочим» в смысле картины настоящей рабочей жизни автор придает все же гораздо бо́льшее значение, чем «Глумовым».

[1]) Переписка хранится в Публичной библиотеке в Ленинграде.

[2]) Это письмо — черновик; имеется примечание автора о существенных изменениях (очевидно тоже — «конспирация») в посланном Некрасову беловом письме.

Ясно, что роман, так основательно и с такой, можно сказать, страстью подготовлявшийся, был прерван лишь внешнею силой террора Александра II и стал затем немыслим к напечатанию вообще. Интересно отметить, что задуман он, по словам автора, опять-таки в 1861 г., и в Екатеринбурге, т. е., очевидно, под прямым влиянием неизвестного наставника из «мастеровых Монетного двора». Останавливаюсь столько на романе «Горнорабочие» потому, что здесь, повидимому, мы имеем дело с настоящим апогеем творчества Решетникова, апогеем, на котором оно потерпело болезненное крушение. Ибо ни одновременно печатавшиеся «Глумовы», ни позднейшее «Где лучше?» не дают той смелой и резкой постановки вопроса. Все же прочие произведения Решетникова до его скорой смерти в 1871 г. как бы намеренно избегают чисто пролетарских тем. Лишь посмертный очерк полупрозаического вида «Осиновцы» затрагивает опять-таки жизнь рабочих Мотовилихи.

Следовательно, факты дают существенно иной облик покойного писателя, чем установился в либерально-народнической литературе. Облик, гораздо более нам родной и близкий, можно сказать, чрезвычайно приближающийся к нашей рабочей революции. Это ничуть не означает, конечно, чтобы Решетников вовсе не был народником по общему направлению, или чтобы он (тем более) был заправским пролетарским коммунистом 60-х гг., или даже вообще — рабочим революционером, хотя бы в духе француза Бланки. Нет, разумеется, он идеологически не был выше вождей и даже средней толпы интеллигентных, точнее — мелкобуржуазных, демократов и революционеров своего периода. Если угодно, он во многом даже не достигал общего уровня «передовой» тогдашней идеологии, ибо был для этого недостаточно развит, как «самородок», выходец из слишком темного, захолустного общественного угла. Но в одном отношении он безусловно шел впереди всех — хотя это и не сознавалось отчетливо ни им самим и ни кем из его современников: он стихийно, инстинктивно являлся выразителем еще всею массой погруженного в предрассветную дремоту рабочего класса, того класса, которому велением истории суждено было, однакоже, стать двигателем грядущей революции и против помещичьего царя и против тоже едва вылупившейся, но уже безмерно хищной буржуазии. Его не поняли вполне (и сам себя он не в силах был понять) в его время, лишь могли почувствовать тоже стихийно и инстинктивно исходящую из него необычайную, непонятную тогда силу «подземного» пролетарского протеста. Только мы сейчас вполне можем оценить эту сторону непримиримого и беспощадно-мрачного решетниковского «пафоса» и дать ему надлежащее место в ходе развития русской литературы и нашего революционного сознания вообще.

С собственно литературной стороны, со стороны «формы», как сейчас принято выражаться, место Решетникова тоже в высшей степени своеобразно. Начать с того, что почти все (за исключением, кажется, одного Некрасова, зато узнавшего его ближе всех, да отчасти лишь — Г. Успенского) народники-писатели, оценивавшие его, т. е. «оценщики» наиболее дружественного писателю лагеря, в один почти голос не признают за ним вообще никакого чисто-художественного дара. «Прямо смешно называть романы Решетникова романами»,— говорит, например, в 1868 г. П. Ткачев, т. е. наиболее «марксистский» из народнических критиков, который лучше других уловил определенно-пролетарский уклон писателя. Почти то же и Гл. Успенский, то же — и Скабичевский, и редактор Благовещенский, в письмах. Но резче всех отзывы С. Венгерова, который в лучшей по исполнению вещи Решетникова, в «Подлиповцах», видит одно: «скотоподобные герои...», «чудовищное вырождение...». Т. е. не только нет вопроса о худо-

жественности, но — прямая, мол, литературная клевета на столь дорогих народническому сердцу мужиков. Популярность Решетникова среди народнической интеллигенции Венгеров объясняет лишь временными обстоятельствами: покаянным настроением ее перед страданиями «народа» и кстати подвернувшейся, хоть и преувеличенной через край картиной этих страданий в «Подлиповцах».

Словом, народничество пришло в результате к полному в сущности осуждению писателя с чисто-художественной стороны. И как это ни странно на первый взгляд, но из либерального лагеря,—враждебного и народникам и «Современнику» 60-х гг., и самому Решетникову,— мы имеем гораздо более беспристрастный и верный отзыв о художественном его даре. Правда, отзыв принадлежит «спецу» своего дела, одному из крупнейших художников-классиков так называемого «русского реализма» (т. е. буржуазно-дворянского), И. С. Тургеневу. В воспоминаниях о Белинском (1868 г.) Тургенев со своей литературно-художественной по преимуществу позиции попадает, можно сказать, в самое сердце вопроса. «Как бы порадовался Белинский... — говорит он (огромная в данном случае смелость!), — трезвой правде Решетникова!» И, как бы нарочито подчеркивая, что «трезвая правда» понимается именно в художественном, а не в каком ином смысле, он тут же сопоставляет Решетникова не с кем иным, как со Львом Толстым, Островским, Писемским и Салтыковым. Т. е. за эту по крайней мере сторону художественного дара не обинуясь возводит автора «Подлиповцев» на самый признанный Парнас реализма. Да и понятно; трезвая правда — это высшее, что можно поставить в похвалу художнику-реалисту. Следовательно, и здесь не следует без возражения принимать на веру народнические отзывы о Решетникове, как писателе.

Прибавлю однакоже, что у того же Тургенева в его письме к поэту Я. П. Полонскому (тоже от 1868 г.) имеется и более точное определение, так сказать, границ решетниковской художественной силы и тоже в высшей степени верное, причем на этот раз сходящееся значительно и с мнением народников. Интересно, что это зараз — и мнение Тургенева (довольно презрительное) о писателях-народниках вообще. «Способности нельзя отрицать во всех этих Слепцовых, Решетниковых, Успенских и т. д., — но где же вымысел, сила воображения, выдумка где? Они ничего выдумать не могут—и, пожалуй, даже радуются тому; эдак мы, полагают они, ближе к правде. Правда — воздух, без которого дышать нельзя, но художество — растение, иногда даже довольно причудливое, которое зреет и развивается в этом воздухе. А эти господа — бессемянники и посеять ничего не могут».

Оставив в стороне барско-либеральное высокомерие Тургенева, прорывающееся в особенности в последних словах («семя»-то народники, конечно, сеяли, но крайне неприятное либералам!), признаем однако, что две эти выдержки в общем дают наиболее верную характеристику Решетникова в художественном смысле из числа когда-либо высказывавшихся. Совершенно правильно, что он был крайним проявлением того взгляда на безыскусственность или малое значение «выдумки», который пошел на деле от отца народничества Чернышевского (ср. его «Эстетическое отношение к действительности») и превратил всю почти народническую беллетристику по существу в нечто противоположное истинному художеству — в публицистику образными средствами. Это ничуть не говорит за то, чтобы у «Решетниковых, Г. Успенских и т. д.» не было огромных природных данных в художестве, либо чтобы их «образные средства» подчас не выливались в поразительно яркие и сильные картины, портреты, драматические

моменты. Но это означает с другой стороны, что все же Тургенев, как мастер в художестве, совершенно прав; решающее значение здесь имеет именно «выдумка», т. е. творческий замысел, который вовсе не валяется сам собой на путях и распутьях действительности, а потому оттуда и не может быть, так сказать, без труда, без творческого усилия, прямиком подхвачен, копирован, фотографирован. Главное в художественном произведении все же — от самого художника, активного творца, т. е. проявителя и собирателя рассеянных элементов жизни, а не пассивного лишь подражателя ей. Решетников же, стоя на крайнем крыле народнических художников слова, понимал здесь свою роль в высшей степени наивно, как какого-то Пимена-летописца, пишущего, так сказать, под диктовку самой жизни все, что лишь уловит ухо, увидит глаз. Вот почему его несомненный, исключительный по силе дар «трезвой правды» (тургеневское слово здесь даже слишком слабо) оказывается в одно и то же время и огромным достоинством, и не меньшим недостатком.

Замечательно, что спор этот между либеральными «отцами» и демократическими «детьми» — причем на стороне «отцов» был несомненный общий перевес непосредственно-художественных дарований и следовательно ближайшего понимания искусства, как такового, а на стороне «детей» историческая правота в направлении, в применении искусства, в его революционном содержании, — спор этот в новых условиях возвращает нас отчасти к исходной точке развития теории новейшего искусства, ко временам Дидро и Лессинга. Ведь Лессинг и Дидро как раз спорили (и притом во имя жизненной правды!) с представителями тогдашнего «классицизма» — с Буало, Вольтером — о том, что художество отнюдь не простая копия природы, не «искусное ей подражание», следовательно не пассивная работа, а нечто бо́льшее. Лессинг на этом именно пути спора с классицизмом развил все основы новейшей литературной теории (опираясь преимущественно на Шекспира), где и Пушкин и Белинский являются только его учениками. Сейчас не место излагать подробнее завоевания Лессинга и его поэтических и критических последователей, ограничусь лишь краткими указаниями на суть этой плодотворнейшей реформы. Произведение искусства здесь представляется, конечно, черпающим свои образный материал из действительности, из жизненной правды прежде всего. Но на этом необходимом фундаменте строится оно, как некоторый законченный в себе организм, исходя из единой авторской (чисто-конкретной, образной) идеи и творя все части, все типы, все драматические столкновения строго соразмерным путем из мощного первого, конечно, тоже реально-правдивого замысла. Произведение тогда только и живет на наших глазах удивительно цельною, свободною и энергичною жизнью, словно бы в самом деле новое создание самой природы, иногда кажущееся более живым, лучше выражающим реальную борьбу интересов и лиц, чем это дается повседневностью вокруг нас. Творческий организм — вот как вкратце формулируем мы существенное содержание этого лессинго-гегеле-белинского (и пушкинского) взгляда на произведение искусства.

Чернышевский и народники сделали несомненнейший шаг назад от этого взгляда. Как это ни удивительно, но они тут оказывались в одном лагере с так называемым «ложно-классицизмом» именно в том отношении (в других они стояли, конечно, на прямо противоположных точках), что полны были недоверия к самостоятельному творчеству художника, требуя от него, как и классицизм, лишь пассивной передачи «природы» (активность писателя сдвигалась в сторону нарочитого «направления», вне-художественной тенденции). В результате — падение художества до уровня служебного аппарата для целей (в случае наших народников) «просветительства»,

пропаганды научной и политической. Между тем как подлинное, свободное искусство, искусство, как творческий организм, обладает, даже применяемое для подобной просветительной пропаганды, несравненно более мощными средствами воздействия на людей, чем низшая разновидность — искусство публицистическое.

Повидимому, все это сейчас азбука художественной теории. Но приходится и в наше время повторять ее, ибо и в нашей обстановке возрождается, с одной стороны, взгляд на художество, как на весьма легкий род какой-то беллетристической корреспонденции чисто агитационным или пропагандистским заданием, а с другой стороны — как на самодовлеющие какие-то «формальные» лишь упражнения в так называемой поэтической технике. Ни то, ни другое. Ни агитка образным путем, ни чистая форма или техника. Форма — вещь крайне, существенно важная, но крепко спаянная с идейным содержанием, более того: порождаемая лишь содержанием. Но и содержание — не значит просто голое, отвлеченное «задание» из текущих газетных лозунгов, а конкретная, из жизни открытая, творчески воссозданная, живая картина-идея, воплощающая в себе двигательную энергию жизненной (классовой по существу) борьбы в данный исторический момент. Общая картина, полная смысла и огня, а не ходячая фраза, — вот что такое содержание. Форма его вытекает из него, как удачное во всех частях исполнение вытекает из верного, богатого замысла.

Потребности изложения несколько отвлекли нас в сторону общих теорий от частной нашей задачи — творчества Решетникова. Но это помогает нам правильно взвесить элементы его огромного дарования и выделить, что крайне ценно для нас и до сих пор, а что — неизбежная дань исторической ограниченности тогдашнего народнического, мелкобуржуазного течения в литературе и, как таковая, подлежит острой критике.

Итак, старик Тургенев, хотя и либерал, но в общем правильно судил об особенностях таланта Решетникова. У последнего нет главной черты истинного художества: вымысла, архитектурного замысла. Зато сравнительно второстепенное данное, — но, подчеркиваю, тоже абсолютно нераздельное с истинным художеством, а именно — способ передачи, «манера письма», самый язык образов, каким говорит нам художник, вкратце — художественный стиль Решетникова необычайно верен с природой и жизнью, неподражаемо выразителен. Пусть нет у него мало-мальски выработанной канвы, плана, — еще глубже сказать — развитой личной драмы внутри его «летописных» повествований, а потому, — как правильно отмечал уже народник П. Ткачев в 1868 г., — нет и героев, нет ярких типов, ибо герои и типы высказывают себя естественным порядком только в отчетливом ходе личной драмы (а она, в свою очередь, должна отчетливо отражать ход общей, широкой, т. е. классовой, драмы общества). Пусть прав тот же Ткачев, все от этого у Решетникова приобретает слишком нередко характер какой-то бледной повседневности, тягучего рассказа о множестве мелких происшествий, то-и-дело повторяющихся и самих по себе незначительных. Но тем более ярки и потрясающи отдельные моменты его рассказов, моменты, где «трезвая правда» всероссийского гнета, губящего, как бесчувственный жернов, тогдашнего темного полупролетария в массе, находит небывало верное воплощение.

Почему именно эта черта небывалой верности с жизнью особенно поражает Тургенева, который все же в свое время, в молодости, когда сам еще находился в русле демократических идей, немало сделал в смысле едкого, неприкрашенного изображения ежедневного гнета крепостниче-

ства, в особенности над безземельным и безработным слоем деревни («Записки охотника»)? Вещь понятная; ни Тургеневу, ни самому Пушкину, вследствие их социального положения, не удавалось изображать этот хозяйственный и политический гнет так до конца полно и беспощадно, как сыну угнетаемой массы Решетникову. По той причине, что они не могли ни почувствовать так «исчерпывающе» верно, как он, на своих боках, ни так близко подойти ко всей массе до наиугнетеннейших слоев ее, ни, в особенности, изобразить все это, так «начисто» ненавидя гнет и угнетателей и так непосредственно, чутьем зная куда именно направлять стрелы ядовитой правды, чтобы разить больней и вызывать максимум действия на массового, т. е. максимально «внимательного», читателя. Тургеневым и Пушкиным слишком много приходилось щадить и жалеть... в лагере эксплоататоров. А Решетникову — разве лишь сдерживать себя, да и то — в силу цензурных соображений. Пример: в том самом письме Благовещенскому, которое нами цитировано выше, он пишет по поводу нового романа, что он «будет лучше «Подлиповцев», только я боюсь таких господ, как, например, Строгановы, Демидовы и прочие дармоеды» (т. е. хозяева уральских заводов, колоссальнейшие из тогдашних богачей и вместе приближеннейшие, властные сотрудники царя). Ни подобной фразы, ни — главное — подобного скрытого чувства, ни внушенных им образов с затаенным проклятием в душе не встретите у Тургеневых. Революционное (по своей невыраженной сути) чувство — вот что отделяло целой стеной Решетникова от художества либеральных «отцов». И это революционное чувство и эта трагическая «правда» образного языка такую острую степень получают именно от пролетарского содержания «романов» Решетникова. Никто из народников тоже не мог сравниться с ним по предельной полноте этих чувств и этих художественных образов, этой «формы» — по той же опять-таки причине, что и в случае либералов. Народники чисто крестьянского крыла (лучше сказать: подавляющего их фронта) гораздо более Решетникова, идеолога неимущих пролетариев прежде всего, склонялись к «мягкому» жалению мелких собственников крестьян, а отсюда и вообще к бессознательному соглашательству со всем имущим, капиталистически-помещичьим миром. Решетников же — в меру своего момента и социального положения — представлял в общедемократической симфонии ноту ничего не щадящего пролетариата. Таков классовый секрет его «трезвой правды», как художественной формы. В ней он имел не первостепенное само по себе художественное орудие (первостепенное — архитектура произведения, у него слишком слабая), но по тогдашним временам орудие беспримерно сильно действующее. Да и по нашим временам почти еще не достигнутой силы.

Нет сомнения, что появление Решетникова с его дубинообразной, но сокрушительной, ядовитой критикой новых, подновленных на капиталистической основе порядков, представляет собою поучительнейший предмет в нашей литературной истории. Рабочий класс едва-едва еще нарождался в смысле современного крупно-промышленного пролетариата. Он только что становился еще «классом в себе», по определению Маркса, т. е. только что выливался в отдельный класс, решительно враждебный классу капиталистов и решительно разнившийся от классов старинных, крепостнических, трудового крестьянства в первую голову, откуда преимущественно произошел. И вот ранее каких-либо даже еще намеков на переход пролетариата к «классу для себя», т. е. к периоду сознательной организации для хозяйственной (стачками и прочим), а затем и настоящей революционной борьбы за власть и за новый, социалистический строй, ранее этого — из чужого все-таки, хотя и сопредельного, трудящегося слоя мел-

кой буржуазии — является «по неизведанным путям» истории упорный и пламенный выразитель пролетариата. Является певец (если можно Решетникова называть так при его лишенной всякой внешней поэзии форме) его безмерных, повседневных страданий. Можно сказать, что в этом факте видимого предварения «естественной» исторической линии развития уже как будто слышится отзвук всего «форсированного» хода будущей борьбы нашего пролетариата сразу против царя с помещиками и против капитала — мимо чисто-буржуазной свободы (лучше сказать: в быстром скачке сквозь нее) — путем союза с революционизированными Пилами да Сысойками деревень, к социализму.

Конечно, Решетников до такой степени был сродни тогдашнему низкому уровню пролетариата, что не дорос в умственном отношении даже до тогдашнего, народнического, утопического социализма. По крайней мере ни в сочинениях, ни в письмах его вы не найдете социалистических высказываний (кроме некоторых намеков, например, в «Подлиповцах»). Он всюду перед нами скорей в одежде (чуть не сказал: в маске) рядового, даже робко умеренного прогрессиста и «просветителя» 60-х гг. Но тем не менее, — а правильней сказать — *именно эта* недоразвитость плечо в плечо с массой и сделала его как бы незаменимым органом «класса в себе» в переходе на высшую ступень «класса для себя», — т. е. ранее, чем чайковцы в начале 1870-х гг. и даже ранее, чем каракозовцы в конце 1860 гг., дали первые толчки массовой организации пролетариата в Питере и Москве, влили в его первые, стихийные забастовки какой-то элемент сознательного объединения, программных требований и теоретически-социалистического осознания, Решетников уже подготовлял то, другое и третье своей сбразной критикой «положения рабочего класса в России». Идейного освещения, ясного истолкования необходимой борьбы он, конечно, не давал, но уже отчетливейшим образом выделил «на экране», в образном отражении, рабочий класс, как совершенно новую для русской жизни категорию, резко отмежевал его интересы от интересов его угнетателей и окрасил эти растаптываемые врагами интересы в резко горькую окраску непримиримого классового чувства ненависти.

Он не мог, по внешним препятствиям, до конца явственно выразить клокотавшие в нем, как в живом горне, классовые проклятия, — оттого, конечно, в первую голову и спился, и погиб, как жертва «безвременья», — но, что мог, выразил все же с никем, кроме него, не достигнутой мрачной энергией.

Когда «класс в себе» еще не проявлял ни малейшего стремления, так сказать, самотеком перейти в революционный «класс для себя», Решетников изо всей силы и вполне сознательно принимал на свои плечи роль первого, неизбежного толчка, стал тут неожиданною ступенью [1]). И кто же сейчас будет ставить ему в вину — как делали «друзья»-народники, — что художником он был лишь наполовину или на одну четверть, раз эту четверть он все же осуществил настолько выразительно, что вырвал признание о своей необычайной «трезвой правде» у своих политических врагов, и раз до сей поры его «подлиповские» и «горнорабочие» картины вызывают у нас иногда изумление стихийным размахом, пусть еще глухого, социального протеста, в их образах запечатленного.

---

[1]) Насколько пролетариат практически еще мало выделялся тогда в представлении демократической, даже «социалистической» интеллигенции из «народа вообще», как самостоятельная группа, видно из факта, что подпольные листки, обращенные к разным слоям населения Чернышевским, М. Михайловым, Шелгуновым и проч., *рабочих* вовсе не затрагивали!

2. Луч на полвека вперед.

Михайловские, Скабичевские, Венгеровы не в силах были уловить секрета неподражаемой силы, «поразительной рельефности» (П. Ткачев) решетниковской кисти, ибо по своей социальной близорукости не видели особенного и нового предмета этой кисти — рабочего класса. Впрочем, и сам Решетников держался взглядов на искусство, урезывавших ему же художественные возможности. В дневнике своем (цит. по М. Протопопову) он записал, например: «Я на красоту смотрю, как на приманку, и всегда вопию как против красоты, так и против всяких украшений».

Таким образом искусство («красота») само по себе и ему представляется лишь недостойной забавой, барской игрушкой, едва ли не издевательством над «бедным человеком с ничтожным званием» (тоже из дневника — по отношению к самому себе). В другом месте дневника он выражается так по поводу чьих-то упреков, что «не обрабатывает своих произведений, не заботится о художественности». «Это правда, — говорит он. — Если бы я имел средства жить в отдельной комнате (!!), не забирать вперед денег, я писал бы гораздо спокойнее и лучше». Следовательно, из б е д ы, из черной нужды писателя, как и масс вообще, делается известное народническое (впрочем идущее еще от Руссо) умозаключение в сторону «опрощения»: искусство не нужно, всю «барскую» культуру долой! В литературе от этого «нигилизма» уцелевает одно: «чистая правда».

Мы видим ясно здесь и общую пуповину, крепко связывающую еще нашего писателя с народничеством, и т у т же — источник крайнего непонимания его собственною школой. Обратимся теперь к его своеобразным, исключительным для того времени картинам пролетарской жизни, где он, вырываясь на волю из общих рядов своих единомышленников, становится, так сказать, лучом прожектора, бросающим свет среди своей чуть-чуть брезжущей огоньками поры на полвека вперед.

Я повторяю: в писаниях Решетникова не находится в положительном смысле ни следа развитой классовой идеи пролетариата. Он не социалист и не революционер в сколько-нибудь ясно выраженном виде. В первом своем печатном очерке «Горнозаводские люди» он даже выступает в какой-то униженно рабской или нищенской одежде, как смиренно кланяющийся перед «господами» ходок за «бедного рабочего человека». Вот как передает он толки между рабочими Урала о состоявшейся недавно отмене крепостного права: «Целую неделю, как прочитали Положение, из кабаков не выходили, а дома все батюшку-царя родного благодарили... Не ты бы, голубчик, — так поедом бы нас заели»... Осуждает и стачки (хотя — с каким-то в то же время глухим рычаньем!): «В частных заводах... находились такие умники, кои сбивали народ, что работать больше не следует. Ну, а нашему брату сказал что один толково (?), — и все в один голос говорят: так! Ну, и не шли на работы, к управляющему лезли, побить его хотели... Их усмиряли солдаты и губернатор и драли потом, а все-таки не объясняли толково».

Конечно, все это вывезенное из Перми раболепие быстро с него соскочило, как только он попал в орбиту «Современника». Лучше сказать, он и явился в этот журнал с произведением, где нечто прямо противоположное — классовый гнев — искало себе более достойного выхода. Впоследствии, в повести «Между людьми» (в действительности — его автобиография до момента переезда в Питер и сотрудничества в «Северной пчеле»), он с отвращением вспоминает свои наивные первые попытки быть выразителем горнорабочих страданий — где же? В газете самих эксплоататоров! Он дает ей язвительную кличку «Насекомая» (вместо «Северная пчела») и

шлет от всей души свои пролетарские ругательства: «Позвольте вас спросить, какое направление у вашей плюгавой газеты? Какие вы идеи проводите? В одном месте кто-то пишет, что вот это бы хорошо сделать для цивилизации нашего отечества, в другом вы отвергаете эту пользу, в третьем говорите чорт знает о чем... Вы думаете, я ничего не понимаю? Эх вы, цивилизация парикмахерская!».

Как бы откровенный плевок в лицо врагу, которому дал на минутку себя надуть, — и затем куда более зрелые, гневные образы. Не стану пересказывать здесь «Подлиповцев»: их и сейчас обязан прочитать каждый, кому не безразлична тогдашняя исходная точка в злой доле рабочего класса, приведшей его через десятилетия нарастающих протестов, наконец, к решающему удару. Я только возьму одно-два места, где автор сжато дает итог своим картинкам. О своих бурлаках он говорит: «Все они шли до сборного места, т. е. до завода (солеваренного. *А. Д.*), целых три недели — и шли, как некогда шли евреи по пустыне Аравийской, с тою только разницей, что это были русские крестьяне, бежавшие от своих семейств». Я уже говорил раньше о ближайшей связи у Решетникова его примитивных рабочих с деревней, как своего рода пристанью, от которой отталкиваются. Но ведь нам и вообще сейчас ясно, что «смычка» рабочего и крестьянина стала характернейшей чертой всей истории нашей революции — с рабочим, как вождем всего движения к его социалистической цели.

Интересно, как эта цель отражается в первом по времени литературном проблеске массового протеста. «Идут они сегодня по песку — солнышко их жжет, — говорит автор, — на другой день идут болотистым берегом — ноги вязнут; выбились из сил, а лоцман то-и-дело кричит: «Что стали, пошли живо!» На третий день идет дождь, гремит гром, светит молния, а они идут и тянут богачество». Вот в этом резком контрасте всех бед бурлака и «богачества», которое он своим хребтом тянет, и проглядывает впервые луч социалистического сознания у героев Решетникова, да и у него самого. Ибо он несомненно рос и развивался параллельно со своим писанием. Еще: «Вот, бают, и в Чердынь муку плавят, а пошто она так дорога? — А по то: кто плавит-то, — богат! Вот те и богачество».

Конечно, тут, так сказать, еще лишь первый запах социализма, но уже весьма определенный. Еще определеннее классовое высказывание этого рода в таком авторском «припеве» к бурлацкому походу: «Поплавайте, добры молодцы, за богачеством. Не знаете вы, что богачество-то вы сами спроваживаете: барки-то полны, да не для вас все это». Зародыши боевой пропаганды, которая лишь к концу века выльется в реально-мощные формы, имеются все же налицо.

Нужно, однако, отметить, что в таких более или менее определенных высказываниях, облеченных к тому же в какую-то напевно-лирическую форму, идеи Решетникова весьма редко появляются. В силу тогдашнего гнета над свободным словом, точно так же, как и в силу природных особенностей решетниковского таланта, его проповедь прячется совсем в иные, противоположного характера рамки. Никто ни до, ни после Решетникова не владел так виртуозно свойственным ему стилем — какого-то, по внешности, безучастного, как бы безразличного, летописно-ровного повествования о множестве самых мелких, повседневных явлений быта, и тут же рядом, тем же ровным тоном протокола — о бесчеловечных ужасах пролетарской судьбы. Тут-то и таится все своеобразие того оттенка «трезвой правды», который лишь приблизительно уловлен Тургеневым в его формуле. Оттого Решетников так и действует потрясающе на читателя, что его картины всеобщего «запора, давления, рабства» (слова его из дневника) над пролетарием тех часов подаются нам вот в этакой еле-еле жур-

чащей струе как бы вовсе иногда бесцветной прозы. В стиле Решетникова упомянутое выше сознательное изгнание всякой красоты, всех украшений достигает на самом деле никогда не слыханной степени. И оно-то и действует на вас как первое, стихийное, но сильнейшее социалистическое (ибо неподдельно-классовое) чувство.

Возьму для иллюстрации рассказ полесовщика Иванова из тех же «Горнозаводских людей». Он описывает, например, свою свадьбу с Офимьей: «На свадьбе моей весело было. А на другой день после свадьбы меня выстегали» (лесничий за порубки). Там же о рождении пятого или шестого сына: полесовщик, узнав о радостном событии, оставил за себя в лесу товарища, получил (незаконно) с порубщиков два рубля и довольный поехал домой на крестины, но по дороге пропил два рубля с приятелем, попал в полицию — высекли... «Прихожу домой: жена ругается, стерва, а меня злость берет; ударил ее кулаком по голове и сказал все, как было. И она запечалилась(!), трех парней, которые постарше были, послала лошадей искать» (за попом).

Но здесь еще манера Решетникова не выработалась: слишком много скучено в одном месте порки, мордобоя и пр. Позже он гораздо «бережливее» в обращении со своим материалом, но на фоне этой-то бережливости и получает наиболее сильные эффекты. Я перейду прямиком к заветнейшему замыслу писателя, к «Горнорабочим». И сперва ограничусь опять-таки иллюстрацией одного лишь словесного стиля, который тут в полном расцвете.

Вот, например, в начале романа, после долгого описания детства Гаврилы Иваныча Токменцева, «непременного рабочего»-крепильщика в руднике, принадлежавшего, как крепостной, наследникам заводчика Граблева [1]), после такого же обстоятельного описания женитьбы того же Гаврилы Иваныча идет характеристика его жены. «Онисья Кирилловна была хозяйка хорошая и, если бы не рожала детей, она стала бы непременно работать с мужем, как это часто делают многие женщины на заводах и промыслах. Но теперь у нее есть дочь восемнадцати лет Елена, которая помогает ей в хозяйстве, было трое сыновей: Павел шестнадцати, Гаврило тринадцати и Николай пяти лет, из которых Павла задрали на руднике. Павла она любила больше других детей, и потому ей очень тяжко было, когда его несправедливо взяли больного на рудник и там задрали; тем более тяжко, когда за правду ее же наказали» (т. е. высекли). Не правда ли, вы сперва даже не замечаете, где именно рассказ перешел от «мелочей жизни» рабочего к катастрофе — убийству сына по приказу управляющего, позору матери. Это и есть специально решетниковский прием «ошарашивания по лбу» читателя, как дубиной, именно благодаря обыденно-повествовательной подготовке. В то же время нельзя его прием называть нарочным, искусственным, что ли, эффектом, ибо именно такова жизнь тогдашнего уральского рабочего. Как раз роман «Горнорабочие», даже в своей только 1-й части, до нас дошедшей, содержит какую-то ядовитую концентрацию привычных, ежедневных трагедий, как тень сопровождавших рабочего от колыбели до могилы. И все это — на фоне утомительно-мелких подробностей в таком духе: «Покос Токменцева находился в 12 верстах от завода; дорога к нему идет сначала небольшой просекой, а потом узенькой дорожкой лесом, мимо старого, закрытого рудника Михайловского». Или: «Токменцев съел три ломтя хлеба, Елена и Ганька по два». Еще: «Его побуждало жениться еще то: он будет сам хозяин, будет получать четыре пуда провианта, и на детей тоже пойдет провиант». Подобные

[1]) Вспомним «Демидовых, Строгановых и прочих дармоедов»...

«житейские» описания нередко переходят у Решетникова даже в чистейшую прозу, когда он делает длинные вставки статистического, краеведческого, экономического и прочего характера, которые впрочем тут же выливаются в обличительный тон, чтобы дать место опять-таки пролетарской трагедии. Вспомним, что бурлацкую массовую трагедию «Подлиповцы» автор назвал «этнографическим очерком»!

В его «Горнорабочих» есть целые вставные главы прозаически-описательного характера, например глава 6-я: «История Осиновского завода». Это, так сказать, — начало распространения решетниковского стиля уже на самую суть художественной работы, на внутреннее построение всего романа. Трудно, конечно, перечитывать такое несуразно обремененное громадными отступлениями повествование, но — пролетарское художество до зари пробуждения пролетариата надо брать сырьем, как оно вдруг прорвалось, будто раскаленный протуберанц на солнце, из нутра растущего капитализма. Прорвалось и засветилось зловещим огнем возмущения, донесши его до наших дней.

Стиль Решетникова входит затем как бы клином и в самое ядро романа, а не только в отступления и добавления. Ибо, как ни слаб автор вообще в искусстве художественной постройки, но она у него есть, особенно в лучшем по замыслу из его романов, в «Горнорабочих». Если «Подлиповцы» или «Где лучше», или «Свой хлеб» построены по низшему вообще литературному типу — приключений в пути, авантюры [1]), то в «Горнорабочих» архитектурный план чуть ли не впервые у Решетникова — «романический»: любовь между дочерью рабочего Токменцева Еленой и сыном «плавиленного мастера» учителем Плотниковым. Словом, во всяком случае, хотя и примитивная тоже, но вполне определенная личная драма, притом с явственным привкусом классовой драмы. Ибо Елена любит Плотникова вопреки взглядам отца и вопреки собственным унаследованным вкусам и взглядам; «Да он и не наш», говорит она себе. «Елена не очень любила запрудских жителей (т. е. служащих, мастеров, в отличие от старослободских, т. е. рабочих. *А. Д*) на том основании, что она привыкла к простоте, а там... она видела все новые порядки, которые и осмеивала вместе со старослободскими девицами». Ее же отец, ругая ее за такого кавалера, высказывает еще более определенные классовые предубеждения: «Сказано, не хочу родней иметь мастера-подлеца — и конец». Приходится отметить, однако, в идеях дочери и отца своеобразную черту исторической «утробности» тогдашнего пролетариата: он и она еще консерваторы, сторонники старой «простоты», а «подлецы» начальство — за культуру, за «прогресс», за новые, по крайней мере, костюмы и повадки.

На канве такой классово-личной драмы вышивается узор романа, опять-таки в истинно решетниковском стиле. Только что состоялось свидание Елены с возлюбленным, приходившим в их дом по какому-то будто бы делу (обстоятельное и в высшей степени живое изображение их любовной беседы); только что отец вздул ее за это и строго запретил продолжать (опять подробное описание, вплоть до поведения мальчугана Ганьки при этом, а также кота Серки), — как вдруг совершенно неожиданная, словно взрыв, но просто рассказанная, как продолжение хозяйственного дня, трагическая, жестокая глава: «Артамонов». Явился в отсутствие отца Елены полицейский служитель Артамонов и, пользуясь ее беспомощностью, изнасиловал и ушел. Ощущение полной классовой беззащитности рабочего, яростная ненависть к строю, где буквально на каждом шагу стерегут его

---

[1]) Не забудем однако (в качестве предела и ограничения данной мысли), что и лучшая вещь Гоголя «Мертвые души» построена на той же упрощенной основе.

подобные сюрпризы со стороны насильников, становятся особо яркими от этой манеры автора строить развитие романа.

Лишь мимоходом упомяну дикий, но реалистически опять-таки верный быту отклик отца на несчастье с дочерью: он «выстегал Елену в бане». Отмечу лишь, что Некрасов потребовал от автора исключения этой сцены (она, очевидно, была сперва так же добросовестно-обстоятельно изложена, как и все у Решетникова). В смысле стиля, вошедшего в самое тело романа, важнее другое: то, что за таким ужасным, казалось бы, в жизни девушки фактом, изнасилованием, следует — как будто ни в чем не бывало! — глава «Елена ходит по грибы и малину» (т. е. с женихом Плотниковым). Надо прямо сказать: только как будто! По существу, это лишь «немой» прием объективного до крайней степени автора — послать свое затаенное проклятие рабовладельческому строю. Вот, мол, вам картинка вашей «цивилизации парикмахерской», где девушка-работница может наслаждаться свободным романом, лишь, как сквозь строй, проходя сквозь ежеминутную опасность изнасилования рабовладельцами либо их челядью. Только «спокойным» сопоставлением двух последовательных картинок ультра-объективный автор выражает здесь себя. Но зато выражает — немым контрастом — неслыханно ярко. Надо при этом сказать, что «хождение по грибы и малину» сама по себе высоко-художественная сценка, редкая не только у Решетникова картинка любви «по-народному», но и вообще в русской литературе. И тем более поражает после нее опять-таки воплощенным мраком, но широкого уже размаха, картина какого-то египетского или ассирийского мучительства горнорабочей массы в главе «Петровский рудник». Елена является туда, чтобы лишь быть свидетельницей смерти отца в воде рудника от дьявольски непосильной работы в варварских условиях. Условия эти иллюстрируются лучше всего разговором штейгера (мастера) еще до катастрофы, так сказать «нормальным»: «Эй, все ли целы?» — «Никитину, гли, руку оторвало...» — «Чорт!!» и штейгер плюнул.

Скажут: но ведь все это давно прошедшие вещи, муки крепостного уральского рабочего ранее эпохи новейшего капитализма в России. Не совсем верно. Урал во многом и многом сохранился до самого 1917 г., до великого Октября таким, какой изображен у Решетникова. Черты прикрепления рабочего к заводу путем лесного и покосного «надела», который служил для удержания зарплаты на уровне вдвое, втрое ниже других горных районов, черты невероятной отсталости Урала в промышленной технике (выплавка руды на древесном, главным образом, угле, сплав металла по рекам и т. д.), все это увековечивало «каторгу» уральцев. Все это и делает Решетникова более близким к нам, чем это на первый раз кажется. На Урале, через Урал живее должна ощущаться вся неподдельность его «трезвой правды». Там он как бы подает свой громкий, классово негодующий голос через полстолетия, предостерегает против угрозы возвращения «порядков».

Мы еще не сказали главного в постройке интереснейшего из романов Решетникова. Елена не потому лишь не удержалась, пошла по грибы и малину с Плотниковым, что он пленил ее «обхождением», что ли, несмотря на первоначальную ее враждебность запрудским новшествам. Нет, Плотников — не первый попавшийся охотник за пролетарскими дочками. Он в романе — созвучие к тому негодованию, какое вообще тут выражено. «Его постоянно мучила мысль, зачем это все обитатели завода находятся в каком-то рабстве». Словом, это было совершенно новое проявление того же классового сознания, пускай и приходящее «с другой стороны», из лагеря заводской интеллигенции. Впрочем, само по себе такое явление не

только не выдумано автором, но, как мы знаем, наоборот, — необходимый момент в развитии пролетариата всюду, а не только у нас. Еще Ленин в «Что делать?» установил, что и социализм исторически приходит к рабочему классу от образованных буржуазных отщепенцев, а не просто произрастает из пролетариата. Интересна и здесь замечательная черточка объективиста Решетникова. С подобными идеями (или зародышами идей) юношу «не сменили с должности только потому, что он переписывал записки управляющего, часто прислуживал у него вроде лакея и раз даже удостоился похристосоваться с ним в Пасху — честь большая в заводе».

В такой, правду сказать, довольно-таки неприглядной оболочке рисуется здесь протестант того, начального часа. Но не надо опять забывать ужасных, рабских условий эпохи. Не надо забывать, что в самый почти момент печатания романа гораздо более призванный выразитель тогдашнего «социализма», редактор «Современника» Некрасов, можно сказать, рабски целовал полу Муравьева-вешателя, писал в честь его постыдные стихи — только бы отсрочить закрытие единственного социалистического журнала! Да впрочем мы и не знаем, направлен ли был творческий замысел Решетникова в «Горнорабочих» к изображению в лице Плотникова действительного героя. Как бы развил он дальше его судьбу, мы не знаем [1]). Рукопись продолжения повидимому погибла. Все же, по аналогии с другими замыслами Решетникова, более верным кажется, что в Плотникове мы имеем еще один образец выходца с низов (если и не прямо из рабочего класса), который только и может в тогдашних условиях, что с проклятием погибнуть — даже не за революцию, до которой он, конечно еще, не додумался, а лишь в качестве одного из робких ее предтеч, могущих только указывать на вопиющее кровопролитие каждого дня, но ничего не умеющих еще дать положительного для освобождения класса.

Поэтому в романе все-таки нет героя, героя в смысле передового борца, способного энергичным действием, железною волей развязать и личный драматический узел, положенный в основу романа, и общий классовый узел, в первом находящий свое конкретное выражение. Развязать— или, по крайней мере, хоть погибая, дать могучий толчок к подобной развязке. Легко понять, что в дорассветную пору Решетникова от пролетписателя и требовать нельзя подобных героев. Их не только не было в самой жизни тогдашней, но нельзя было художнику-писателю даже и «собирательно» создать их «выдумкой» (о которой говорил Тургенев). Ибо и выдумка подобная не может носить чисто произвольного характера. Она должна тоже из семян самой действительности зорко уловить уже «летающие в воздухе» образцы, сгустить имеющиеся краски, выдвинуть, подчеркнуть, дать возможно сильнейший резонанс слабому голосу действительных, но зародышевых героев. В этом только искусство настоящего художника, как своего рода микрофон, во сто раз более чуткого к окружающей жизни, чем все его современники. Но выдумать героя пролетариата или социализма (не утопического, «мужицкого», а действительно революционного, пролетарского) пролетписателю той поры было немыслимо. Не было самих предпосылок еще для такого геройства. Работа пролетписателя состояла только в первом определенном воссоздании облика тогдашнего массового пролетария с его безмерными мучениями, с его жизнью, равносильной гибели и умиранию (по крайней мере, в личном смысле). И подвигом было уже уловление на широкое полотно всего этого как отдельного, своеобразного общественного явления. Уже такое максимально объектив-

[1]) Что продолжение романа существовало, видно все же из письма автору Благосветлова от 24/VIII 1866 г. с условиями (несостоявшегося) помещения в журн. «Дело».

ное уловление, само по себе, «без лишних слов», становилось ступенькой к выходу из исторической ямы. Решетников — ценою личной своей гибели и жертвы — одну из таких ступенек создал. Не будем требовать большего, тогда невозможного.

За всем тем верно, что «не-геройское» художество Решетникова означает болезненный недостаток главного в художестве образующего элемента — сильной драматичности. Мы уже видели из предыдущего, что стиль Решетникова — и в смысле словесного приема, и в смысле строительно-организующем — нечто прямо противоположное драматичности. Он у него даже как бы нарочито бездраматичен, — стиль, не столько, вообще говоря, стремящийся изобразить движение, действие, конфликт, сколько «положение» вещей, лиц, черт лица, обстановки и т. д. Описательный стиль по своей основе, вплоть до описания чисто отвлеченного, прозаического (что, конечно, уже совершенно незаконно, является злоупотреблением в художественном произведении). Драма тут, однако, постоянно «проскакивает» как необходимый и самый сильный по впечатлению на читателя элемент, но по занимаемому в рассказе месту все же второстепенный. И своеобразие Решетникова как раз в том и состоит, что он успел из этого несомненнейшего недостатка своего стиля создать обратное: свое преимущество. А именно — тем выше характеризованным способом, что, так сказать, оборванные кусочки недоразвитой драмы (но всегда ужаснейшей социальной драмы) он преподносит в оправе из якобы равнодушно летописного описания мельчайших подробностей, иногда как нельзя более далеких от драмы.

Не надо поэтому верить критикам Решетникова из народнического большей частью лагеря, будто чтение Решетникова — в общем занятие скучное. Недостатки его в художественном отношении неоспоримы и огромны. Но, памятуя, что, по крайней мере, один художественный момент — содержание — у него не только не устарело, а наоборот — чрезвычайно вырастает в то время, когда содержание «народников» чистой воды тускнеет и умаляется, — мы гораздо легче многих современников преодолеем известную скучность многих деталей и зато тем живее почувствуем всю яркость его рабочих трагедий, пусть и разбитых на многие осколки. А в «Горнорабочих» даже центральная драма дойдет до нас с полной связностью и, так сказать, с великою болью, ей современною.

Не буду останавливаться на других, характерных для Решетникова романах из пролетарской жизни. Вообще моя задача здесь — не подробное прослеживание художественного развития писателя, а только выявление главной линии этого развития. Возьму лишь одно типичное место из «авантюрного» романа «Где лучше?». Под конец, надо признаться, порядочно утомительного повествования, напоминающего путешествие шагом по «тракту» прошлых времен, без сколько-нибудь выдающихся событий — дело происходит в Питере — питерский рабочий Петров спрашивает целовальника, дядю героя романа Горюнова (странствующего рабочего с Камы):

— Ну, что, дядя Терентий, где лучше?.. Ты много городов исходил.

— Да что, брат, богатому человеку везде хорошо, а бедному везде плохо. На том свете должно быть лучше.

Не будем удивляться, что это говорит целовальник. Мы не раз говорили, что Решетников «по духу времени» примыкал к мелкобуржуазной демократии, лишь инстинктивно служа, как самому ее левому крылу, рабочему классу. Да и фактически недоразвитость этого класса ставила последний на первых порах естественным порядком в общие ряды дореформенного «простого народа». Целовальники в таких условиях играли нередко роль не только мелких хищников и эксплоататоров народной нужды и

горя, но и другую более положительную роль: вроде председателя клуба и устной газеты. Решетников, как верный объективности бытописатель, нередко дает кабатчикам подобное место в своих рассказах. И в данном случае такой несколько неожиданный «друг народа» выражает, конечно, не столько свой опыт, сколько общий голос бесчисленных горемык-пролетариев, пивших в его кабаке. «На том свете должно быть лучше!» — это звучит, как решетниковская вариация на вопрос поэта Некрасова: «Кому на Руси жить хорошо?» (впрочем, несколько позже поэтом поставленный). И как раз характерная безнадежность данной вариации, по сравнению с некрасовской, соответствует гораздо большей резкости, углубленности опыта пролетарского романиста на его гораздо более определенной классовой позиции.

Конечно, ответ революционно-сознательного демократа Некрасова кажется на первый раз более бодрым, оптимистическим, следовательно и более революционным. Он, как известно, прославил поэта Гришу, вышедшего из мужиков, из «народа», т. е. по существу более или менее боевым образом настроенную «народную» интеллигенцию, как вождя демократии. Но безнадежность Решетникова как раз и говорит здесь о более коренных требованиях «левого» пролетарского крыла движения, пусть крыла еще, и не размахнувшегося, как следует. Т а к а я безнадежность метит дальше и выше.

Решетников, как художник пролетариата, должен был, не мог не пройти сквозь фазу народнического демократизма, смешивавшего в одну серую кучу все «слои» трудящихся масс, слои в действительности чрезвычайно разнокалиберные, разного глубинного состава, во многом разной ориентации, разных «естественных» устремлений, а главное — совершенно разного исторического происхождения и значения. Объединить общественной мыслью такой разнородный конгломерат можно было тогда только на демократической основе — освобождения от ярма царского и помещичьего. Но и примыкая к общей демократической платформе романист, взявший на себя роль выразителя специально рабочих интересов, с самого же начала становился тем самым в о т р и ц а т е л ь н о е отношение к той же платформе, как целому. Действительно, с самого уже начала рабочий тут выступал — в противоположность всем другим участникам демократии — как враг не только царя и бар, но одновременно и частной собственности (капитала, т. е. «Демидовых и Строгановых»), означающей для него новое, дополнительное, часто ничем не лучшее само по себе ярмо. И вот трагическая безысходность Решетникова — первое, еще слепое, еще самому себе темное выражение этой новой борьбы во чреве общей матери-демократии, которая сама только-только еще вылуплялась на свет.

Повторяю, пройти сквозь общественную «школу» демократии было тогда неизбежно первому крупному пролетписателю. Но проходил он сквозь нее с угрюмым, недоброжелательным видом. Недаром с такой полунедоверчивой миной изображается Решетников в правдивых, по отзыву современности, воспоминаниях Головачевой-Панаевой. Она конечно, как добрая демократическая дама, подруга Некрасова, старается всячески изобразить свои успехи в воспитании взъерошенного, пьяного, угрюмо-молчаливого или резкого, как бритва, пролетписателя. И совсем было воспитала, да к огорчению ее доброго (действительно доброго, спору нет) сердца, ч е г о-т о он вдруг отстал, отвернулся, ушел в свои кабаки и наполняющую их нецивилизованную массу «мастеровых». Не поняла демократка, при всей своей искренности, что Решетникова утянула туда, вниз, не просто лишь слабая воля и привычка к «очищенной», а прежде всего неразрывная спаянность с этой самой массой и неистребимая, хоть и не-

вполне понятная самому враждебность к «цивилизации», несомой демократами, как и к «парикмахерской цивилизации» Булгариных. Пролетариат еще безнадежно пока сидел на дне жизни и своим отчаянием, как горьким хмелем, тащил за собой своего корявого, но мощного художника.

Гибель его в начале пролетарской истории была неизбежна — от водки ли, от горячки ли в больнице, от самоубийства ли. Но верно и то, что после него, после (не в последнем счете) его мрачных, беспощадных картин задача освобождения пролетарской «голи кабацкой» вскоре сдвинулась с места — по крайней мере, что касается идеологического освещения нового класса. А идеологическое освещение означает уже начало самосознания. И если менее чем через десять лет после «Подлиповцев» и «Горнорабочих» появились из рядов самого пролетариата такие фигуры, как Петр Алексеев, потом Халтурин с товарищами и, наконец, «Северное рабочее общество» с резко подчеркнутыми, отдельными от прочей «демократии», особыми рабочими, социалистическими и политически-революционными требованиями, то можно смело сказать: в воспитании и организации их видную роль играло и чтение Решетникова.

Правда, все это — уже дальнейшая, геройская ступень рабочего движения, а решетниковские действующие лица — не герои или «герои печального образа». Но вторые служат необходимой почвой, откуда выросли первые. Ведь необходимо было сперва осознать отдельную, особенную физиономию своего класса, его безмерную, двойную эксплоатацию и даже его неотвратимую обреченность, — если он будет попрежнему косно и пассивно оставлять свою судьбу на полную волю тех или других господ и собственников «богачества». А уж тогда, утвердившись на этом первоначальном, отрицательном осознании, можно размышлять о дальнейшем положительном, об особой организации, о рабочем классе, как единственном руководителе революции в России.

Преемственность тут, хоть и на противоречивом (неизбежно противоречивом) пути, пряма и ясна. И если наверху советских побед и в разгаре социалистического строительства хотим как следует понять сами себя, источник нашей удивительной нам самим мощи и далеко не исчерпанный еще размах наших революционных сил, — то для измерения их и полного самоотчета весьма и весьма полезно оглянуться туда, в самое начало движения. Туда, где еще не было и следа будущей героической классовой сознательности, но где уже появился крупнейший художник, давший необычайно верное, без многоцветной окраски, но и без кривизны, зеркало еще только рождавшемуся пролетариату, завоевателю будущего.

И тогда мы, может быть, усмотрим замечательное сродство «стиля» между резко правдивыми образами Решетникова и простотой и верностью революционного удара у Ленина.

Тот же характерный «русский реализм» пролетарской чеканки.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Петр Орешин. Жизнь учит. Повесть. Гиз. 1928 г. Стр. 244. Ц. 2 р., в папке 2 р. 15 к.

Повесть П. Орешина «Жизнь учит» — лишнее подтверждение того, что никакие приемы и приемчики, никакие ярлыки и этикетки не дадут произведению того, в чем заключается главный движущий нерв произведения художественно-убедительного.

Автор взял старую тему горьковского «Детства» и «В людях» и написал длинную, томительно-однообразную и совершенно не оправдывающую своего заголовка повесть. Учит не жизнь, а автор, и это назойливо бросается в глаза чуть не на каждой странице.

Автор спешит разъяснить читателю смысл данных им бытовых подробностей, лишний раз напомнить, что представляет из себя герой повести, и все это отзывается голой, ничем незамаскированной публицистикой, надуманностью, сочинительством.

Старые прописные истины о юности, которая нуждается «в защите, в любви, в покровительстве», о юности избранных и о юности «без заботливых рук, без защиты и ласки» в торжественно-поучительном тоне преподносит нам автор, нарушая основное правило художественного творчества — показывать, но не доказывать.

Используется старый гоголевский прием лирических отступлений, но то, что у Гоголя вплетается, как одна из клеточек, в общую ткань единого художественного организма, в повести Орешина отзывается фальшью резонерства и морализирования в духе старых сентиментальных повестей.

Нет сомнения, что тема о сыне приказчика, о «сыне нищеты», за которым не ходят няньки, мамки, гувернантки, у которого «отец темен, мать темна, бабушка черна, воспитание — через улицу, а улица — сплошной пыльный чертополох»,— что тема эта не потеряла своей социальной значимости и для наших дней, но весь секрет в том, как об этом рассказать.

Одно дело — «Детство» Горького, другое дело — повесть П. Орешина. Там, где Горький волнует нас сценами «томительно-бедной» жизни, в тисках которой погибают старые и малые одинаково, П. Орешин решительно расхолаживает. Где Горький покоряет силой высшей художественной убедительности, Орешин просто-напросто утомляет. Повесть определенно страдает растянутостью, водянистостью, несогласованностью частей.

Мудрое чеховское правило о ружье, которое в конце произведения должно выстрелить, Орешиным не всегда соблюдается: в повести есть эпизоды, которые при всем желании нельзя вплести в единую повествовательную ткань.

Автор направляет своего героя в приказчики к деревенскому лавочнику и, не сказав ни слова о жизни Володьки в деревне, с добросовестностью протоколиста-фотографа зарисовывает сцены деревенской темноты. Целесообразность введения в повесть подобных эпизодов, внутренне не связанных с историей жизни героя, тем самым ставится под вопрос.

У Орешина отсутствует то, что называется единым, организующим и скрепляющим художественным началом. Неумело вплетенные в общую повествовательную ткань эпизоды из эпохи революционного движения 1905 года чисто механически, внешне связаны с тем, что автор хотел назвать пробуждением своего героя.

Орешин в этом отношении мало считается с требованиями психологической мотивировки, композиционного единства, художественной последовательности и обу-

словленности перехода от одних эпизодов к другим. Автору ничего не стоит посвятить целую главу купцу первой гильдии в Саратове и связать это с историей жизни героя самыми общими, художественно неубедительными фразами.

Язык и приемы характеристики в повести Орешина напоминают стиль сентиментальных повестей старого времени с трескучей реторикой слов, с пристрастием к сплошным черным краскам, на которые не скупились старые романтики, изображая злодеев. Таков, например, в главе «Паук» образ купца Курамшина.

Такие выражения, как «счастье ползет по физике», «глаза Владимира полезли на лоб», «никакими словами нельзя описать его ужасное состояние», «она толкнула его на образование», «приказчики прямо с ног валились от таких суждений», «все его существо вздрагивало от негодования», «вцепился в него своими коричневыми глазами», «каким основным цветом щеголял в дни своей беспечной юности» и т. д., — свидетельствуют о безвкусии автора и об отсутствии чувства художественной меры.

В. Глебов.

П. Яровой. На острие ножа. Роман. Зиф. 1928 г. Стр. 248. Тир. 4 000 экз. Ц. 2 р.

«На острие ножа» П. Ярового — роман из жизни советского писателя. Но автору хотелось объять необъятное — ряд глав посвящен деревне, совхозу «Утренняя заря», быту уездных и губернских городов. Все эти зарисовки соединены присутствием главного героя, он играет роль не только обозревателя, но и действующего лица, чья деятельность помогает распутаться клубку сюжетных нитей. А клубок событий запутан по методам авантюрного романа: тут и банды, тревожащие уездных властей, обязательный судебный процесс, такое же обязательное оправдание.

Среди сцен романа — этого разностороннего обозрения современной жизни — художественно слабы картины литературного быта. Редактора, живущие советами критиков, «похожих на картошку, с мясистым лицом, изо дня в день пьющих и ядущих за счет своих друзей»; писатели, входящие в славу при помощи интрижек своих жен с критиками; поэты, участвующие в конкурсе на дикое безумство храбрых (просовывают голову в затянутую петлю, чтобы на секунду испытать чувство умирающего)... Персонажи ревю театра сатиры, пародийные образы их — отображение ила, мутящего широкую реку советской литературы. Нет ни слова о писателе, вчерашнем рабкоре или селькоре, его трудном походе за мастерством; не упоминается о писателе общественнике, борце подполья и нашего сегодня. Навязчива манера изображения главного героя — Яровой настаивает в своей характеристике на каких-то особенных провидческих способностях Ильи Серг. Застрешина. «Отверзлись вещие зеницы»! Беда в том, что читатель «вещих зениц» не замечает, так как догадки «Повести о майском полынке, крапиве и муравьях», поразившие своей правдоподобностью судебного следователя, его не поражают. А вот годы созревания таланта Застрешина, первые муки творчества опущены, биография героя дана кусками. Могла же она быть очень интересной и характерной — ведь в нее вписаны факты детства в крестьянской семье, ранний разрыв с родиной и смычка личная с городом и т. д.

Литературная Москва покинута героем ради сельских нив, и перед читателем вереницей бегут картины современной деревенской жизни. В ней внимание Ярового приковывает один главный процесс — формы продолжающейся борьбы между кулаками и беднотой. Писатель не замечает, что он находится во власти накопленных наблюдений частного случая (родной деревни) и смело изрекает истину — в годы нэпа для борьбы с кулаками бедняк должен стать... бандитом. Даже идейным бандитом, если хотите, ибо грабить он будет лишь частный капитал. Ни одного замечания, снижающего тип бедняка — бандита Митрия до степени исключительного явления, в романе нет. Причина этой большой ошибки писателя, недогляда его «вещих зениц» — в абстрагировании, искусственном изолировании деревни от окружающего мира. По Яровому сельская Россия живет сама по себе, чураясь не только трактора, — избегая обращений к властям, к суду, обрезая крылья бедноте в ее стремлении органи-

зовать коммуну и растя из нее поэтому бандитов.

Композиционно роман не слажен. Не использованы сюжетно многие фабульные линии. Зачем, например, понадобилась сцена избиения писателем Самохой критика Денисова? О протекционизме Денисова мы уже знаем из жизни главного героя. Много страниц — и зря — отданы первой жене писателя Застрешина, образ ее ясен из первой сцены объяснения с мужем. Можно было прекрасно обойтись без показа обитателей губернской тюрьмы — не пригодились они ведь для развития действия романа.

В заключение об изобразительных средствах автора. Диалог в романе не колоритен, литераторы и крестьяне говорят одним языком (мужицкая «бяда» только подчеркивает художественную неубедительность крестьянской речи в передаче Ярового). Стилистических банальностей предостаточное количество. На стр. 21: «Тонкие брови и мелкий рот создавали оригинальную красоту, которая в то же время жила одухотворенно и темпераментно»; на стр. 25: «Душу ее стиснул мрак разочарования» и т. д.

Виктор Красильников.

«Похождения Бернгарда Шварца». Через Московию на Восток. **Вл. Снегирева.** С иллюстрациями со старинных гравюр. Изд. «Земля и Фабрика». 1928 г.

Потребность в знании истории своей страны вполне естественна и бесспорна. Интерес к истории все растет, а хороших изданий, пригодных для чтения советского читателя, почти нет. В этом отношении книга, выпущенная Зифом, из эпохи России XVII века является весьма своевременной.

Беллетристическая форма «Похождений Бернгарда Шварца» в соединении с литературным языком, передающим стиль эпохи, увлекает читателя и скрашивает некоторые недостатки книги.

Книга делится на три части. Первая посвящена описанию тревожной эпохи «тридцатилетней войны» в Германии и переносит читателя в старый Лейпциг, в гостиницу «Поющего петуха». Автор с достаточной художественностью дает характеристики своим персонажам, передает дух и настроение эпохи в беседе, которую ведут посетители. Не желая отступать от исторической точности в ходе событий, автор излагает борьбу Густава-Адольфа с Валленштейном достаточно подробно, не боясь утомить читателя. Этому посвящена вторая глава «Ужасы войны», в которую введен эпизод с нападением ландскнехта Ганса на Олеария, завязывающий повествование. Далее идет глава, в которой Олеарий, произносящий речь на заседании у герцога голштинского, излагает историю тяги европейцев через Московию на Восток, в целях проникновения в таинственный Китай и Японию. Правда, доклад Олеария очень растянут, занимая почти печатный лист, но все же он достаточно интересен, так как выясняет, что основные задачи европейских держав с середины XVI века сводились к стремлению монополизировать пользование русскими речными путями, как дорогами к богатствам Азии. Далее изложение ведется по путешествию Олеария в Москву, и этому посвящена вторая часть книги. Здесь следует отметить исторический обзор поселений европейцев в Москве, топографию старой Москвы, ее быт, центральный рынок на Красной площади — на «Пожаре», уличную казнь, описание Посольского приказа и этикета приема у царя, оружейное производство, находившееся в руках иностранных мастеров, и т. д.

Автор сосредоточивается главным образом на историческом повествовании, почему и заботится о подробном описании обычаев и нравов московитов больше, чем о сюжете и своем герое — Шварце. Последний является лишь предлогом для этих описаний. Вот, напр., описание казни женщины за мужеубийство, переданной по книге члена польского посольства Б. Таннера, приезжавшего в Москву в 1673 г. (стр. 207): «Голштинцы, перекидываясь короткими фразами, миновали Обжорный ряд и подходили уже к Воскресенскому мосту, как вдруг Тильман остановился и с подавленным криком схватил Шварца за руку. Последний взглянул в сторону, куда смотрел това-

рищ, и почувствовал, что у него волосы зашевелились на голове. В нескольких аршинах от них из земли торчал голый торс женщины, весь залитый кровью, с головой, закинутой назад, с горлом, наполовину перекушенным; из-под спутанных волос на мертвом лице безумно таращились помутневшие глаза. Стая голодных собак грызлась друг с другом из-за этой страшной добычи, которая пять-десять минут тому назад была еще жива, быть может, еще кричала, еще хрипела. В двух шагах стояли караулом равнодушные стрельцы. Мимо проходили люди: одни — крестясь, другие — задерживаясь на минутку с чувством отвратительного любопытства. Впрочем, некоторые шли даже не интересуясь, из-за чего грызутся псы. Здесь же, почти рядом, под открытым небом пели молебен около многочтимой иконы...».

Очень живо передана торговля на Красной площади: «Площадь «Пожара» шумела тысячами голосов своего человеческого муравейника. Налево раскинулся бесконечный Гостиный двор — целый городок лавок, полулавок, лавочек и погребков, распределенных на особые ряды, которые носили каждый свое особое название, в зависимости от продаваемых там товаров. Здесь можно было купить все, что угодно, начиная от местной мочалы и кончая тонкими испанскими винами...» (Стр. 208).

Большой исторический интерес представляет описание «двора» ярославского купца Григория Никитникова, крупнейшего промышленника старой Руси. Для своего описания автор использовал работы Забелина и Соловьева. Описание пира, устраиваемого купцом в честь стрелецкого начальника и стрельцов, которые командировались для охраны караванов с товарами, отправлявшихся каждую весну в Астрахань, дает наглядную картину нравов XVII века. В главе «Великий волжский путь» автор описывает ряд волжских городов, начиная с Нижнего-Новгорода и Казани, более подробно останавливаясь на образовании казачества и на причинах казацких разбоев. Для оживления своего рассказа автор вводит эпизод нападения на караван казаков под предводительством исторического лица, атамана Юрка Поповича. Эпизод передан увлекательно. Но автору можно сделать упрек в недостаточно глубоком анализе экономических причин происхождения казачества. Дальнейшие «Похождения Б. Шварца» происходят на Кавказе, что позволяет автору дать описание быта и нравов горцев и лезгин. Б. Шварц претерпевает здесь ряд приключений, кончающихся неудачным побегом. Для завершения своего повествования автор снова дает Олеарию встретиться со своим избавителем Б. Шварцем, в последний раз выручающим его из беды. Эпилог повествования переносит читателя в Европу, в Готторп, в рабочий кабинет ученого, «голштинского Плиния», как называли Олеария его современники, куда приходит Шварц проститься со своим учителем перед тем, как отправиться в далекое плавание с целью открытия северо-восточного морского пути в Китай и Индию, предпринятого голландскими купцами.

Надо заметить, что автор в своей повести глядит на Московию глазами иностранца — Олеария, о чем он специально оговаривается в предисловии.

Эту книгу можно рекомендовать для чтения молодежи и широких читательских кругов, интересующихся прошлым нашей страны. Он не найдет в ней романической интриги, но зато в легкой беллетристической форме приобретет некоторые знания из области быта и нравов России XVII в.

С. Лопашов.

Библиографический указатель «Красной Нови» за 1928 год.

(Цифры в скобках — №№ журнала).

Художественная проза.

Глеб Алексеев. Роман «Тени стоящего впереди» (2, 3, 4); Рассказы: «Весенница» (1); «Аджарские рассказы» (7); «Подруги» (9); «Человек и его дело» (10).
Андрей Белый. «Кавказские впечатления» — отрывки из книги (4).
Леонид Борисов. «2 Леонарди 2» — рассказ (3).
Артем Веселый. «Россия, кровью умытая» — этюд к роману (3).
М. Волконская. «Мой отец, дед и бабушка» — рассказ (11).
М. Горький. «Жизнь Клима Самгина» — роман (5, 6, 7, 8).
Виктор Дмитриев. «Равноденствие» — рассказ (10).
Дм. Еремин. «Иной период» — рассказ (2).
Алексей Жабров. «Первый полет» — рассказ (12).
С. Заяицкий. «Забытая ночь» — рассказ (6).
Всев. Иванов. Повесть «Гибель Железной» (1); рассказы: «Подвиг Алексея Чемоданова» (2); «Источник Взывающего» (9).
Анна Караваева. «Каленая земля» — рассказ (2).
Валентин Катаев. «Отец» — повесть (1); «Квадратура круга» — шутка в 3 действ. (5).
Николай Колоколов. «Предрассудок» — рассказ (9).
Павел Кофанов. «Мишкина судьба» — рассказ (12).
Леонид Леонов. Рассказы: «Бродяга» (5); «Месть» (6).
С. Малашкин. «Народный комиссар» — из романа (3).
Хаджи-Мурат Мугуев. «Огненная лапа» — роман (7, 8, 9, 10).
Н. Никандров. «Мирные жители» — рассказ (6).
Иван Новиков. «Большое Седло» — рассказ (11).
П. Павленко. Рассказы «Orientalia» (4); «Последний пират из Хиоса» (11).
Бор. Пильняк. Повесть «Штосс в жизнь» (10); рассказ «Земля на руках» (8).
Андрей Платонов. «Происхождение мастера» — рассказ (4); «Потомок рыбака» — из повести (6).
Леонтий Раковский. «Емарай Емаревич» — повесть (7).
Пантелеймон Романов. Рассказы: «Голубое платье» (4); «Легкая служба», «Машинка» (7).
С. Сергеев-Ценский. Рассказы: «Прах Аджи-Османа» (7); «Павлин» (10); «Сливы, вишни, черешни» (11).
Ан. Скачко. «Закон законов» — из хроники 1919 г. (9).
Скиталец. «Дом Черновых» — отрывки из романа (9).
Ал. Толстой. «Гадюка» — повесть (8).
Юрий Тынянов. «Подпоручик Киже» — рассказ (1).
Н. Г. Чернышевский. «Наталья Петровна Свирская» — неопубликованный рассказ (8).
Виктор Шкловский. «Краткая и достоверная повесть о дворянине Болотове» (12).
Илья Эренбург. «Заговор равных» — роман (11, 12); рассказы: «Ночь в Братиславе» (5); «Старый скорняк» (6).

Стихи.

Павел Антокольский. Из цикла «Парижские стихи» (10); «Ответ Вулкана» (12).
Ал. Блок. «Лишь заискрится бархат небесный»... — неопубликов. стихотворение (1).
Ник. Браун. «Рыбак» (4).
Д. Бродский. «Воспоминание» (4).
Сергей Герзон. «Любимая здесь»... «Я порасспрошу толпу прохожую»... (12).
В. Ильина. «Морская живопись» (3).

В. Казин. «Я теперь навеки в счастьи гулком»... (2); «Остановки» (3).
Вл. Кораблинов. «Казнь китайца» (2).
Вл. Маяковский. «Император» (4).
В. Наседкин. «Перед картой» (2); «Степь», «Вьюга» (3).
П. Орешин. «Лесной букет» (2); «Сердце» (4).
Б. Пастернак. «Спекторский» — отрывки из романа (1, 7).
Дм. Петровский. «Цека», «Полет песни» (4).
П. Радимов. «Анафема» (4); «Нерон» (12).
Всеволод Рождественский. «Из окна» (3); «Украина», «Крымский скорый», «Крым» (1?).
Г. Санников. «Кораблекрушение» (2); «Сирокко», «Штиль» (3); «Углич» (10).
Илья Садофьев. «Три ветра», «На плоском равновесии», «Хорошая память» (11).
Илья Сельвинский. «Пушторг» — отрывки из романа (5, 6).
Г. Томашевская. «Астрахань» (1); «Генуэзская крепость в Крыму» (4).
Н. Тихонов. «Рождение профессии», «Дом» (8).
Иосиф Уткин. «Двадцатый» — из поэмы (1).
Ник. Ушаков. «Война» (4); «Университетская весна», «Лубок», «Леди Макбет» (9).

Отдел общественно-политический и мемуарный.

А. Д. Авдеев. «Николай Романов в Тобольске и Екатеринбурге»—из воспоминаний коменданта (5).
А. Березина. «Дневник девушки» (1897—1907) (11, 12).
И. Браславский. «Революция 1848 г. и Россия» (3); «Германская революция 1918 г.» (11).
А. Бубнов. «Исторический смысл гражданской войны 1918—1921 гг.» (2).
В. Евгеньев-Максимов. «Н. А. Некрасов и его современники» (1).
С. Елпатьевский. «Воспоминания» (2, 4, 8, 10).
К. Злинченко. «Из воспоминаний о М. Горьком» (5).
Ф. Капелюш. «Традиции американской демократии» (1).
Эм. Квиринг. «Перспективы социалистической промышленности 1927/28—1931/32» (5).
Л. Клейнборт. «М. Горький как собиратель творческих сил» (7); «М. Горький и читатель наших дней» (10).
Г. Крумин. «Шахтинский процесс» (8).
П. Лепешинский. «Личное и общественное» (2).
А. Лозовский. «Об итогах VI конгресса Коминтерна» (10); «Новый этап классовой борьбы» (12).
Роза Люксембург. «Эпигон утопического социализма» (9).
Н. Мещеряков. «Как мы жили в ссылке» (1, 7); «М. Н. Покровский» (11).
А. Микоян. «О хлебозаготовках» (3).
Назыр. «Англия в борьбе за гегемонию» (6).
Ф. Раскольников. «Цензурные мытарства Л. Н. Толстого-драматурга» (11).
Скиталец. «Воспоминания о М. Горьком» (6).
Ю. Стеклов. «Н. Г. Чернышевский» (8).
А. Стецкий. «XV съезд партии» (1).
Д. Тальников. «Московский Художественный театр» (11).
А. Толстая-Попова. «Мои воспоминания о Л. Н. Толстом» (9).
С. Л. Толстой. «Мой отец в 70-х годах» (9).
В. Фриче. «Л. Н. Толстой и Н. Г. Чернышевский» (9).
М. Цявловский. «Переписка Л. Н. Толстого с И. И. Панаевым» (9).
Н. Чернышевская-Быстрова. «Н. Г. Чернышевский после сибирской ссылки» (8).
П. Шубин. «Надвигающийся мировой кризис и революционные перспективы» (2).

За рубежом.

Арсений Авраамов. «Гопля, живем!» (7).
Роман Гуль. «Тунис» (6).
Л. Никулин. «1 500 километров по Франции» (1).
Ольга Форш. «Париж с птичьего «дуазо»» (5); «Собачье заседание» (6).
Александр Храмов. «По шахтам и заводам Пенсильвании» (2).
Илья Эренбург. «В Польше» (3, 4).

От земли и городов.

Родион Акульшин. «В краю белых ночей» (1); «У архангельских краеведов» (2); «В иной губернии» (4); «Деревенские мелочи» (6); «В колхозах под Самаркандом» (12).
Андрей Белый. «Армения» (8).
Ст. Злобин. «По Башкирии» (6).
Анна Караваева. «В степной коммуне» (11).
М. Подгорный. «Слезы Великого Дива» — на Ленских приисках (9).

Ник. Северяк. «Хан-Алтай» (4).
Игорь Селенкин «Хлебушко Уральский» (3).
Н. Силин. «Куструтья растут» (10).
Дм. Стонов «По Карачаю» (2).

Литературные края.

Иван Анисимов. «Панаит Истрати» (2).
К. Демидов. «Из встреч с М. Горьким» (3).
А. Дивильковский. «Наша деревня в зеркале романа» (7); «Пролетписатель начального часа (Ф. М. Решетников)» (12).
Всеволод Иванов. «Сантиментальная трилогия» (3).
Генрик Каменский. «Пшибышевский и Даниловский» (1); «Современная польская литература» (11).
А. Луначарский. «Ленин и Раскольников о Толстом» (9).
Ф. Раскольников. «Еще о Толстом (ответ тов. Луначарскому)» (9).
Л. И. Рузер. «Плохое обращение с историей, или мистика крови» (о романе Мстиславского «На крови») (7).
А. Свирский. «Встречи» (3).
Д. Тальников. «Гершензоновская Москва» (4); «Горе от ума» перед судом современности» (5); Литературные заметки «Наши за границей»: о Маяковском, В. Инбер, Е. Зозуле (8); о «Преступлении Мартына» Бахметьева и Зависти Олеши (6); о «Братьях» К. Федина и о «Записках поэта» (9); о «Пушторге» Сельвинского (10); о новейшей поэзии (11).
В. Фриче. «В защиту «рационалистического» изображения человека» (1); «М. Горький и пролетарская литература» (3).

Критика и библиография.

И. А. Аксенов. И. Сельвинский «Записки поэта» — Гиз (4).
С. Аф-в. Гл. Алексеев «Свет трех окон» — «Недра» (11).
А. Бек. С. Решетов «К новой жизни» — «Мол. Гвардия» (7).
Ник. Богословский. Ив. Касаткин, Собр. соч., т. II, Зиф (6).
И. Бороздин. М. Павлович (М. Вельтман), Собр. соч., т. IX.—Гиз (1); Г. Картер и А. Мейс «Тутанхамон» — Гиз (4); «Сов. страна» альманах — Гиз (5); С. Вельтман «Восток в художественной литературе» — Гиз (11);
Ал. Вайсброд. Г. Никифоров, Собр. соч., тт. I, III — Зиф, «Тридцать три оказии», Гиз (4).
В. Глебов. П. Орешин «Жизнь учит» — Гиз (12).
Т. Гриц. Л. Рейснер, Собр. соч., т. I (3); Б. Кушнер «Сто три дня на Западе» — Гиз (5); П. Медведев «Драмы и поэмы А. Блока» — Изд. писателей в Ленинграде (6); Л. Толстой Неизданные произведения — «Федерация» (11); М. Горький «О писателях» — «Федерация» (11).
Н. Гудзий. Н. К. Пиксанов «Областные культурные гнезда» — Гиз (4).
Ив. Ежов. Л. Никулин «Матросская тишина» — «Круг» (2); Л. Островер «Когда река меняет свое русло» — Гиз (3).
С. Евгенов. М. Марич «Сухие ветви» — Гиз (3).
В. Заверин. Записки Ек. Сушковой — Academia (3).
Евг. Книпович. Авд. Панаева «Семейство Тальниковых» — Academia (1); Вивиан Итин «Высокий путь» — Гиз (2); А. Чапыгин, Собр. соч., т. II — Гиз (2); Генрих Клейст «Михаэль Колпаас»—Academia (3); И. И. Панаев «Литературные воспоминания» — Academia (3); М. Слонимский «Средний проспект» — Гиз (5); П. Орешин «Ничего не было» — Гиз (6); В. Каменский «Пушкин и Дантес» — «Заккнига» (6); К. Тренев, Собр. соч., т. I — Зиф (7); Саркис Асрибекян «Жизнь» — Зиф (7); Ричиотти «Без маски» — Гиз (7); Д. В. Григорович «Литературные воспоминания» — Academia (10); А. К. Виноградов «Мериме в письмах к Соболевскому» — Моск. худож. изд. (10).
В. Красильников. Дм. Петровский «Галька» — «Круг» (1); Л. Завадовский «Железный круг» — «Недра» (4); Н. Крутиков «Черная половина» — «Недра» (4); С. Обрадович «Поход» — Зиф (6); А. Ульянский «Мохнатый пиджачок» — Изд. писателей в Ленинграде (9); Ник. Москвин «Буквы на клеенке» — Моск. изд. писателей (9); П. Яровой «На острие ножа» — Зиф (12).
Н. Лернер. А. П. Чехов, Несобранные письма — Гиз (2); Мурановский сборник — Изд. музея им. Тютчева (4); Д. Н. Егоров «Записки солдата Берналя Диаза» — Изд. Брокгауз-Ефрон (4); А. Пушкин «Дубровский» — Изд. «Крестьянской га-

зеты» (7); Ольга Форш и С. П. Яремич «П. П. Чистяков» — Изд. Комитета популяризации художественных изданий (9).
пашов. «Похождения Бернгарда Шварца»— Зиф (12).
ирецкий. С. Жданов «Мартемьяниха»—Гиз (5); Бела Илеш «Барак № 43»—«Моск. Рабочий» (6).
Оксенов. Н. Никитин «Преступление Кирика Руденко», «Обоянские повести» — «Пролетарий» (10).
Павлов. М. Волконская «Симфония» — «Круг» (7).
лонская. С. Г. Адамс «Разгул» — Гиз (7); С. Третьяков «Чжунго» — Гиз (3).
дченко. Н. Крашенинников «Целомудрие» — Зиф (8).
скольников. И. Сталин «Об оппозиции»—Гиз (1); П. М. Керженцев «Диктатура пролетариата» — Гиз (10).
вякин. А. Дорогойченко «Буран» — «Молодая Гвардия» (6).
Розенталь. «Писатели и их книги»: И. Касаткин «Кузькина мать», Н. Златовратский «Устои», Н. Жуков «Неладное», В. Ряховский «Глухари», М. Ройзман «Минус шесть» (8); Н. Катков «Рясная ягодка», К. Вагинов «Козлиная песнь», П. Слетов «Прорыв» (10).
Б. Лекаш «Когда Израиль умирает» — «Прибой» (3); П. Е. Щеголев «Дуэль и смерть Пушкина» — Гиз (3); Б. Лекаш «Польша без маски» — «Прибой» (4); В. Левицкий (В. О. Цедербаум) «За четверть века» — Гиз (4); «Деятели революц. движения в России» — Изд. Всеросс. общ. политкаторжан (6); В. Евгеньев-Максимов «Очерки по истории социалистической журналистики» — Гиз (7); «Народовольцы после 1-го марта 1881 г.» — Изд. Всеросс. общ. политкаторжан (7); Джемс Фредер «Золотая ветвь» — Изд. «Атеист» (7), М. Горев «Против антисемитизма» — Гиз (7); Н. Ильюхин и М. Титов «Партизанское движение в Приморьи»— «Прибой» (7); Б. Виноградов «Мировой пролетариат и СССР» — Гиз (9).
пеклов. Л. Тихомиров «Воспоминания» — Гиз (2).
гер. Ф. М. Достоевский и И. С. Тургенев. История одной вражды—Academia (9).
ц. Нина Смирнова «Закон земли» — Гиз (3).
ом. Анна Караваева «Юность на Грязной»—Гиз (5); А. Новиков-Прибой, Собр. соч., тт. I—V — Зиф (10).
мин. А. Ширяевец «Волжские песни» — «Круг» (5).
нговатов, Ольга Форш «Горячий цех» — Гиз (2).
Шафир. С. Буданцев «Командарм» — Гиз, «Японская дуэль» — «Прибой» (1).
прайх. «Декабристы и их время», т. I — Изд. политкаторжан (9).
обсон. В. М. Энгельгардт «Формальный метод» — Academia (5); Проф. Л. Шюккинг «Социология литературного вкуса» — Academia (11).
убовский. И. Маца «Литература и пролетариат на Западе»—Изд. Комакадемия (1).
иче. Письмо в редакцию (11).
ков. Письмо в редакцию (7).

кционная коллегия: **Вл. Васильевский. Вс. Иванов. С. Канатчиков. Ф. Раскольников. В. Фриче.**
Издатель: **Государственное издательство.**

дрес редакции: Москва, Ильинка, Старопанский пер., 4; тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ.

От земли и городов

Литературные края

Критика и библиография

ОТ РЕДАКЦИИ: Роман Ильи Еренбурга «Заговор равных» напечатан в № 11 и № 12 «Красной Нови» не полностью, а с некоторыми сокращениями.